НОВЫЙ ЖУРНАЛ

XXV

НЬЮ-ИОРК

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатель М. ЦЕТЛИН

THE NEW REVIEW

XXV

9-ый год издания

НЬЮ-ИОРК
1951

Р е д а к т о р — М. М. КАРПОВИЧ

Секретарь редакции — РОМАН ГУЛЬ

Printed in U. S. A.
RAUSEN BROS.
417 Lafayette Street
New York 3, N. Y.

317

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Н. Берберова. — Мыс бурь 5
В. Марков. — Гурилевские романсы 88
А. Ремизов. — Магнит 121

СТИХИ:

Георгий Иванов. — Стихи 1950 года 130

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

Г. Струве. — Писатель ненужных тем 139
З. Гиппиус. — Он и мы 159

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ:

М. Коряков. — 16 октября 180

ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ:

В. Зеньковский. — С. И. Гессен, как философ 209
Ф. Степун. — Памяти С. И. Гессена 215
Г. Федотов. — С. И. Штейн 219
Б. Николаевский. — Поражение Хрущева 222
В. Бондаренко. — Заметки о высшей школе в СССР 233
М. Карпович. — Империализм или агрессия 243
И. Курганов. — Национальная проблема в России 264

БИБЛИОГРАФИЯ:

Н. Валентинов. — Gerard Walter. Lénine. 290
Н. Б. — А. Шик. Денис Давыдов 298
Ю. Иваск. — Новые сборники стихов 299
М. Карпович. — Гр. Альтшуллер. Царь и доктор 304

МЫС БУРЬ*

(РОМАН)

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Свет в окне всё не появлялся. В это утро солнце медлило и всё не решалось встать. Наверное где-нибудь да оно поднялось, но не над Парижем: в шесть, в семь, в восемь часов утра всё было то же: серый, темный квадрат окна (штора была не спущена) перед открытыми дашиными глазами, словно окно было забелено мелом, или перед ним за ночь возникла оштукатуренная стена. И звуков не было, не было тиканья часов, которые она, видимо, накануне забыла завести, а значит не было и времени. Даша, с открытыми глазами, лежала на спине, в тишине и мраке, и думала, по своему обыкновению.

«Всё, что было, было зря. В сущности, ничего и не было вовсе. Ощущение твердой груди, маленького соска под рукой, исцеление человека. Только это исцеление и было реальностью, всё остальное было неощутимым, невесомым. Но он, конечно, всё знал. Он знал и не ответил. Страдает теперь от сонина равнодушия... Я хотела бы, чтобы она умерла. Хотеть всё можно. Или, может быть, м н е, именно м н е нельзя? Глупости! От хотенья не станется. Я хотела бы, чтобы ее не было больше на свете, не для того, чтобы помочь прошлому (оно непоправимо) и не для будущего (надо сделать всё, чтобы расстаться с ней). Я хотела бы, чтобы она не существовала больше: мне было бы так хорошо без нее.

*) См. кн. 24-ю «Нового Журнала».

Copyright 1951, by "New Review." All right reserved.

Значит, в жизни бывает так: предчувствия разбиваются о стену, предзнаменования разлетаются дымом. Они напрасны. Всё напрасно. Какие-то знаки, какие-то вещие намеки — пустота, за ними ничего нет. Всё это обман, над которым следует рассмеяться, который следует забыть. Вот для этого человека, не для кого-нибудь другого, я нахожу в себе единственные слова и силы, а через месяц он уже не помнит, как меня зовут, а через год уже не может вызвать в памяти моего лица. Эти шутки, которые шутит со мной судьба, эти, скажем, испытания — зачем они мне? Я не выбирала их, не давала на них согласия. Я их не понимаю и их не хочу. Нет, нет! Меня всё это только запутывает и я не могу жить в таком узле. Я в жизни дорожу совсем иным, и его не троньте!

Я люблю этот покой во мне. Без него я — не я. И я сохраню его, через всё сохраню, любой ценой, как до сих пор сохраняла. Пусть скажут, что всё это совершенно зря, но я знаю, для чего это делаю: ради него самого, ради его цельности и полноты. Он во мне. И если когда-нибудь еще я почувствую эту теплоту в руках, эту силу, исходящую от меня, ну что ж, я буду знать, что это опять судьба шутит со мной свои шутки, и чтобы это не пропало даром, пойду, облегчу какое нибудь страдание, хотя бы кошке соседей... А человек — это обман, и приближение к человеку есть ошибка. И чем многозначительнее сказанное, тем больше пустоты впереди. Пустоты вокруг. Какая пустая жизнь! И во мне всё так ясно, спокойно и тоже, в сущности, пусто.

Нет, нет, то, что живет во мне, что лежит на самом дне, полно глубокого, но только мне самой непонятного смысла. Оно во мне, но именно я-то и не понимаю, зачем оно? Время идет и жизнь постепенно урезает этот смысл и к концу окажется, что всё было бессмысленно, потому что мною было непонято. А ведь могло быть иначе: могла быть дана, вместе с силой, и способность осознать ее смысл, ее цель и значение. Как паук-крестовик... Но я хотела бы понять, зачем этот крест и что он значит? Могло быть иначе и тогда случилось бы так, что жизнь дала бы расцвесть, распуститься во мне всему, бла-

гоуханно вырасти во что-то большое и прекрасное, и глав-ное — осмысленное, сильное, значительное. Мне словно дана только первая часть чего-то, а ко всему остальному и после-дующему закрыт ход, и я недаром иногда тревожилась в по-следние годы всё чаще, что не будет у меня знания, таланта, высоты духа и непрерывной духовной энергии, чтобы найти путь своего развития — для себя и для сил, мне данных. Они не распустились, не расцветут. Может быть, основной порок лежит именно в том, что изначально был мне дан покой, было дано созерцание, а не действие, не дана была тревога, свя-щенная тревога, и способность к страданию? Да, этого не было. А ведь сначала именно должно было бы даваться как раз обратное тому, что было дано мне, что я открыла в себе. Почему «даваться»? Разве нельзя было самой взять его, самой захотеть и этой способности к страданию, и воли к действию, и жажды борьбы? Но я открыла в себе это равновесие, не-смотря ни на что. К нему должен бы был вести трудный, от-чаянный, опасный путь, чтобы оно стало мудрым, но его не было, и оно стало инстинктивным, каким-то почти физиче-ским. Я, такая, какая есть, в сущности, всегда имела от всего прибежище, какую-то нирвану в себе самой, и мне это так долго нравилось, и в себе самой, и вокруг меня; я была, по правде сказать, так долго всем довольна.

Я хочу, чтобы она умерла, чтобы ее больше не было. Ее ведь никто не любит. Это только так кажется, что ее кто-то любит, ее нельзя любить. Мне тяжело думать о ней. Мне хо-чется еще думать о себе».

Но тут Даша вдруг поняла, что эта тишина, которая ей так приятна, неестественна в своей незыблемости и полноте, что часы стоят и что наверное уже поздно. Она встала и начала одеваться. Окно просветлело едва-едва.

С некоторых пор, Леон Моро уже не сидел за обитой сук-ном двойной дверью, дирекция банка, где служила Даша, ожи-дала в близком будущем крупные перемены. На месте старика, как и полагалось ему, сидел уже с неделю сын Леона Моро, но не потому что отец его умер, а потому, что он был тяжело

болен печенью и сердцем, и теперь Даша в конце дня ездила к нему, с письмами и бумагами, и он, охая и называя ее весьма часто «дитя мое», (чего раньше никогда не делал) диктовал ей, прихлебывая из стакана какую-то целебную жидкость, пока два других секретаря расшифровывали стенограммы, продиктованные им за день: очередная глава книги Моро о будущем европейских финансов.

Иногда бывало, что сын Моро довозил ее до дома отца на своей машине. Это был спокойный, некрасивый, лысеющий человек, с отрезанной у плеча левой рукой (ранение, полученное в последний месяц войны восемнадцатого года). Ему было за сорок, а выглядел он старше. Когда заболел отец, его вызвали из Орана, и он должен был скоро снова уехать в Африку, которую очень любил, а к Парижу относился холодно. Пока автомобиль его стоял то тут, то там под красными огнями и он ловко маневрировал своей единственной рукой (кадран впереди был сделан по специальному заказу), или катил мимо парка Монсо, по бульвару, он говорил об Оране, о Тунисе, об Алжире, о том, что, может быть, «если случится с отцом несчастье», он не сядет в кабинете его, не переедет жить в Париж, а наоборот, уедет еще дальше: в Аддис-Абебу, в Иоганесбург, на Мадагаскар. И всё это не потому, что он любит авантюры, экзотику, охоту на тигров или еще что-нибудь в этом роде, а просто потому, что находит жизнь в этих местах куда более комфортабельной и приятной, чем в Европе: чудный дом, в котором всегда прохладно, много прислуги, две машины, изумительная коллекция редчайших грамофонных пластинок... Словом, он был весьма доволен своей жизнью.

Подавив зевок, Даша выходила из машины, а через час или два уже возвращалась к себе одна, обычно не замечая, что делается вокруг нее, не замечая ни погоды, ни улиц, автоматически спускаясь и поднимаясь по лестницам метро. Ее ждали к обеду. Часто приходил к отцу Фельтман и обедал тоже с ними, или заглядывал позже и сидел вечер. И тогда Любовь Ивановна и Зай бежали в кинематограф, а она оставалась сидеть в столовой, подле убранного стола, и с удоволь-

ствием слушала разговоры о Крыме, Одессе, Петербурге, Константинополе, Белграде, Праге, и сама говорила что-нибудь об Аддис-Абебе и Иоганесбурге.

Фельтман был теперь уже совсем стар. Это был уютный, маленький человек, в прошлом столичный адвокат, с которым год тому назад случилось странное приключение, и хотя почти у всех, кто бывал в доме Тягиных, когда либо в жизни происходили вещи не совсем обычные, Фельтман почему-то считался в доме человеком наиболее оригинальной судьбы: после многих лет бедственной жизни во Франции, он, никогда не быв композитором и даже как следует не умея играть на рояле, сочинил вдруг одно танго, которое постепенно обошло весь мир: были изданы ноты и напеты пластинки, его под гитару завывали в ночных русских ресторанах певцы, одетые то под цыган, то под испанцев, оркестры играли его, и в одном американском фильме с оркестром же его пела дива с огромным оперным голосом; оно оказалось переведенным на все языки и его насвистывали уличные мальчишки. И Фельтман жил теперь, хоть и скромно, но безбедно, чувствовалось, что он до самой смерти обеспечил себя. Но чувствовалось тоже, что он никогда уже больше ничего не выдумает, что единственной его выдумкой за всю жизнь останется его «Звезда Эридан».

Лицо Фельтмана всё лучилось морщинами, шедшими вверх, от носа, мимо глаз, к вискам; эти морщины придавали его лицу выражение постоянной улыбки. Он любил говорить, что становится похож на Репина, только «смотрит еще добрее», и пожалуй, это было верно. Свои голубые, слегка выцветшие глаза он в последние годы стал беречь от яркого света и старался сесть вне лампового круга. В этот вечер Даша, облокотясь на руку, куря неспеша и пуская колечки, заговорила с ним о его романсе. Он в сотый раз рассказал, как однажды сочинил его: ему казалось теперь, что он написал его, на самом же деле ему ни с того, ни с сего как-то вечером, на седьмом десятке лет, пришла на ум одна мелодия (потом ему не раз указывали земляки, что она напоминает одну еврейскую песню), и он пошел к соседям, где было пианино и там

одним пальцем подобрал ее. А ночью, лежа в постели, он придумал к мелодии слова, бедные, сентиментальные и совсем простые, которые его самого довели до слез: он придумал их, вспоминая, как от него лет пять тому назад ушла жена, с которой он собирался прожить до самой смерти и которой всю жизнь старался с грехом пополам быть верным; ушла она с его лучшим другом, но это ведь было совершенно всё равно: с лучшим другом или с мало знакомым человеком, потому что разочарование в дружбе было ничтожно по сравнению с этим кошмаром, с этим ужасом... И вот уже подосланный кем-то молдаванин-гитарист разучивал его мелодию, и с этого гитариста началась его слава, т. е. слава его танго, потому что кто же знает фамилию человека, сочинившего то или другое модное танго?

Всё это Даша когда-то уже знала, но забыла.

— А почему «Звезда Эридан»? И что такое Эридан?

— А потому, — отвечал Фельтман, весь лучась и сияя нежностью, довольством, гордостью и сожалением о прошлом, — а потому что, когда она ушла, я решил идти искать ее на другой конец света, где имеется звезда Эридан.

И он дребезжащим тенором запел, но сейчас же перешел на шопот, т. к. голоса совсем не было.

В корридоре на шкафу стоял старый, неизвестно кому принадлежащий грамофон. Еще в прошлом году Соня занесла его в дом и до сих пор не вернула. Даша сняла его, обтерла пыль, принесла в столовую. Нашлась и пластинка, в свое время подаренная Фельтманом, кусочек с краю оказался отбитым. На одной стороне «Звезду Эридан» пел по-русски цыган под гитарный ансамбль, на другой — тот же цыган пел ее с хором. Поставили сначала цыгана с хором, потом гитары. Фельтман слушал с видимым удовольствием, Тягин тихонько подсвистывал, Даша стояла у грамофона и вслушивалась в слова. Действительно, они были немудрены: ты ушла, портрет твой я убрал со стола... И теперь я пойду искать тебя во все концы света, и в самый дальний конец его,

Где нет ничего,
Где, сквозь туман,
Мерцает звезда Эридан.

Почему-то всё это хватало за душу. И мысль, что весь мир, в самых дальних углах своих, поет и слушает это, и танцует под это, не казалась больше Даше странной.

— Нынешние этого понять не могут, — сказал Тягин. — Нынешние всё больше насчет саксофона и барабана.

— Так ведь поняли! — возразила Даша, заводя грамофон вторично. — Раз десятки тысяч пластинок проданы, значит любят и это.

Ей было неловко перед Фельтманом за тот шум захлопнутой двери, который раздался в самом начале музыки: это был сонин способ показывать, что ей мешают. Но Фельтман, улыбаясь, смотрел на вертящийся диск и мысли его, видимо, были очень далеко.

Когда Любовь Ивановна и Зай вернулись, Тягин и его гость вели уже свой нескончаемый разговор о прошлом и будущем, о старой войне, о новой войне, которая непременно будет, а Даша, под лампой, приводила в порядок какие-то бумаги. С тех пор, как Леон Моро был болен, у нее было гораздо больше работы, чем раньше.

— Тебе должны бы были прибавить, — на-ходу сказала Любовь Ивановна, взглянув через Дашину руку.

— Ну, как было в кино? Хорошо?

— Зай понравилось, значит было хорошо.

Слышно было, как Зай по корридору ходит из комнаты в кухню и обратно: она, видимо, проголодалась и на-ходу пила молоко. Потом она ушла к себе, прислушалась, не идет ли кто, открыла свою сумку желтой кожи, на ремне, которую она носила через плечо, вынула из внутреннего ее кармана конверт, а из конверта бумажку. В десятый раз перечитала она напечатанное на тонкой зеленой бумаге приглашение: завтра вечером в первый раз она должна была пойти на одно собрание и это сейчас ей представилось огромным событием ее жизни.

Да это и было событием, потому что никогда до этого она не бывала на таком сборище и попасть в это общество было не так легко: зеленую бумажку дал ей ее новый знакомый, сказав, чтобы она непременно приходила, а подруга этого знакомого, тоже накануне еще совершенно ей неизвестная барышня, покровительственно ей улыбнулась при этом. Всё происходило в прошлый четверг, в три часа дня, в кафе, напротив церкви Сен Жермэн. Зай читала тонкую белую книжку французских стихов, которую только что купила в магазине напротив, на углу, изредка глядя по сторонам, на площадь, на освещенную бледным декабрьским солнцем церковь, на вывески, на противоположную сторону улицы. Она сидела на терассе, день был совсем теплый и терасса была наполовину полна. Столик Зай находился у самого тротуара и внезапно рядом с ней выросла детская колясочка: мать, видимо, ища кого то, быстро вбежала в кафе, а ребенок лет двух, блаженно улыбаясь и имея что-то на уме, стал медленно, деловито и с видимым удовольствием разворачивать завернутый в газетную бумагу пакет, лежащий у него в ногах, на одеяльце. Он уселся удобно, раздвинул коленки и вдруг Зай увидела несколько скользких, серебристых рыбок у него в руках. Это были крупные сардинки, только что, по всем признакам, купленные в рыбной лавке. Они, оставляя тонкий кровавый след на голубом одеяльце, сверкали в маленьких руках. Ребенок жмурился от удовольствия и время от времени издавал восторженный негромкий крик. Сардинки (а может быть, мелкие сельди) выскальзывали на одеяло, одна уже завалилась между стенкой коляски и матрасом, другую он запихал себе между колен, а третью пытался засунуть в рот. Две, с оторванными головами, выпали на тротуар.

— Он сейчас ее проглотит, — сказал кто-то громко, все повернули головы, но никто не двинулся.

— Ужин целого семейства! — засмеялась какая-то дама за спиной Зай.

— Где же мамаша? Вот-то будет порка!

Младенец уже откусывал хвост, двумя руками теребя бле-

стящее, гладкое рыбье тело. Зай вскочила, вырвала у него из рук сардинку, подобрала на тротуаре упавшие рыбы, собрала лежащие на одеяле и быстро всё завернула в бумагу.

— Не смей трогать! — сказала она строго и вернулась на свое место. В эту минуту вернулась женщина и колясочка покатила с громко заплакавшим ребенком. Все вокруг несколько секунд смотрели на Зай. «Что я сделала? — ужаснулась она. — Этого нельзя было делать».

— Сразу видно, что иностранка, — сказал молодой человек, сидевший рядом с барышней. — Так мило и естественно вмешиваетесь не в свое дело. Мы на это неспособны, хоть бы он с динамитом играл.

Зай обернулась:

— Я — француженка, — сказала она, — а вы кто? Вот же вмешались не в свое дело...

Ей мгновенно стало очень жарко и она испугалась, не покраснела ли?

Барышня засмеялась, молодой человек сказал:

— Я француз и вмешался из чувства противоречия. Тут бы никто не встал, даже если бы он подавился. Всегда есть сомнение: а что как мать вернется и скажет: вы не имеете права трогать моего ребенка, ни говорить с ним. Вы меня оскорбляете этим, хотите дать понять, что я плохо слежу за ним? Я может быть, нарочно дала ему эти рыбы и это вас не касается. Это, может быть, мой способ воспитания детей. У каждого — свои на этот счет идеи, и мои — вас не касаются. Ты заметила, Дениза, никого в общем ничто не касается?

Дениза успела припасть к соломинке над высоким стаканом.

— Ты преувеличиваешь.

— Нисколько. Нечего было вскакивать и отнимать у него рыбий хвост. Она, конечно, нарочно оставила ему эти селедки: приучайся, милый, не бояться ничего. Сегодня — рыбки, завтра — кошечки, послезавтра — тигры.

Все трое весело засмеялись.

Так произошло это знакомство и так, в конце этой первой встречи, Зай получила зеленое приглашение.

Но никто даже не спросил ее о нем, когда она вошла в тесный подвальный зал, вернее — комнату, уже сильно накуренную и гудящую народом. Ее пропустил совсем молоденький мальчик с глазами навыкате и растегнутым воротом, охрипший и взволнованный; он положил ей руку на плечо, как клал всем входящим: налево, в глубине есть еще места! Она протолкалась налево в глубину. Гарсон, вошедший вслед за ней с огромным подносом, грохнул его на один из столиков и раздал стаканы, ни разу не ошибившись: пиво, кофе, вино, коньяк, чай, лимонный сок, апельсиновый сок, грог и еще несколько цветных жидкостей, название которых Зай не знала. Стоял крик. Столики сдвинули. Одна из девушек села на стол, но ее тотчас же совлекли оттуда; вошло сразу еще человек шесть. «Потеснитесь, господа», — крикнули у контроля.

— По-тес-ни-тесь! — повторила хором вся компания и весь задний ряд двинулся влево. Зай сдавили. Дениза и ее приятель оказались припертыми в угол, кто-то сел на пол.

— Меня выдавили! — слышалось откуда-то. — Вот мое место, но меня выдавили.

— Ти-ше! — громовым голосом крикнул худенький, красивый мальчик лет восемнадцати с длинной шеей и острым профилем. — В виду успеха, следующее заседание нашего клуба будет происходить в другом, более просторном помещении.

Страшный шум, который должен был означать удовлетворение от сказанного, был ему ответом.

— Ти-ше! — повторил он. — Все ли заказали гарсону? Он требует, чтобы платили сейчас же. Потом он оставит нас в покое.

Шум, вдвое сильнее прежнего, должен был показать, что собрание недовольно таким требованием. Гарсон, улыбаясь деснами, помахивал салфеткой.

Зай во все глаза смотрела вокруг себя. Девушек было почти столько же, сколько и молодых людей; многие сидели

обнявшись. Почти все курили. Два-три человека были постарше, лет двадцати пяти, остальные все были очень молоды, в пестрых рубашках, без галстуков. Девушки, одетые скромно, почти не были накрашены и у многих были совсем детские лица и детские руки. Очевидно, было принято здесь напускать на себя мрачную веселость. Сосед слева, смуглый, с тонким лицом, внезапно прогремел:

— Начинайте! Время!

И Зай вдруг тоже крикнула:

— Начинайте!

Десять голосов сейчас же подхватили этот крик, кое-кто захлопал в ладоши.

Первым вышел на середину Ренэ, тот, которого Зай уже знала. Он оглядел сидящих, вынул лист бумаги и откашлялся. Воцарилось молчание.

— Я прочту последнее, — сказал он и самоуверенность внезапно исчезла с его лица. — Это называется: Рыбы.

И он прочел довольно длинное и неуклюжее стихотворение, в котором несколько раз повторялась строчка:

Живой ребенок, играющий с мертвыми рыбами.

Когда он кончил, Зай почувствовала себя не совсем ловко, будто кто-то что-то украл у нее на глазах. Она покосилась на Денизу, но та бешенно аплодировала. Раздались возгласы: Никуда не годится! Скучно! Плоско! Ренэ, изо всех сил сохраняя достоинство, вернулся на свое место.

Следующим был кто-то в противоположном углу, потом Дениза, потом девушка с длинными, распущенными, совершенно белыми волосами, покрывавшими ее плечи. Кто-то прочел нечто очень длинное и возвышенное, и ему прокричали, что он «выдоил Мюссэ», другого, разукрасившего свои стихи нецензурными словами, проводили гробовым молчанием. Зай продолжала смотреть вокруг себя во все глаза и слушать, боясь пропустить слово. Мальчик, производивший контроль, прочел что-то о футболе, что всем очень понравилось.

— Кто еще? Кто следующий? Кто не читал, поднимите

руки! — закричали у противоположной стены, где, как видно, сидели главари.

Кое-кто поднял руки. Зай подняла свою.

— Выходите на середину.

Зай в эту минуту показалось, что она летит со скалы вниз, в пропасть. «Это только сон, я иду по паркету», — сказала она себе и действительно, выйдя из-за столика, она сделала два шага по гладкому полу.

— Кто такая? — закричал хор голосов. — Фамилия?

Вынырнувший откуда-то громадный волосатый мужчина, которого она до сих пор не заметила, нагнулся к ней и задал ей вопрос, который она не расслышала, но который отгадала.

— Дюмонтель, — сказала она, едва разжав губы и стараясь унять дрожь где-то внутри.

— Дюмонтель! — крикнул волосатый человек, у которого борода начиналась под глазами.

Зай глотнула воздуху, обвела глазами впившиеся в нее лица, и вдруг всё стало легко и просто, не стало страха, исчезло дрожание внутри; она почувствовала, что у нее есть голос и желание говорить этим голосом. И она прочла:

Elle regarde dans les yeux son Destin
Qui la regarde.
Etre ou ne pas être?
Oh, la belle, la douce, l'heureuse,
La notre!
Celle, qui a donné aux batârds
Plus qu'à ses propres fils.

Ils dorment sous la pierre,
Sous le marbre,
Sous les lauriers,
Sous les saules et les cyprès
Ceux, qui ont donné leur souffle à cette terre.
Nous respirons encore. Avec quelle peine!
Il est dans nos poumons,

Le dernier,
Le plus précieux,
Le plus triste
Des derniers âtomes de ce souffle adoré.

Nous tous, convoqués à un festin tragique,
A l'heure du depouillement,
A l'heure terrible,
Nous avons vu sombrer une autre patrie, —
Animal sauvage, jeune, barbare, cruel et inconscient.
Nous sommes convoqués. Et le rideau de la grande histoire
Est levé devant nous.
Mais les spéctateurs deviennent les acteurs.

Si je reviens dans mille ans, je trouverais un petit pays
Faisant le commerce des homards et des vins râres,
Ou la population — quelques millions d'habitants —
Conserve dans sa mémoire
Le secret des parfums,
Les traces des idées,
Qui ont été données au monde,
Gaspillées, massacrées, anéanties,
Tandis que le grand Pérou
Se bat contre un peuple qui n'est pas encore né
Pour une mine de métal, encore inconnu.

Раздался гром аплодисментов. Кто-то резко свистнул. Голос из дальнего угла крикнул:

— Почему «batârds»?

Зай пошла к своему месту, но вдруг обернулась и никого не видя перед собой, ответила в ту сторону, откуда шел вопрос:

— Потому, что я — batârde.

Две секунды длилось молчание. Потом все заговорили сразу.

Она села, сердце ее скакало в груди, без удержу, она едва дышала. Смуглый молодой человек молча потеснился, чтобы дать Зай сесть на прежнее место. Она втиснулась между ним и Денизой. С минуту он размышлял о чем-то, затем с трудом выпростал свою руку, протянул ее над заиным затылком и обнял ее за плечи. Она не шелохнулась. Покосившись, она заметила, что ногти тонких пальцев были чистые. «Он не читал стихов, — подумала Зай, — зачем он здесь? Кто он?». И оба замерли, прижавшись друг к другу.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

По черным улицам, по лакированным дождем бульварам, под холодным декабрьским ливнем, оба в мокрых дождевиках, с мокрыми от ночного тумана лицами, они долго шли пешком и его рука всё лежала на ее плече.

— Вот здесь, — сказала она наконец. Высокая арка черного дома вела в какую-то городскую глушь, не то двор, не то сад. Он вошел с ней под арку.

— Подождите, постойте, не уходите.

Она осторожно старалась высвободить свои руки из его рук.

— Посмотрите на меня хорошенько, а то вы завтра меня не узнаете. Я увижу вас завтра? Когда?

Ночью, с чужим человеком так близко рядом, ей не было страшно. Прошелестел по лужам велосипедист.

— Если хотите. Отчего вы ничего не читали? Вы не пишете? Не сочиняете стихов?

— Нет. Я просто так хожу. Я на медицинском. Но хочу бросить и идти в драматическую школу. Я на все их собрания хожу, когда время есть. Я вообще всюду хожу... Хотите завтра пойдем вместе слушать Эдельбреннера? А послезавтра — воскресенье, и я тренируюсь в легкой атлетике... Вы придете?

Она не знала, кто такой Эдельбреннер: философ, пианист или кто-нибудь, кто сегодня читал стихи? Атлетика совсем ее

сбила. Она никого не знала до сих пор, кто бы тренировался в атлетике. И потому она ответила не сразу, замешкавшись. Он вдруг ужасно смутился:

— Не приходите! Не надо! Вам всё это совсем не интересно. Я пойду один.

Они постояли молча. «Я очень счастлив быть с вами, — сказал он тихо. Вы не исчезнете без следа?»

— Нет.

Послышались шаги. Кто-то шел по улице, шаркая по лужам, всё ближе и ближе. Вот поравнялся, прошел. Шаги стихли.

Он держал ее за руки и близко смотрел ей в лицо своими большими темными глазами. Его худое лицо в темноте было совсем другим, чем там, в подвале, каким-то живым, серьезным и беспокойным, и Зай почувствовала, что именно таким она его запомнит, но еще лучше сохранить в памяти его голос, его дыхание, чем ускользающее это лицо.

— Я боюсь, что вы исчезнете, что я вас не найду. Что это за улица? Это какой номер дома? Я вас завтра буду ждать здесь, на этом месте, хотите?

— В половине девятого.

— Если можно. А теперь я пойду.

— Пешком? Где вы живете?

— В Пасси. Да, пешком. Хорошо идти ночью через город одному. С вами было бы еще лучше.

Зай улыбнулась, отвела от щеки свои сырые, прямые волосы. Он сейчас же нежно отвел прядь с другой щеки. Когда Зай отводила так с двух сторон за уши волосы, внезапно обнаруживался овал ее лица, что-то присущее ей одной в высоких заостренных скулах, в далеко друг от друга расставленных глазах.

— Вы много пишете стихов?

— Я писала, — ответила она не сразу.

— Больше не будете?

Она покачала головой:

— Нет. Больше, кажется, не буду.

Он хотел спросить почему, но вдруг забыл о чем был разговор, занятый ее лицом. Что-то прошло между ними, пробежало от глаз к губам. Слов не было произнесено, но он понял, что с ней что-то произошло сегодня, о чем он, может быть, скоро узнает, потому что, кажется, это касается их встречи. Она молчала потому, что не умела определить этого нового своего освобождения, случившегося сегодня вечером. Она вторично подняла глаза на него и вторично что-то пробежало между ними. И вдруг Зай исчезла, неслышно, незаметно; там, где она только что стояла, каменела холодная стена. Легким шагом она бежала наискось по тупику, к темному подъезду.

Целая ночь, и целый день, и опять вечер, и опять он у этих ворот. Он заглядывает: что там, за ними? Громадное (так ему кажется в темноте) черное огороженное пространство, четыре фонаря в четырех углах, между ними клубится ночная сырость; несколько окон освещено, кое-где, сквозь закрытые ставни, задернутые занавеси, светятся полоски света. Черно-розовое небо вверху, медная звезда глядит из-за облаков; чьи то шаги; какая-то далекая музыка. Он вступает в это пространство, кто-то проходит мимо него. Всё тихо. Автомобиль пристал к тротуару, огонек горит над номером тысяча девятьсот двадцатым; как будто, год; может быть, год заина рождения? Он медленно идет вперед, в пустую тьму. Какие удивительные места существуют в Париже, он никогда бы, может быть, не узнал, что вот имеется такой тупик, вероятно, когда нибудь давно-давно бывший барским двором особняка, а теперь наверное здесь много кошек, и у тупика есть имя. В конце — стена, глухая стена дома, выходящего фасадом куда-нибудь на далекую, совершенно невоообразимую улицу, и по этой стене, под фонарем, вьется мокрый, с облетевшей листвой, плющ. Он медленно возвращается к воротам.

Здесь они стояли вчера. Он читает вывеску, которую накануне не заметил: позолота, окантовка, рамочник... Под вывеской кто-то дрогнул, встал. Это — она. Волосы туго стянуты лентой на затылке, скулы розовые, брови летят куда-то, как ласточкины крылья.

Она может пройти у него под рукой и потому так легко брать ее за плечи. Куда мы пойдем? Слушать Эдельбреннера (она весело смеется), или есть устрицы?

— Спасибо. Я обедала.

— Смотреть «Набережную туманов»? В кафе? Куда глаза глядят?

Они шли и в кафе, и на «Набережную туманов», после кино ели устрицы, слушали Эдельбреннера (который оказался скрипачем), шагали по голым парижским садам, или вдоль решеток, если они бывали уже закрыты; иногда бывало сухо и морозно, шло Рождество, утрами иней ложился на крыши. Корочка льда хрустела под их ногами. Дни, недели, он приходил каждый вечер, и каждый вечер под вывеской рамочника, появлялась она, словно крылья приносили ее в эту подворотню, неслышно, стремительно. Молча он брал ее за плечи, боясь, что эти самые крылья унесут ее от него. Окружив ее рукой, он увлекал ее куда-нибудь за собой. «Пойдем, пойдем куда нибудь, только вдвоем, никого больше не надо. Пойдем ко мне, если ты хочешь. Уже зима, и холодно на улицах, и сыро в садах. Ты не боишься?»

— Чего? — спросила она.

— Придти ко мне. Я не один живу. У меня мама дома, а к ней целый день без конца ходят всякие люди, ты увидишь. Но они нам мешать не будут. И я даже уже рассказал дома о тебе. Пойдем!

Теперь ей пришло на ум, что до сих пор он ни разу не сказал ей, что живет с матерью, и вообще она так же мало знала о нем, как и он о ней. Они, собственно, главным образом, только радовались друг другу. Столько предстояло еще узнать о нем и столько рассказать о себе! Они вскочили в автобус и понеслись, стоя на площадке, он защищал ее от других всем своим телом, прижав ее к барьеру. Ей было весело, она смеялась и не надо было слов. Да, слова оказались в эти минуты на последнем месте, о них, в сущности, можно было забыть, молча улыбаться, закрывать глаза на мгновение, когда он губами касался ее волос над лбом и невольно — лацканом пальто — ее

лица. На каком-то углу он помог ей сойти и они быстро пошли, почти побежали рядом, завернули за угол. Узкая улочка бежала им навстречу. Свистел ветер. Подле маленького, в четыре окна особняка с облупившейся безносой кариатидой, держащей навес с выбитыми стеклами, над почерневшей дверью, они остановились, он вынул ключ.

Слова куда-то ушли, и мыслей никаких не было, и Зай не старалась их поймать, вызвать их обратно. Они вошли в дом. Крошечная передняя, гостиная вся в позолоте, шелку, чучелах, фарфоре; позолота лупится, шелк слинял, чучела подъедены молью, фарфор весь в трещинах; лестница круто ведет наверх, половицы коридора скрипучие, поющие на все ноты, полуоткрытая дверь в чью-то спальню, всю наполненную до потолка какими-то картонками, коробками, сундуками, другая — к нему в комнату, в игрушечную комнату с игрушечным оконцем, шкап с книгами, стол с чернильным пятном, похожим на Австралию, кровать, покрытая прозрачным от старости покрывалом.

— Садись. Правда, здесь такое чувство, будто мы далеко от всего, и если бы ты знала, как тихо тут, я говорю про мой угол, а внизу, там всегда народ. И сколько здесь ни отворяй, всегда немножко затхлым пахнет.

Пахло не столько затхлым, сколько табаком, какими-то травами, лекарствами. Зай присела на кровать, сбросив пальто на стул; едва прикрыв дверь, он с безудержною жадностью кинулся к ней, обнял ее колени, и она, с той же безудержностью, бросилась к нему.

Книги в шкапу стояли перед глазами Зай, словно это была часть нового пейзажа, расстилающегося впереди, далеко, далеко, до самого горизонта, в который было ловко вделано окошко. Там, за ним, качалась какая-то ветка, — это был уже другой мир — и слышно было, как усиливающийся ветер ходит над головой и рвется в каминную трубу. Здесь, совсем близко от нее, длинные черные ресницы над темным мужским глазом; она нагнулась, чтобы рассмотреть его, и в блеснувшем нежностью зрачке вдруг увидела себя. Блеснули его ровные, глад-

кие, прохладные зубы, вкус которых она теперь знала, запах миндаля шел от его раздвинутых в улыбке губ; юношеский подбородок, хрупкая шея. Она положила ему руку на лицо.

— Как они загнуты к верху и какие они длинные!... Сколько тебе лет? Подожди, не отвечай, ничего не говори, не надо! Я скажу тебе: жизнь, это освобождение. Да, да, не смейся, я знаю теперь, что такое жизнь. Так страшно сначала всё, и мир вокруг, и люди, и даже ты сам себе страшен, потому что ты не знаешь себя, и узнавая боишься, дрожишь — конца не видать, и то ли еще будет! Дрожишь и не знаешь, имеешь ли ты право жить, имеешь ли ты право выбирать, желать, требовать, бороться за что-нибудь. Всё так страшно, мыслей своих страшно, и одно тебя только и ведет: куда и как укрыться? Живешь и трепещешь, и презираешь себя, всю себя, со всеми своими косточками, которые внутри такие жалкие и сейчас вот-вот сломаются. И других презираешь тоже, потому что наверное они такие же, как ты сам, почему им быть смелее? Но время идет, и ты растешь, и вот идет, идет, идет к тебе твое освобождение! Знаешь ли ты, что это такое? Я скажу тебе: освобождение приходит то явно, то незаметно, то постепенно раскрывается тебе твоя жизнь, как веер, и раскрываешься постепенно ты сам, тоже как веер, или ударяет она, как гром. А иногда еще в снах. О, послушай, я расскажу тебе, как просто жить и быть живой, и на свете двигаться, дышать, хотеть, любить. Как просто существовать, знать чего хочешь, сметь, думать и расти! Обними меня крепче. Ты знаешь, какие бывают сны? Такие, что просыпаясь выходишь из них, как из клетки на свободу, из клетки, где был заперт без света и воздуха и только дрожал. И потом — всё, что ни делаешь, всё ведет только к одному: к освобождению. Пусть ничего не останется от жизни, лишь бы пройти этот дивный путь раскрепощения, выйти из жизни — свободной. Неужели есть такие люди, которые до старости у самих себя в плену? Счастье мое, мы с тобой такими не будем, правда? Счастье мое, ты думаешь, я буду и дальше писать стихи, сочинять, придумывать что-нибудь? Нет, что ты! Это было одно из моих явлений, и вот я свободна

от него. Я жить хочу, я уже освободилась от этого, в тот вечер, помнишь, когда в первый раз я пошла туда и читала им... Понравилось им или нет, мне всё равно. Главное, что я и через это вышла на волю и началось снова другое, новое, что опять освободит меня. И сегодня опять — поцелуй меня еще! — я опять освобождаюсь, и раскрывается веер еще на одну дольку, и там за ней есть другие, и они раскроются тоже... Что-то спадает с меня, я стряхиваю с себя какую-то кожу, я знаю: жить это значит освобождаться. Через самое себя, через тебя, через стихи, через молитву, через что хочешь... Слушай меня! О какое это счастье, если бы ты только мог поверить мне!

Он хотел сказать ей, что голос ее похож сейчас на журчание ручейка и что он не вник в то, что она говорила, что ему и без того хорошо. Он приложил свою щеку к ее щеке:

— Я верю тебе... Я всё слушаю очень внимательно. Но ты не сказала еще, что любишь меня.

Зай поиграла его рукой.

— Но я уже целых полчаса тебе это говорю!

И они оба засмеялись.

Внизу хлопнула дверь, раздались голоса, беготня по лестнице. В дверь застучали.

Дальнейшее для Зай уже не имело большого значения: знакомство с матерью Жан-Ги, веселой, крашеной, болтливой, и с двумя ее подругами, толстой и тонкой. Откуда-то появился чай и все спустились в столовую; его пили с ромом, на столе стояла гора сладких пирожков, прямо на бумаге. Зай и Жан-Ги серьезно посматривали друг на друга, дамы шумно веселились и, сдвинув посуду, сели играть в белот, куря и подливая себе ликеру из черной бутылки. Радио играло

Voir briller l'Eridan
Dans un ciel inconnu,

и часы показывали за полночь.

Я знаю того, кто это сочинил, — сказала Зай. — Я пойду домой, уже поздно.

Они вышли. Тихо было в переулке, только по крышам бушевало, да деревца, выглядывающие из-за заборов, склонялись в три погибели всеми своими голыми ветками. Они дошли до метро. Он обнял ее, прижал к себе, она ответила ему долгим, счастливым поцелуем и побежала, полетела вниз по лестнице, не видя ни людей, ни афиш, ни контроля, продолжая говорить сама с собой, как если бы говорила ему:

— Я люблю тебя. Я люблю тебя, потому, что ты освобождаешь меня от себя самой, от каких-то страхов, с детства вселившихся в меня, от каких-то сомнений, от каких-то колебаний, от чувства унижения, жившего во мне, от одиночества моего. От того, что рядом с тобой, вместе с тобой я становлюсь сильной, свободной, и всё это — через тебя. Я нахожу свое место в мире — оно рядом с тобой. И потому, что есть ты, я знаю, наконец, что есть Бог, потому что есть моя любовь к тебе и твоя ко мне.

Она зашагала в темноте, попадая время от времени в световые полосы освещенных всю ночь витрин. В одной из них, ювелирной, за тонкой решеткой мелькнули жемчужные ожерелья. Зай остановилась. Всё окно изображало морское дно, посередине лежала огромная, полураскрытая раковина и длинная нить крупного, серого жемчуга осторожно вползала в нее — обратно, туда, откуда вышла. Если бы Зай еще писала стихи, она бы рассказала об этом в стихах, но всё это было пройдено, кончено. «Жизнь — это освобождение!» — опять так ясно и просто отпечаталось в ее мыслях. И она побежала дальше.

Тесня ее мягким животом, напирая на нее, толкая в дверь кухни, Любовь Ивановна, завернувшая волосы в бумажки, старалась придать своему голосу убедительность и суровость:

— Каждый вечер шляешься... всё позже и позже! Верно папочка говорит: управы на вас нет никакой. Что делать мне, ты скажи, что делать мне с тобой? Не пороть же тебя, уже восемнадцать лет... Запирать тебя? Я — не мать твоя. Христом

Богом молю: подожди три года, потерпи, потом будешь делать, что хочешь!

— Три года! — ужаснулась Зай. — Да я ничего и не делаю. Ах тетя Люба, я хотела вам давно сказать: я знаю, как вы меня любите. Больше всех. Не возражайте, пожалуйста, это так. И вот я хотела сказать: что бы ни случилось, я всегда буду с вами, не брошу вас никогда. Что бы ни случилось: с папой, с Соней. Или с Дашей. И я ничего не делаю. Я всего боялась, а теперь ничего не боюсь, т. е. еще не окончательно, но я знаю, что жизнь — это освобождение. Я счастлива, тетя Люба! И вы не думайте, что мы все — нахальные, курим и пьем, и до утра сидим, у нас тоже всё очень сложно и трудно, и многим страшно, и они трусят, и запутываются. А когда вы говорите: «вся эта компания», то это совершенно несправедливо, потому что, во-первых, «компании» никакой нет, а, во-вторых — много есть очень несчастных, совершенно потерянных и очень робких. И я теперь верю в Бога.

Любовь Ивановна остолбенела: вместо того, чтобы выслушать ее, Зай произнесла целый монолог, и всё, что Любовь Ивановна приготовила в течение двух последних часов, всё вдруг вылетело из головы.

— Что значит: никогда вас не брошу? — строго повторила она. — Что это еще такое?

Зай прикусила язык, сделала умоляющие глаза.

— Если что случится... Я хотела сказать, если вы останетесь одни. Потому, что так бывает важно знать иногда про себя: меня любят, меня не покинут. Самое главное в жизни...

— Молчать! — вдруг строго сказала Любовь Ивановна, стараясь, однако, чтобы в комнатах ее не услышали. — Что это за бред? Я не посмотрю, что у тебя язык хорошо привешен. Изволь в одиннадцать быть дома. И все эти монологи оставь при себе. Это Даша тебя распустила.

«Ничего этого она не думает, конечно, — сказала себе Зай, укладываясь спать. — После праздников, если представится случай, может быть, покажу ей Жан-Ги. Там посмотрим»...

Ей показалось, что Даша шевельнулась на своей кровати, но она не окликнула ее, ей не хотелось больше говорить, она довольно говорила сегодня, и сама с собой, и с ним, — как никогда. Всё было так ясно в ней самой, а до других дела не было.

Даша обычно не ложилась до прихода Зай, но сегодня она чувствовала себя усталой от простуды, с которой все последние дни боролась. Приняв два порошка, она выпила горячего чаю и тепло укрылась. Что-то в сегодняшнем дне было не совсем обычно, какая-то заноза торчала в нем и мешала его гладкости в памяти. Что это было? Из банка, нагруженная письмами и всяческими бумагами, она поехала к директору; было пять часов и автомобиль ждал ее. К этому она уже привыкла. Леону Моро было в последние дни несколько лучше, специалист по печени и специалист по сердцу навещали его через день. Он сидел теперь в мягком кресле, в большом своем кабинете, у окна, низ которого был закрыт ковром, чтобы не дуло. Вся стена напротив окна была завешена фламандскими примитивами, которые он собирал, и теперь часами он любовался ими. Две другие стены кабинета были заставлены книгами — настоящими и фальшивыми, т. е. одна стена представляла собой настоящую библиотеку, а другая — полки, уставленные пустыми корешками, которые выдвигались и за ними обнаруживались папки со всевозможными деловыми бумагами, бесчисленными старыми чековыми корешками, календарными книжками за тридцать лет. На нижней полке, замаскированные несуществующими фолиантами, были спрятаны бутылки старого коньяка и хрустальные рюмки.

В громадном кресле, благоухающий, толстый, на редкость некрасивый, но с умными, проницательными глазами и великолепными, выхоленными руками, он сидел, как богдыхан, в бухарском на вате шелковом халате и расшитой золотом тюбитейке, вывезенных во время одного из многочисленных путешествий из Афганистана, курил какие-то специальные, безвредные папиросы и читал одну газету за другой. Даша читала ему принесенную почту, записывала его ответы на письма, соединяла его по телефону с министрами и академиками, и

обыкновенно уходила в семь часов. Странность сегодняшнего дня состояла в том, что когда она вышла, автомобиль снова ждал ее внизу: Моро-младший (левая рука, протез в черной перчатке, засунута в карман пальто) предложил ее довезти домой. Она согласилась.

Они говорили мало. О том, что старику лучше, что, вероятно, он скоро сможет выходить; о том, что в Оран лететь не особенно приятно в это время года, что автомобиль поплывет морем. Вообще, насколько Даша понимала, удобства в жизни Моро-младшего играли очень большую роль.

— А на Мадагаскаре вы тоже бывали? — спросила она.

— О да, много раз, — ответил он. — Там ведь у нас тоже дела. И в Иоганесбурге, разве я вам еще не рассказывал? Там тоже очень комфортабельная жизнь и такая интересная природа, всякие птицы редкостные, цветы, породы плодовых деревьев... И у пейзажа совсем другие краски, чем здесь («Еще бы», — подумала она, вглядываясь в декабрьский вечер), и небо другое.

— Созвездия другие?

— Созвездия совершенно другие. Помните, учили когда то: южное полушарие: Аргос, Южный Крест. И звезда Эридан. Как раз на экзамене мне попались однажды. Надо вам сказать, что учился я очень хорошо ...

— Эридан? — повторила Даша. — А я думала, что это выдумано.

В эту минуту автомобиль остановился.

— Я всю жизнь мечтал жить в такой улочке, как вам удалось найти здесь квартиру? Совсем особенный уголок Парижа, — сказал он, стараясь разглядеть круглые ворота.

— Мы тут давно.

Она сошла, захлопнула дверцу и кивнула ему, улыбнувшись. Всё это сейчас представилось ей каким-то вопросительным знаком в совершенно обыкновенном, сером, будничном дне.

Она мечтала, возвращаясь в дом, что у отца опять будет

сидеть Фельтман и она войдет и скажет: как же вы до сих пор нам не сказали, что ... Но Фельтмана не было, Тягин под лам-пой в столовой, взъерошенный, седой, в сильно поношенной куртке с брандебурами, писал кому-то длинное письмо. Любовь Ивановна с мигренью лежала на постели, в темноте спаль-ни. Пришлось идти на кухню, где поспевал обед. Зай не было.

И теперь она лежала без сна, с настойчивостью опять при-поминая этот день. Ей всё отчетливее представлялось, что ка-кие-то силы начинают играть ею, и она не противится им. Они действуют на нее, а сама она становится всё слабее, всё без-вольнее.

Да и стоит ли столько слушать себя и верить себе? Не проще ли, не лучше ли предаться течению жизни? Надо иметь мужество и сознаться себе самой: с начала жизни многое пред-ставлялось ей глубокой и важной загадкой, которую следовало разгадать, что-то колдовское мерещилось ей в судьбах людей и, конечно, в ее собственной. Всё это оказалось ложью, обма-ном, вымыслом. Или, может быть, она просто не сумела раз-гадать всего того, что было загадано? Не хватило мудрости, безумия ... чего еще? Цельности, быть может; она не была впол-не человеком, чего-то не хватало ей.

«Несу это свое равновесие, как горб, — подумала она. — Да в нем есть громадная радость, и красота, но есть не-подвижность какая-то, неизменяемость, и я не знаю, что с ним делать, куда и к кому с ним идти? И зачем оно мне?»

Но это продолжалось всего несколько минут и вопросы эти показались ей превосходящими ее разумение, какими-то искусственными, болезненными. «Ни больших радостей, ни больших страданий. Неспособна, — сказала она себе. — Как весы, на которых взвешивают тот именно груз, для которого они сделаны. Как весы. Не слишком вниз, не слишком вверх. И внутри меня — покой. Звезда Эридан, за которой никуда не нужно плыть, которую не нужно нигде искать ... »

Город на следующее утро показался Даше праздничным,

полным веселой суеты: был канун нового года. В окнах магазинов сияли елки, иногда обсыпанные блестящим, нетающим снегом, увешенные игрушками. «Целый лес в окнах; Париж — этот лес, как я когда-то шутя говорила Ледду, — подумала она, идя по улице, — где-то он сейчас? И зачем была наша встреча?».

Мысли ее от Ледда перешли на Соню. Это ей она недавно желала смерти. Теперь ей было всё равно. Да, ей была безразлична сейчас вся она, с ее громким голосом и резким, хоть и красивым лицом, с ее точеными руками и быстрыми движе-ниями, короткими, вьющимися волосами и такой тонкой та-лией, что казалось, она может переломиться.

Даша спешила. На столе ее ждала куча писем, календар-ная запись на сегодняшний день: утром семь телефонных раз-говоров, продиктовать машинистке телеграммы и письма, кто то должен придти в десять тридцать пять, а до этого должны придти распоряжения от Моро ... В первую очередь она соеди-нилась с ним по телефону: ему было совсем хорошо сегодня, он прекрасно провел ночь.

Внезапно дверь за спиной Даши отворилась, она огляну-лась. Пустой рукав (нет, не пустой, там, вероятно, усовершен-ствованная деревяшка) был тщательно засунут в боковой кар-ман пиджака, рука была, видимо, срезана очень высоко, у пле-ча, потому что само это плечо было меньше другого.

— Вы сегодня так рано? — спросила она, вежливо по-здоровавшись, — или это я опоздала?

Он встал у стола.

— Сидите, пожалуйста. У вас много работы? Как всегда... Вы удивительно прилежны. А у меня к вам просьба.

Она не повернула к нему лица и на фоне окна он видел ее-профиль с узлом темно-русых волос на затылке и загнутыми ресницами светлого глаза.

— Прошу вас оказать мне удовольствие и позавтракать со мной сегодня.

Она поблагодарила и позвонила служащему, передала ему большой конверт с утренней почтой для доставки Леону Моро.

— Автобусом или на велосипеде, — сказала она, — но срочно.

— Когда французы говорят «благодарю вас», это значит «нет», — сказал он, — когда русские, немцы, англичане говорят «благодарю вас», это, кажется, значит «да»?

Она улыбнулась и подняла на него глаза.

— Благодарю вас, это значило «да».

— Во мне, как вы, может быть, заметили, очень мало юмора, — сказал он, встречая ее взгляд, — о чем я крайне сожалею: я хотел бы всегда говорить вам что-нибудь смешное, чтобы вы почаще улыбались.

Позвонил телефон, Даша сняла трубку.

— Но каково, — продолжал он, не обращая на это никакого внимания, — было бы увидеть вашу улыбку, услышать ваш смех в ответ на что-нибудь вполне серьезное ... заранее со всех сторон обдуманное ...

— Ради Бога, — сказала она быстро, закрывая телефон рукой, — я ничего не слышу. Это звонят из Казабланки. Вероятно, вам.

Но он продолжал:

— На что-нибудь очень важное, что не всегда бывает просто сказать особенно тому кто в жизни и вообще-то на такие темы не очень умеет ...

— Это — Казабланка — повторила Даша. — Я: слушаю. Кто у телефона? Да он подойдет сейчас — и она протянула ему трубку.

Он взял трубку в единственную руку, подержал мгновение и положил на стол. Даша стояла в двух шагах от него, она сделала движение, но остановилась. В трубке послышалось нетерпеливое потрескивание далекого голоса. Он взял дашину руку, поднес ее к губам, не спуская глаз с дашина лица.

— По некоторым причинам, о которых вы давно догадались, — сказал он, не обращая никакого внимания на телефон, — я не чувствую себя ни в малейшей степени человеком уверенным в себе. Но я беру на себя смелость... Да, именно я беру на себя смелость, чтобы сказать вам...

Она подняла телефонную трубку со стола, трещавшую от голоса, и приложила к его уху и, пока он говорил, вышла из комнаты, поднялась на лифте во второй этаж, вошла в зал, где стучали машинистки, и отыскав толстую, розовую Жанетту, продиктовала ей две телеграммы в Лондон.

— Эта Жанетта двадцать один год сидит на одном и том же стуле и только меняет кусочки бобрика, которые подкладывает под сиденье, потому что они стираются, — говорила Даша в ресторане, сидя за столиком, — но я ничего страшного в этом постоянстве не вижу.

— Я тоже, — отвечал он, прекрасно справляясь одной рукой и с едой, и с питьем. — В конце концов, я тоже сижу уже много лет и просижу еще много лет в одном и том же кресле (или похожем одно на другое). В этом есть даже известная приятность. И это же, очень возможно, будет делать мой сын.

Она знала, что у него два сына, что он вдов.

— И если уж говорить откровенно, то в моей жизни эта приятность, собственно, единственная: прочное положение. Я это очень ценю. Не мог бы жить на вулкане.

Ресторан был похож чем-то на огромный аквариум: тот же зеленый свет, какие-то водоросли у окон, бесшумные гарсоны, бесшумно двигающиеся прохожие за тюлевой занавесью огром-

ного окна. Но времени у обоих было немного, к двум Даша обязана была быть обратно.

— Я еще не решил, — сказал он, пододвигая ей крошечную чашку пахучего кофе, — вернусь ли домой к Крещенью. Я не могу оставлять мальчиков одних так долго, уже Рождество было им не в Рождество, они меня любят, но хулиганы страшные и бедной мисс Милль от них приходится плохо. А всё таки, я боюсь, что придется еще задержаться.

— Мне показалось, третьего дня вы сказали, что у вас уже место заказано на аэроплане?

Он ловко закурил; его правая рука была выдрессирована, как чуткое, умное животное.

— Я ничего не знаю. Билет я пока вернул. Разве я вчера не сказал вам об этом? Значит забыл.

Когда принесен был счет, он неожиданно сказал:

— Какие у вас спокойные, верные, всегда теплые руки. Вы не носите колец? А обручальное, если случится, носить будете?

— Если случится, — ответила Даша, вставая.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Тетрадь Сони Тягиной

Снег выпал и засыпал нас в одно утро, а к обеду начал таять, чернеть, убегать ручьями вдоль улиц, потерявших внезапно свой всегдашний, неприступный, замкнутый вид. Всё стало черно-белым, текучим, город расползался на глазах. Я вышла — и пейзаж был зимний, а когда я вернулась, была опять эта осень-весна, так свойственная Парижу, и только в нашем тупике зима задержалась до следующего утра, потому что здесь мало кто ходит и почти никто не ездит. Толстые, черные

полосы, след одного единственного автомобиля, завернувшего сюда за целый день, прошли по середине мостовой, круглой петлей завернули у нашего подъезда и ушли обратно. И теперь всё было пустынно и тихо.

Но утром, когда я вышла, весь город был белый и автомобили еще не оставляли следов в снегу, так густо он выпал. Всё было погружено в снежную тишину. Люди бранили погоду, называли снег — грязью, уверяли, что всё это — к войне, и скользили по тротуарам. В мягком воздухе начинали звучать легким звоном падающие с крыш капли, тихонько зажурчали тут и там ручьи вдоль мостовых. И я вспомнила вдруг, что ведь я люблю снег, люблю эту внезапную белизну города и чистый воздух, которым так редко дышу, и всю эту непрочность городского пейзажа — не на месяц, не на неделю, а всего-навсего на несколько часов. И весну люблю, что-то такое в весне, чего не могу определить, может быть, ее теплую силу, которая сильнее моей... Если я знаю мир вглубь, то я мало знаю его вширь и мне пришло в голову, глядя на этот снег, что, может быть, я ошиблась в том, что делала столько лет, и вместо того, чтобы следовать по книгам за ходом мира, надо было просто ходить «по лицу земли», найти возможность кочевать из страны в страну, узнавать его горизонты, его дороги, его времена года, города и веси. Может быть, это было бы трудно осуществить, но не на много труднее того, что сделала я. И если бы даже я не осуществила этого в полной мере, одна попытка узнать его таким образом, одна мечта об этом, дала бы мне больше, — кто знает! — чем знание, которого я добивалась, которого хотела и которого в известной мере достигла. Потому что в узнавании мира вширь есть узнавание его красоты.

Я часто повторяю про себя, что я не люблю природы, но это потому, что я ее не знаю. Не интересуюсь ни бабочками, ни жучками, не таю от восторга при виде солнечного заката над морем, скучаю в деревне и боюсь больших черных скал, похожих на силуэты людей (что-то связанное с детским кошмаром, внушенным впечатлением от крымских Дивы и Монаха).

Скажу правду: к природе я просто-напросто холодна, равнодушна; и она тоже кажется мне равнодушной. Она, кроме того, не ставит мне вопросов, не задает загадок. Вопрос ставит красота, вопрос неразрешимый для меня. Прежде всего: что она такое? Затем: для чего она? И еще: где она с е й ч а с в мире? Есть тут что-то, чего я не в силах вскрыть до конца.

Она жила до нашего времени в природе, в религии, в искусстве. От природы мы стали очень далеки, религию мы выдумываем сами, каждый для себя, с переменным успехом; что касается искусства, то с тех пор, как кончился романтизм, а классика встала на дальние полки библиотек и изучается в отроческом возрасте лишь в образчиках, искусство решительно не знает, что ему делать с красотой. Что делать художнику с красивым лицом? Скульптору — с красивым телом? Музыканту с красивым сочетанием звуков? От них веет чем-то мягким, сладким, смешным... потерявшим всякое содержание; а потерявшая содержание форма распадается и не существует больше, это — тлен. Но может быть, я неправа и красота не связана ни с религией, ни с природой, ни с искусством, и жива сама по себе? Но тогда для какой цели жива она? И если она оторвана от этих трех своих стержней, то как удержится она во времени? Она станет преходящей, зыбкой, условной, как мода.

Для большинства женщин этот вопрос о красоте вообще не ставится. Вопрос о красоте, быть может, единственный, о котором женщины не имеют мнения и вряд ли могут его иметь. Для них слишком часто вопрос о красоте становится вопросом их собственной красоты. Если бы я могла предаться культу собственной внешности, как большинство женщин, я бы, вероятно, уцелела, а так — не уцелею. Всякий культ сохраняет, поклонение чему-нибудь поддерживает в душе священный огонь, когда же этого нет, человек качается на ветру, как травинка. Я качаюсь на ветру, как травинка. И я не знаю, что такое красота и зачем она миру?

Чтобы обольщать, чтобы обманывать? Чтобы давать ил-

люзию чего-то, чего нет? Нет, не может этого быть! Я не могу поверить, чтобы это так было! Тогда, может быть, только чтобы скрашивать кое-что? Чтобы легким налетом... Но тогда она не вечна. Потому что легкие налеты сдувает ветер. Их не остается уже не только на любви, но и на ненависти. Что за ней? Мысль? Или пустота? Добро или зло? Страшно, что она только покрывало чего-то, покрывал нам больше не надо. Время покрывал прошло. В этом тоже — черта нашего века. Покрывала висят лохмотьями. Сквозь них видно...

Видно неравенство. Я говорю не о неравенстве свободных людей — одни богаты, другие бедны, одни больны, другие здоровы. Я говорю о неравенстве несвободных людей, и на нем видно, чем стал мир сегодня. Видно, как во Франции или Америке заключенный в тюрьме «инакомыслящий» заведует тюремной библиотекой, а в Германии и России — таскает камни. И если бы более ничего не было видно, а только это, то и этого было бы достаточно, чтобы понять сегодняшний мир. Но вселенная, где это происходит, остается вселенной, а я остаюсь собой и даже к ней, такой, не нахожу дороги.

Я думаю о том, что если бы с иной планеты пришел на землю человек, мы показали бы и рассказали бы ему несколько чудных и страшных наших, особенных вещей, которые у нас творятся и творились. Мы рассказали бы ему, как однажды, давно-давно, мудрейшие мужи собрались, чтобы говорить о любви, и всё было меньше того, что мудрейшему из них сказала женщина; о том, что величайший гений музыки был глух; о том, что буря может обернуться надеждой; и мы показали бы ему неравенство несвободных. Это неравенство волнует немногих, большинство занято вопросом о неравенстве свободных людей. Но именно в вопросе о неравенстве несвободных — корень социальной трагедии нашего века. Чувство вины, чувство стыда. В последний год, в полном внешнем бездействии моем, я подавлена ими.

Если бы я могла найти путь к действию, может быть, совершилось бы, наконец, мое собственное слияние с миром, но

у меня даже нет слов сказать о нем, и я остаюсь сама по себе, а он — сам по себе. В тоске я начинаю чувствовать иногда, что причина этому лежит не в нем, но во мне. Это чувство ошибки моей еще больше отрывает меня от всего и повергает меня в безнадежность и отчаяние, которому нет исхода. Мне хочется крикнуть, найти слово, найти голос... Мне хочется сделать движение — одно единственное, необходимое. Но мой крик есть мое молчание, а движению еще не пришел срок. И всё по-прежнему остается нераспознанным и несоединенным.

Когда, после целого дня работы в факультетской библиотеке, я вышла, чтобы идти домой, крыши еще были белые, но сам город был черен, в нашем переулке, в глубоком, мокром снегу журчало два ручья в следу завернувшего сюда автомобиля, пахло весной, как иногда бывает в Париже, в конце января, где так часто январь похож на март, октябрь на май, июнь на сентябрь... Все были дома, было даже трое посторонних, по случаю дня рождения моей матери: Фельтман и Сиповские, муж и жена. Все семеро сидели за столом, пили и ели. Я поздоровалась и села тоже, между Сиповским и Зай, и мне показалось, что Зай какая-то странная. Отец, мать и их гости составляют в моем воображении одно целое, а мы все три никак не объединены и, вероятно, это естественно.

Это целое не возбуждает во мне никакого интереса. У Фельтмана — ложно-глубокомысленный взгляд, у Сиповского — ложно-добродушное выражение лица; у Сиповской лицо, как тарелка, как блюдечко: в нем нет ничего, оно безлично и безмысленно. У моей матери, когда-то миловидной, в лице вечная забота и старание эту заботу скрыть (особенно, от гостей); у моего отца — усталость и всё яснее — тайная болезнь, которая его гложет. Я смотрю на них и ничему в них не верю, не верю ни их лицам, ни их словам, которые они произносят, ни им самим. Всё насквозь в них неотчетливо, вяло, приблизительно, полно каких-то компромиссов, сдобрено неинтересным героизмом (жизнь у всех трудная или очень трудная). Чувствуется, что они ничего не выбрали, а так — поддались обстоятельствам, ничего не продумали до конца, боль-

ше глотали заголовки газет. «Смирись, гордый человек!» — и они смирились, хоть никогда не были особенно гордыми. Самым тяжелым упреком для них является выражение «светит да не греет», как будто свет не больше тепла в тысячу раз! У Сиповского — звонкие, совершенно пустые слова (о международном положении), не подкрепленные никаким делом, которые сам он слушает с упоением (считает, что должна быть война, но сам на войну не пойдет — стар). Огненная фраза и обросшее жирком тело — кто же поверит этой огненной фразе при таком брюшке и таком аппетите? Когда дойдет до дела, до решений, поступков, выбора, брюшко приведет к двусмысленности, к компромиссу. Сознание не определит бытие, а бытие не дойдет до сознания. Однако, мой отец его любит, говорит, что Сиповский когда-то спас ему жизнь, что это бескорыстнейший, энергичный, образованный человек. Может быть, может быть...

Жена его с таким страшным лицом, что немыслимо глаз оторвать, не выражающим ничего, ни даже покоя, ни самодовольства, ни скуки, — просто ничего, жена его начинает каждую фразу водевильным «ах, милая!» Говорят, первые годы за-границей она работала приходящей прислугой, вообще делала всё, что могла, чтобы дать образование сыну (он теперь где-то за океаном), пока муж не попал на место. Моя мать говорит о ней не иначе, как «героиня» (а меня однажды, рассердившись не на шутку и потеряв всякий над собой контроль, назвала дармоедкой). Эта женщина однажды сказала мне: что вы всё думаете, да думаете? Всё уже обдумано другими, раньше вас, когда люди были лучше и жить было легче. О чем же еще думать? Мне хотелось ответить тогда: ваше лицо подчинено идее. И жирок вашего мужа тоже подчинен идее. Человек должен любить единоборство, так как только в единоборстве он ответствен до конца. Но я промолчала, чтобы не удивить ее.

Тема Фельтмана — искусство. Все его считают тончайшим знатоком музыки и поэзии, ценителем живописи. Он любит уютно рассуждать обо всем этом и составляет в обществе некое симметрическое дополнение к Сиповскому, тема которого

— политика. Фельтман стыдится своей новой слабости: деньги, которые у него есть, он тратит на старые книги. «Знаю, знаю, что это непростительно. Порок! Легкомыслие! Что поделаешь — слабость! Самому стыдно, столько кругом нуждающихся...» В его романтизме есть что-то унизительное для современного человека. Я сказала ему однажды, что он в своем танго (облетевшем мир) обворовал Блока. Он посмотрел на меня грустными глазами, улыбнулся виновато и мягко ответил: «Вы правы. Но кто в жизни чего-нибудь когда-нибудь да не украл? Даже Гете».

Без всякой улыбки я ответила «кажется, я», но он покачал головой и констатировал с грустью, что у меня нет юмора.

Такие люди, как он — не пушечное, конечно, но лагерное мясо будущих мировых катастроф. Они не уцелеют. Им нечем уцелеть. Для того, чтобы уцелеть, надо быть в одном лице и главнокомандующим, и рядовым солдатом. Они же ни то, ни другое.

Но Зай среди всего этого общества, сидящего за столом, продолжала мне казаться странной. Лицо ее было рассеянно и печально и она почти не поднимала глаз. Отец мой говорил по своему обыкновению плавно и кругло, бодрясь при людях, забывая, что когда он вдвоем с моей матерью, он немножко играет в старого ребенка, потому что у него часто что-то внутри болит. Когда он среди нас троих, он делается пасмурен, словно ему задали загадку, которую ему надо разрешить, и совсем не до смеха, а разрешить он ее не может и никогда не сможет. Когда же он среди себе подобных, он расцветает воспоминаниями прошлого и воспоминаниями о себе самом, возвращаясь к тому себе, каким он был когда-то; речи льются, жесты возвращаются, мысли впадают в какой-то старый, привычный дурман. Я вспоминаю портрет его в молодости. Он был красивым.

Она смотрит на него с восторгом и покорностью. Восторженностью и покорностью она победила его. Почему она, а не другая, из той сотни женщин, которую он в свое время имел?

Он мог вернуться к дашиной матери, он мог всё бросить, остаться с Дюмонтель. И меня бы не было, во всяком случае, меня бы не было такой, какая я сейчас. Представим себе нечто среднее между Дашей и Зай.

Невозможно. Есть образы, которые невозможно представить себе, не потому, что не достает воображения, но потому, что есть мистический страх их коснуться мыслью, трепет приблизиться к некоторым областям, словно есть преграда моей храбрости, моему бесстрашию (даже цинизму). Я не смею идти далее закрытого гроба моей бабки, я не смею открыть его сейчас, через двадцать лет после ее смерти: красавица-старуха, умершая от голода, она лежит там, быть может, не истлев... стоит только приподнять крышку гроба. Я не могу представить себе собственное зачатие, я бегу от него; я боюсь старой иконы, покрытой человеческим калом, найденной после убийства дашиной матери, на следующий день после погрома.

Главной причиной, почему мой отец остался с моей матерью, было мое появление на свет. Ни дашино появление, ни Зай его не привязали. То ли минута была такая, то ли (уже через 2 года) я была вылитая он лицом, но он остался с моей матерью. Неожиданно для себя, я соединила их. Они счастливы друг другом, они любят друг друга и жизни их связались до гроба. Ни Даше, ни Зай этого не было положено сделать. Косвенно, я дала им счастье, и чем больше отходила я от них, тем больше они привязывались друг к другу. Они восполнили друг друга. Я же, кроме имени, от них не получила ничего.

Она — довольная, спокойная, красная от испеченного пирога, сидела, любуясь букетом гвоздик, которые он утром успел ей купить. Есть люди, особенно женщины, у которых к цветам особое, возвышенное, почти религиозное отношение. Выбросить на помойку живой, свежий букет может не всякая. Я могу это сделать, но зато я не могу выбросить из книги засушенный цветок, даже чужой. Если из книги падает чужая засушенная травинка, я свято вкладываю ее обратно. Она мертва и потому она должна жить. Есть поступки, которые я не

могу совершить, как есть образы, которые я не смею увидеть. Пусть об этом никто не узнает, но я не могу искрошить в пальцах засушенного цветка.

Гвоздики сияли, лица сияли, чувствовался праздник даже в том, как Даша старалась подладиться к общему настроению, впрочем, возможно, что она делала это вполне естественно. Но Зай была смущенная и скучная, и наконец, найдя удобную минуту, она встала и ушла к себе. Я выждала около пяти минут, в течение которых шел по-прежнему разговор о людях, которых я не знала, и событиях, меня не касавшихся; тем не менее, я слушала внимательно, сделав приятное лицо, в самом деле два-три раза в год мне ничего не стóит делать такое лицо! — и возможно, что меня заражал пример Даши, которая была особенно мила, спокойна и приветлива за этим столом. Да, она была особенно спокойна и, как всегда, уверена в себе. Теперь, когда в комнате не было больше Зай, мое внимание обратилось на нее.

Пять минут спустя после ухода Зай, я незаметно выскользнула из столовой и ушла к себе. Комната моя, узкая и маленькая, выходит в темный двор. Я зажгла свет, прислушалась; очень скоро в корридоре послышались шаги и вошла Зай. Она закрыла за собой дверь и села на мою постель. Вид у нее был совершенно убитый.

— Был снег, — сказала она тихо.

Я ничего не ответила и села на стул у стола, рисуя на листе бумаги какие-то рожи.

— Он еще не стаял, всё лежит. Из нашей комнаты видно, — продолжала Зай.

Я опять смолчала: мне казалось полной нелепостью вести с ней разговор о погоде.

Я рисовала улицу и два черных следа автомобильных шин на мостовой. Дом. Ворота. След заворачивает полукругом и идет обратно. Слишком острый угол — так не завернуть. Зад-

ний ход. Выпрямить колеса. Клякса. Это значит: нет больше чернил в стило.

— До сих пор видно из нашего окна автомобильный след. Это Моро приезжал.

— Вот как. Ну и что же? — наконец, спросила я.

— Моро был здесь.

— Он, кажется, умирал на прошлой неделе?

— Он никогда не болел. Это старик болел, его отец. А приезжал сын.

— У него есть сын? Зачем же он приезжал? За Дашей?

— За Дашей.

Она замолчала, и вдруг легла на мою кровать, будто кто то толкнул ее, повалилась на подушку.

— Даша выходит замуж за него. Будет мадам Моро.

Мы смотрели с минуту друг на друга. Наконец, я перевела дыхание, совладала с собой.

— Так что же ты не радуешься?

Зай сама не знала, чего она хотела. Она говорила, что не ожидала такого «конца» (почему «конца»?). Она ждала чуда. Она ждала от Даши какого-то чуда! Она думала, что у Даши сложится жизнь как-то по особенному, и вдруг выходило, как у всех. Словом, для нее это было полной неожиданностью, как, впрочем, и для меня.

Я сказала ей, сначала посмеявшись над ней, что, наоборот, считаю это большим для Даши счастьем и вполне ей соответствующим, что это даже удивительно, до чего ей идет сделаться женой честного банкира, вдовца, с двумя детьми, безрукого и благородного. О, это как раз то, что можно было предвидеть — в лучшем случае — для нее, вся ее жизнь предназначала ее к этому. Ей Богу, в Даше есть какая-то гармония... Уж не завидую ли я этой гармонии? И будущее Даши

будет тоже вполне гармоничным: будут еще дети; будет много денег; у нее будет дом, прислуга, текущий счет в банке. Она будет счастлива, конечно. И, несомненно, господин Моро будет тоже счастлив с нею.

Зай не смотрела на меня в то время, как я говорила это. Она лежала неподвижно, на боку, смотрела в одну точку, в глазах ее стояли слезы, но они не выпали. Из столовой доносились голоса. Кто-то побежал на кухню за чаем, кто-то ушел...

Она заговорила тихо и так, словно обдумывала уже несколько часов то, что теперь решила высказать:

— У тебя, Соня, душа глухая. Ты прости меня. Мы никогда с тобой не ссорились и, я думаю, не поссоримся и в будущем. Но у тебя душа не слышит того, что делается кругом, и ты в этом, может быть, даже не виновата. Ты не сердишься на меня? Ты слишком высоко стоишь надо мной, ты меня не замечаешь; впрочем, ты иногда снисходишь. И тогда ты даже бываешь ко мне снисходительна.

— Игра слов? — успела я вставить, но она не поняла и продолжала.

— С твоей глухой душой ты не понимаешь, что есть люди, которые с детства, с рождения, не такие, как ты. И не такие, как я. Может быть, они не так умны и красивы, как ты, нет у них талантов и вообще ничего на вид в них нет особенного. Но в них есть сила. Ты смеешься? Я не могу тебе сказать, какая это сила. Она может иметь самый разный смысл, цель ее не всегда понятна. Но я знаю, во-первых, что сила эта добрая, а во-вторых — очень большая. И идет она от их равновесия, а равновесие от гармонии. И эта сила есть в Даше. Она — одно с миром. А ты нет.

— Говори, говори! — осторожно подтолкнула я ее. — Всё это очень интересно.

— Она, я думаю, в своей жизни делала уже маленькие чуда. И тогда мне казалось: она сделает когда-нибудь большое

чудо. Она пройдет по воздуху или воскресит мертвого или... Но не всё ли равно? Теперь мне кажется, она ничего этого не сделает. Есть что-то такое обыкновенное в том, что сегодня случилось. И потому мне грустно.

Я засмеялась, сначала тихо, потом всё громче. Настала минута, которую я, кажется, давно ждала: передо мной, беззащитная и совершенно цельная в своей невинности, была душа Зай.

— Браво! — воскликнула я сквозь смех. — Выдумано не плохо! Одного ты не учла, бедная моя девочка, что те, которые от рождения в гармонии и в ладу с миром, и невозмутимы, и в ураганы не лезут, те все кончают благополучно, жизнь свою устраивают комфортабельно, живут семейно, тепло и сытно, и сохраняют молодость души и тела до семидесяти лет. Кто в равновесии, кто в покое, тот непременно плывет по жизни и не тонет, к радости папаш и мамаш находит богатого мужа, всем нравится, сам радуется на себя и радует других. Есть, которые все рифы обходят, не подозревая даже, что они существуют, а есть которые на них разбиваются. Вот и вся разница. Неужели ты думала, что она может любить, может страдать, может быть на краю гибели, бороться, в чем-либо сомневаться?.. А по водам уже давно не ходит никто.

Зай не шевельнулась и, во время долгого ее молчания, я, остатками чернил в стило, нарисовала кораблик.

— Неужели это вправду так, как ты говоришь? — сказала она с глубокой печалью в голосе. — Но я совсем и не хочу для нее страданий. Они у нее наверное были. Не в них дело. Я сама не знаю, чего я ждала от нее...

Я пересела к ней на кровать, взяла ее слабую и холодную руку в свою, отвела ей волосы от щеки. Черные, прямые, стриженые, она их иногда закладывает за уши, но чаще они падают ей на глаза.

— Хорошо тому, кто ни с чем не в ладу, — сказала я,

словно поверяла ей драгоценную тайну. — Кому трудно, кому одиноко. Кто не знает, где его место на земле, кого мир не знает и знать не хочет. Ему хорошо, потому что всё ему открыто: всё страшное, всё трудное. Он себя не бережет, он готов на всё, он платит сполна, живет, словно играет с собственной гибелью. Такой не сдастся, он закален, он хозяин самому себе. Ему никто не нужен. Хорошо тому, кому плохо, и чем ему страшнее, невыносимее, безнадежнее жить, тем ему лучше.

Я лгала, а она верила мне. Она смотрела на меня теперь своими несколько косо поставленными глазами. Этот взгляд, не знаю почему, давал мне острое наслаждение. Я чувствовала, что сейчас, в первый раз за всю нашу совместную жизнь, я властвую над ее душой, и эта мысль давала мне совершенно новое, никогда до сих пор неиспытанное счастье.

— И если тебе до сегодняшнего дня казалось, что она в ладу с миром (заметь, что тебе только казалось это, потому что этого, конечно же, не было, потому что этого не бывает, не может быть ни у кого, никто не может быть в ладу с миром!), то пойми, что всё, что случилось сегодня, вытекает из этого лада с неумолимой последовательностью; если в двадцать лет человек любит свое равновесие, то в тридцать он останавливается, а в сорок он каменеет от найденного благополучия. У этих гармонических натур можно всё так ясно и верно предвидеть. Срывов не бывает. Она будет счастлива. Дай я поцелую тебя, моя милая маленькая Зай! Неужели ты думаешь, что я могу обидеться на тебя, когда ты говоришь, что у меня душа глухая? Ты вправе думать обо мне, что хочешь, и судить меня, как тебе нравится.

Она обняла меня за шею:

— Прости меня, Соня, — сказала она, — я была несправедлива к тебе. И я очень глупа. Забудь, что я это сказала. Все эти последние недели я была так занята собой, была так счастлива, ты права, надо видеть вещи, как они есть. Никто по водам не ходит и больных не исцеляет.

В молчании прошло несколько долгих минут. Потом она высвободилась из моего объятия, отодвинулась от меня, встала и медленно вышла из комнаты. В открытую ею дверь вдруг ворвался шумный смех из столовой, видимо, там всё продолжалось веселье и все говорили сразу. Я подошла к своему столу, взглянула на лист бумаги, лежащий под лампой, испещренный моими рисунками, хотела разорвать его, и внезапно почувствовала, как у меня опустились руки. Я не могла их поднять, они повисли по двум сторонам моего тела, вся я налилась какой-то тяжелой, унылой горечью, словно, кто-то близкий мне, кто верил мне до сих пор, был мною обманут, словно кто-то, кому я верила, пожелал моей смерти. Я знаю, она будет, она будет! Она не заставит себя долго ждать! Именно потому, что в мире всё так логично вытекает одно из другого, именно потому, что в мире всё высокое переходит в низкое, чудо в обыденность, отчаяние в самоубийство, именно поэтому она придет!

Долго вынести это состояние было бы невозможно. Руки висели, я не дыша смотрела на круг лампы на столе, чувствуя всю мою страшную, жесткую неподвижность и тяжесть. И вдруг раздался долгий, резкий звонок, кто-то пробежал по корридору, голос Даши крикнул: Соня, это к тебе! И я вышла навстречу Володе Смирнову, Мадлэн, кому-то еще... Они пришли меня звать ехать с ними слушать какие-то рассказы приехавшего вчера из Праги брата Володи. Кажется, они говорили, что ожидаются большие события. И я ушла с ними, как автомат, которого поставили на рельсы, и вот он катится, катится... Вернулась я поздно, когда все уже спали.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Они изображали всемером комедию, вернее, это была клоунада, введенная в рамки театра, шедшая в быстрейшем темпе, так что под конец со всех семерых струился пот и капал на паркет, покрывая его темными пятнами. Рябины пота

на полу — Зай никогда бы не поверила, что это бывает, но теперь, выжимая фуфайку в кухне, она уже знала, что всё бывает в этой жизни. Уборной артистам служила прихожая, на ступеньках крутой лестницы разложены были туалетные принадлежности, пудра, зеркальце, один единственный гребешок, наполовину без зубьев, которым причесывались все по очереди. Угол гостиной был превращен в сцену, коврики и шкуры были убраны, мебель сдвинута, безделушки свалены в картонку. Куски материй, разбросанные тут и там на креслах и столиках, развесили по стенам и они давали задний фон, на котором и играли. Мать Жан-Ги, со своими подругами, ликером и белот, принуждена была перекочевать из столовой наверх, в спальню, такой в доме стоял крик. Репетиции шли четыре раза в неделю по вечерам, а днем, в хаосе беспорядка, по-прежнему принимались какие-то «клиенты»... Но днем Зай здесь не бывала.

— Графиня, ваш сын превращается в ягуара! — так начиналось первое действие. Это сообщал доктор, графиня испускала крик. Невеста молодого графа (ее играла Зай) бросалась к доктору, умоляя и ее превратить в какое-нибудь хищное животное. Но доктор разводил руками, он был бессилен, и Зай постепенно превратившись в громадного зеленого кузнечика, принуждена была соединить свою судьбу с себе подобным существом, в то время, как ягуар выбирал себе подругу среди публики. Попутно разыгрывались одна за другой еще с десяток всяких историй, каждый из участников играл три или четыре роли, в последнем действии начинались импровизации, автор (двоюродный брат Жан-Ги) так и пометил в тексте: актерская импровизация семь минут, актерская импровизация — одиннадцать минут. Сам он, в верблюжей куртке, с трубкой в зубах, стоял от начала до конца этой шумной чепухи, прислонившись к дверному косяку, наблюдая за воплощением своего детища; он собирался снять для труппы маленький театр и подписать с актерами ангажемент. Ему было скучно, у него было много денег.

Потом все шли мыться под кран, в кухню, большую и запущенную, где на всех столах и табуретах стояла грязная посуда в перемежку с чистой, так что когда хотелось выпить воды, то приходилось выбирать из всех стаканов наименее липкий. Кто был голоден, съедал три-четыре яблока из корзины или находил хлеб и масло, сырые яйца, которые и глотал, пробив дырку. Шли наверх гурьбой и валились все вместе на кровать Жан-Ги, курили и обсуждали общее будущее, и только очень поздно ехали на левый берег, в кафе, где их уже знали и где на них смотрели с любопытством.

Зай возвращалась домой после всех автобусов, после метро, а Жан-Ги, проводив ее, шел пешком через город. Она теперь не отбегала от него в подворотню, а наоборот, стояла и смотрела ему вслед, как, от фонаря к фонарю, то исчезая, то появляясь снова, он уходит по пустому тротуару. Потом, когда шаги его затихали, а силуэт пропадал вдали, она бежала наискось, пересекая тупик, к себе в подъезд, бережно закрывала дверь, поднималась неслышно по лестнице, вынимала ключ из-под мата и поворачивала его в замке, уже сняв туфли, чтобы не шуметь в корридоре. Но Любовь Ивановна стояла за дверью и надо было вынести пять минут упреков и угроз.

— Да пойми ты, — говорила она сердитым шопотом, — что это так дальше продолжаться не может. Мы с папочкой решили, что ты пойдешь изучать стенографию. Довольно баклуши бить. Это тебе Даша ключ кладет под половик! Ты способная, через три месяца на место поступишь. А стихи всегда сможешь продолжать писать.

— Тетя Люба, вы уже пять минут говорите, смотрите: по часам! Да я вовсе не хочу писать стихи, я уже давно не пишу их, больше месяца. Я теперь в театре играю и жалование скоро начну получать. Я всё вам отдам, вот увидите.

Любовь Ивановна отпрянула от нее.

— От тебя разит винищем и табачищем. Для того, чтобы в театре играть, надо сперва этому научиться, голубушка. Ина-

че каждый мог бы играть. Надо в школе трудиться. И в каком это театре, позвольте узнать?

— А вот увидите. И я очень даже учусь. А в школу идти не стоит, потому что театр — это тоже временное, как стихи. Актрисой я долго быть не собираюсь, что потом будет — еще неизвестно. Это — этапы моего освобождения.

— Царица Небесная! Этапы! — схватилась Любовь Ивановна двумя руками за широкое свое лицо. — Да ты что же это вздумала? Сначала — стихи. Мы думали, будешь писать книги, прославишься. Потом — театр. Это, так сказать, естественно: наследственность твоя. От матери твоей. А теперь выходит — этапы! Да ты что, с ума сошла? Случись что-нибудь завтра с папочкой, ты на панели останешься. Ты думаешь, мы всей семьей можем на дашину шею сесть?

Зай с тоской посмотрела вокруг. Но неоткуда было придти спасению.

— Поступишь изучать машинку, — шептала Любовь Ивановна, напирая по своему обыкновению всем телом на Зай. — И это тоже будут этапы, а потом Моро тебя в банк возьмет, конечно, не в свой, а в какой-нибудь другой банк, и не секретаршей, а так где-нибудь на задворки сначала. И опять это будут этапы. А потом можешь и бухгалтерские окончить. Тут уж настоящий будет этап! Это ремесло — всюду прокормит.

На этом она отпустила Зай. Был второй час ночи. И сейчас же, как только Зай оказалась одна, пропала вся ее грусть; замирая от счастья, которое давали ей жизнь и молодость, она прижала руки к груди и закрыла глаза.

Что бы сказал на всё это Бойко? Как бы он был счастлив, чувствуя ее такой счастливой. Если он еще жив (возможно ли это?), может быть, он иногда видит ее во сне? Хорошо, если он видит ее такою, какая она теперь, но наверное он видит ее совсем маленькой, такой, какая она была, когда ее пеленала бабушка, которая всё делала с молитвой. Или такой, какая она была перед отъездом, когда дрожала от всего. «Отче наш», — говорила бабушка; это был такой удивительный шопот,

«отченаш» шелестело у нее на губах. А Зай стояла рядом с ней перед образом (который давно надо было заменить, как у всех соседей, портретом Ленина) и боялась: того, к кому обращалась бабушка, потому что он наверное был грозен и страшен и так бесконечно далек от них троих; и того, кто мог войти в комнату в эту минуту и увидеть недозволенную молитву и обидеть их; и того, кто жил за стеной и мог услышать этот шопот, и вообще всех, кто сделал так, что надо было шептать и смеяться совсем тихо, и рассказывать что-нибудь тоже вполголоса. И вся ее жизнь была сплошным шелестом, сплошным «отченаш», то есть каким-то шорохом в полутьме испуганных, измученных людей. Неужели от всего этого могло когда-нибудь придти освобождение? «Да, — говорил тогда Бойко, — оно придет, конечно. Не может так продолжаться тысячу лет. Но для тебя оно придет, когда ты ступишь на чужую — мне чужую — землю, где родилась твоя мать, куда тебе предстоит вернуться. Эта земля особенная. На ней живут люди, которые впервые сказали миру о человеческом достоинстве и свободе».

Она только сейчас, в первый раз за эти годы, вспомнила этот вечер, словно глубоко в памяти он дремал, среди пластов воспоминаний, и сейчас легко и просто вышел из-под них. Ей тогда хотелось спать, было поздно и она старалась не клюнуть носом, чтобы не обидеть его. Но она тогда не понимала его. О свободе пели хором каждый день вокруг нее, и она сама пела. В «человеческом достоинстве» было трудно разобраться, оба слова порознь были ей знакомы, но вместе смысл их был темен. То, что она читала по французски, объяснения к ним не давало. С бабушкой они читали «Человек, который смеется» и она иногда от скуки пропускала страницы, незаметно, делая это так ловко, что бабушка ничего не замечала. «После Гюго будем читать «Шагреневую кожу», — сказала однажды бабушка и это тоже звучало невесело: если бы еще про сафьян или шевро, а то шагрень, вероятно, опять что-нибудь длинное и серое. Но она боялась бабушки и ничего не сказала. Да, она боялась даже бабушки. Такой она была в то время.

В конце концов, ей давно стало ясно, что ни на чудную книгу, ни на морской узел она никогда не будет похожа. Не говоря уже о гвозде. Похожие на гвозди жили и процветали, а те другие, исчезали, умирали, погибали, уходили без следа из жизни. Ей предстояло стать, как насекомое, как Алеша, ее современник, дрожать и мучиться, цепляться, прятаться, чтобы не быть сдунутой вихрем. Но нет: оказывается, в мире есть место, где можно жить свободно и гордо, дядя Леша говорит ей об этой стране; там можно свободно и гордо ходить по земле, сбросив с себя эту страшную в своей дикости, печали и унижении оболочку.

И еще говорил он ей о климате людей этой страны. Не о климате страны, но о климате людей. О том особенном воздухе, который там окружает человека и делает его носителем особого климата. Он не только в истории страны и в ее искусстве, в городах и в пейзаже, — каждый отдельный человек наделен способностью нести другим этот климат, создавать его вокруг других людей. Человек там есть климат. «Как же так, дядя Леша? — спросила она тогда. — Разве это может быть?» — «Да, это так, и ты это увидишь когда-нибудь, и поймешь. Человек несет в себе атмосферу тысячелетней культуры, как камень древности — образ законченного здания. Единственная на свете способность: создавать мир вокруг себя и давать жить в этом мире другим. И основа созданного: свобода и человеческое достоинство».

Постепенно эти слова, запавшие в память, непонятые ею сперва, как некий непонятый «отченаш», начали наполняться смыслом, когда медленно и мучительно стала она освобождаться от привезенных с собой страхов. Не где-то там, безкровно, отвлеченно, в каких-то парламентах, или на трибунах, но в ней самой эти слова зазвучали, ожили. От одного к другому, без конца, без устали, освобождая себя от всех тяжелых и сумрачных теней, расковывая невидимые цепи, светясь с каждым шагом всё ярче, принимая в себя весь этот особый кислород, которому в мире нет равного — кислород свободы и человеческого достоинства, — делаться постепенно самой носительницей этого

климата, таинственного и всесильного, дыхание которого распутывает всё, выводит на волю человека, свободного и гордого.

Стихи были только предлогом. И театр наверное тоже будет только предлогом. А любовь? Может быть. «Но я люблю тебя от этого не меньше. Я еще больше люблю тебя за то, что ты не цель, а путь к цели, которая есть мое освобождение, утверждение мое во вселенной. За то, что ты раскрываешь меня мне самой и я обретаю через тебя свое человечество. Я люблю тебя за то, что ты научил меня быть одной и быть вдвоем, не бояться ни себя, ни тебя, и значит — не бояться никого. Спасибо тебе! Я выхожу из твоих объятий, но не чувствую одиночества; я возвращаюсь в твои объятия и не чувствую ни робости, ни обиды. Я счастлива. Я свободна. Я — человек, а не дрожащее насекомое.

Мне некому сказать, что случилось со мной. Ты не поймешь меня и огорчишься узнав, что такое для меня твоя любовь. Другие пожмут плечами, может быть, назовут меня безнравственной, легкомысленной, или, наоборот — ушибленной навеки русским детством, несчастной и больной. Мне всё равно, как пройдет моя жизнь: будем ли мы продолжать любить друг друга, состаримся ли мы с тобой вместе, или я узнаю другое счастье, другое страдание. Я прочту много книг, я узнаю много людей. Мне всё равно, что еще может открыться мне во мне самой и каким будет мое будущее. Я знаю одно: что моя дорога, скрытая, единственная, моя, это — освобождение. На яву ли, во сне ли — у меня одна задача».

Она закрыла глаза. Сон тяжелил ее веки. Сквозь туман и странную сонную тишину она увидела далекую даль, какой-то вставал в этой дали хмурый город. Она видела себя в этом городе. Васенька пищал на руках у бледного, сутулого Алеши, алешина жена говорила безапелляционным тоном: надо показать Лизе Кремль! Они останавливались у подножия высокой стены, беспокойство охватывало ее, какая-то тревога — ничего не было видно за ней. Она заводила глаза всё выше, ища глазами... и вдруг над этой глухой, темно-красной стеной воз-

никали два тонких острия святой Клотильды, две серебряные иглы в серебряном небе. Они уходили ввысь, они таяли, наполняя душу невыносимым блаженством. Но голос Жан-Ги внезапно говорил ей в ухо:

— Графиня! Ваш сын безнадежен...

Она проснулась. Как весело и нелепо проводила она свои дни! Конечно, они правы и так продолжаться дальше не может, ей нужно начать зарабатывать, как всем людям на свете, учиться бухгалтерии, или кройке, или пойти в продавщицы, вообще решить что-нибудь, чтобы помочь отцу расплатиться с долгами. Она купит новую шляпу Любовь Ивановне, галстук отцу, Соне — новое платье, потому что она никогда не покупает себе платьев, а ходит в заштопанных, из упрямства, из-за плохого своего характера, из нежелания делать что-нибудь путное после того, как столько лет училась. Зай встанет на ноги, будет жить, как все, и это будет еще одним шагом к свободе, и внешней и внутренней, и вся жизнь будет сплошной гордостью и свободой, до тех пор, когда смерть... Но об этом думать еще рано, до этого еще слишком далеко. Будем думать о жизни, о счастьи, о страдании, о путешествии вокруг света, о том, что, может быть, у меня есть всё-таки сценический талант.

Путешествие мы начнем с Африки. Мы поедем смотреть на дашину жизнь, смотреть звезду Эридан горящую в южном полушарии над морским путем древних мореходов. Они огибали какой-то мыс и, в конце концов, обогнули его. И я обогну мой мыс. А кто-то не обогнет. Я пересеку три океана. Жан-Ги будет доктором на океанском пароходе, на разбойничьем бриге, на нефтеналивном...

— Как хорошо! — шептала Зай, лежа на животе, вытянув накрест руки.

Даша рядом, у другой стены, дышала ровно, еле слышно. «Я примиряюсь, — подумала Зай, — с ее судьбой. Ребячеством были мои к ней требования. Я люблю ее и хочу, чтобы она была счастлива. И я верю, что она будет счастлива. А Соня будет несчастна, потому что... Почему? Я этого не знаю, но так предчувствую. Я сегодня сказала ей: совсем это не актеры.

Один — будущий врач, другой — учится на фотографа; девочки обе играют в студенческом симфоническом оркестре. Я познакомлю тебя с ними на генеральной, и ты увидишь, как с ними весело. И тогда она так странно улыбнулась мне и не ответила ничего».

Вдали, у св. Клотильды, часы прозвонили два раза; в доме было тихо и на дворе было тихо, и Зай вдруг пришла мысль, что следовало бы сейчас из озорства, встать, одеться, крадучись выйти из дому, по мокрым от двухдневного ливня улицам выйти, пробежаться до сквера, обежать площадь, обозреть ночной мир в его пустынной и строгой наготе, и вернуться под одеяло, но она почувствовала, как слипаются, наконец, ее глаза, и только улыбнулась этому своему желанию.

— Графиня, ваш сын... — Зай уже спала.

В первый раз за много лет Соня приняла участие в семейном совете.

— Она никогда не хотела учиться и с трудом сдала экзамены в коммунальной школе, — сказал Тягин, — правда, жизнь ее была нарушена. Не сразу всё вошло в норму после ее переезда.

Любовь Ивановна уже целый час искала в буфете серебряное ситечко, миска и соусник стояли на полу, сама же она ползала вокруг, ящики были выдвинуты.

— Куда закатилось — не знаю. Другие и учатся, а всё от них толку нет, — бормотала она, — по десять лет учатся, всё знают, а применения талантам не находят и помощи от них — шиш с маслом.

— Я думаю, с ней надо серьезно поговорить, серьезно ее спросить: хочет ли она, наконец, получить какой-нибудь диплом для дальнейшего? Если да, то я думаю, я могла бы с будущей осени взять это на себя, — сказала Даша.

— Ничего она не хочет. Веселиться хочет. Это, говорит, только этапы. То есть цветочки, а ягодки впереди. Она и театра не любит, напрасно папочка думает (Любовь Ивановна всегда при детях называла Тягина папочкой). Напрасно он

думает, что она театр любит. Всё по ней только скользит, ничего ее не задевает. Бесчувственность какая-то.

— Она, конечно, не захочет никакого диплома, — сказала тогда Соня насмешливо. — Я ее сведу к одному моему знакомому, у него книжное дело около набережной, он в прошлом году предлагал мне с ним работать. Возможно, что он возьмет Зай.

Тягин посмотрел на нее пристально. Что было за этим лицом, таким жестким, таким чужим? И вместе с тем, всеми чертами походила она на него, из всех трех она больше всех была е г о дочка. Но она была непроницаема для него. И она не любила его, это он уже давно чувствовал.

— Отчего же ты сама не пошла в эту книжную лавку? — спросил он, стараясь не робеть от ее высокомерного вида. — Нам так было трудно в прошлом году.

Соня закурила.

— Я могу иначе зарабатывать. Да и не хотела связывать себя с этим человеком.

Любовь Ивановна поднялась с колен:

— И всегда это так будет?

— Мы сейчас — о Зай, — заспешила Даша, почувствовав, что еще минута, и всё, что уже много месяцев стояло прочно, как хорошо выверенный карточный домик, сейчас повалится, а поднимать его будет еще труднее, чем в прошлый раз, — давайте говорить о Зай. Спросим ее самое. И если надо, пусть она действительно пойдет с Соней искать место. Оставлять ее делать, что ей вздумается, по правде сказать, немножко рано.

— Она сказала, — медленно и ни на кого не глядя заговорила Соня, — что это вовсе не театральная труппа, что это они только так, в шутку ставят какую-то чепуху. А что касается меня, то я, мама, собиралась вам еще вчера сказать: я должно быть, уеду в провинцию, я на-днях подам прошение. Даша уедет, я уеду, Зай служить начнет, и пойдет здесь всё по иному.

Наступило молчание, никому не хотелось высказывать, что он думал, но каждый чувствовал некоторое облегчение от

этих сониных слов. Сама она, опустив глаза, стряхивала на блюдечко пепел папиросы. Она лгала: еще вчера она ничего не знала, что будет делать. Решение о себе пришло к ней во время этого разговора. Такие решения, между прочим, всегда приходят так, среди мирного разговора, среди дела, мимоходом, на подножке автобуса, приходят кое-как, чтобы потом громадным своим крылом накрыть всю жизнь человека.

Когда приходил Фельтман, вечерами, Тягины и он сидели теперь закрыв двери в столовую, разговаривая вполголоса: не хотелось, чтобы кто-нибудь слышал в доме, как они радуются замужеству Даши. Они воображали себе где-то на другом континенте вот такую же квартиру — только немного лучше, такую же лампу над столом — только подороже, и дашину жизнь с Моро в точности списанную с их, такой дружной и размеренной жизни. Фельтман, приходивший иногда к обеду, некоторое время сидел один в комнате, положив каждому у прибора либо огурчик, либо пирожок, купленные в русском магазине. Потом появлялся Тягин, усталый и всё более и более бледный, шел умываться в ванную, принимал перед едой какие-то капли. Из кухни Любовь Ивановна вносила миску. «Печной горшок тебе дороже», — говорил Фельтман, выждав, когда сядут хозяева и выйдет в столовую Соня. И когда уже суп бывал розлит по тарелкам, поворачивался ключ в замке и какая-то вся праздничная, но всё еше по-прежнему деловая, уже чуть-чуть чужая этому дому, и всё-таки ему принадлежащая, возвращалась к обеду Даша. Зай в последние недели обедала дома всё реже.

Она проводила долгие часы, сидя по-турецки в кресле, покрытом старым шелком, или в той же позе, посреди кровати, узкой и длинной, подстать самому Жан-Ги, в которой так мелодично пели пружины, когда он с размаху валился поперек, головой в колени Зай, и они смеялись, обнимая друг друга или чинно сидели рядом, рассуждая о чем-нибудь серьезном. В окне была улица, напоминавшая слегка ту, на которой прошло когда-то заино детство: она тоже была провинциальна и тиха, двухэтажные домики, сирень, акация весной, густой ли-

стопад осенью, зимой — сугробы. Но сугробов не было, и ни сирени ни акаций в цвету, ни бешеного, под теплой бурей, октябрьского листопада Зай на ней еще не видела. Были только воробьи, сначала казалось, что те же самые, но слава Богу, это были другие, и чирикали по-французски.

— Петухи тоже поют во Франции по-французски, — говорила Зай, вытягивая свою худенькую шею по направлению к окну, — и конечно, я их понимаю с полуслова.

Тикали пыльные часы на пыльной полке, сквозь грязный тюль окна было видно, как уходит за дома, за облака еще один длинный, блаженный день. Маленькая чугунная печка разогревалась до красна, они открывали дверь на лестницу, внизу кто то приходил и уходил, в гостиной со вчерашнего дня неубранной, где всё было сдвинуто, нагромождено, обсыпано папиросным пеплом, сидели какие-то «клиенты», — не то она гадала им по картам, не то продавала сфабрикованное ею самой средство для рощения волос. Она делала это не столько из нужды, сколько для собственного развлечения, так как получала порядочную пенсию после покойного мужа.

Когда темнело, приходили всё те же подруги, болтуньи, любительницы посудачить и перекинуться в картишки. Одна из них приносила с собой мандолину. Жан-Ги сбегал вниз с оглушительным грохотом, а наверх поднимался на цыпочках, осторожно, с бутербродами, апельсинами и бутылкой вина. Они ели и пили на его столе, но иногда спускались вниз и ужинали вместе с дамами, не обращавшими на них обоих никакого внимания: каждый был занят собой, все говорили и смеялись вместе. Приходили иногда и мужчины, но оставались недолго и всегда это бывало по какому-то делу. Им не предлагали засиживаться, а наоборот, старались выпроводить как можно скорее.

Часы, старые, уродливые, с отломанным бронзовым завитком, тикали, сильно закопченые дымящей печкой, но для Зай времени не было, внешний мир отодвинулся куда-то от нее и между нею и им образовался "no man's land", где в пустоте скрадывались все звуки и сливались все краски в один неопре-

деленный, далекий гул, в один тусклый цвет. Житейские дела, человеческие отношения, всё это существовало, ничего не рухнуло, но всё было видно издали, через далекий "no man's land", который защищал Зай своей пустыней.

— Почему ты, именно ты, а не другой кто-нибудь? — говорила она, зная, что на это отвечать ему нечего, как и ей самой. — Какое у тебя милое лицо, Жан-Ги, ты знаешь, что ты красивее всех людей на свете? Ты не можешь представить себе, что я чувствую, когда я это тебе говорю, когда целую тебя, когда трогаю тебя. Всё это такая для меня радость! Сегодня днем, когда я ждала тебя у ворот факультета, я была так счастлива. Знаешь, я буду всю жизнь ходить к этим воротам в этот час. Ты уже будешь известным психиатром, а я всё буду там ждать тебя, это так хорошо. И никто, никто мне не может запретить делать это! Я стояла там и ждала, и вдруг твое лицо, вот это, с этими глазами, из орущей и едва меня не сбившей с ног толпы... Я люблю тебя, Жан-Ги.

Он целовал ее в глаза и губы, и улыбался ее болтливости, говорил, что в ее прямых, черных, жестких волосах есть что-то китайское, что у нее детские руки, детские пальцы и трогательная родинка в глубине худой ключицы. Он играл с ней долго, рассматривая ее и целуя ее, потом становился серьезным, вытягивался во весь рост на кровати с папиросой в зубах, хмурил брови, говорил, что непременно этой весной провалится на экзамене из-за театра и требовал, чтобы она повторяла с ним их обоих роли.

Почему-то было так, что когда шли репетиции в гостиной, словесная дребедень казалась Зай ужасно остроумной и блестящей, и она с удовольствием делала и говорила, что полагалось, здесь же, когда они были вдвоем и репетировали, чувствуя дыхание друг друга, было совсем не так, и надо было делать усилие, чтобы Жан-Ги не заметил, что ей это в сущности не так уж интересно. Она принималась танцовать, ходить по комнате на пуантах, мурлыкала ему песни, которые он тоже называл китайскими, пока окончательно не затихало всё в доме и в городе, и не наступал тот час, когда хлопала дверь

внизу и с хохотом, криками, дуденьем в какую-то самодельную дудку собиралась труппа для вечерних упражнений.

Дамы перебирались наверх и уже из спальни слышались теперь их разговоры, всегда такие, словно была нажата невидимая педаль или подчеркивалось курсивом в книге. Не: «нравится» или «не нравится», не «дурной» или «хороший», но непременно «я ему плюнула в лицо», «мерзавец, каких не бывает на свете», или «это ангел доброты, только встать на колени и молиться»... Но чаще дверь захлопывалась и ничего не было слышно. Внизу забывали о них. Главной задачей была мизансцена, над которой трудился хрупкий, некрасивый, прыщеватый мальчик с толстым клетчатым кашнэ, которое он никогда не снимал.

В половине одиннадцатого Зай объявляла, что должна вернуться домой. «Если я вернусь два-три раза в одиннадцать, потом опять будет можно...» По обычаю, который они завели, с первого дня, она целовала всех по очереди, прощаясь, девочек и мальчиков, и туго перетянув пальто поясом, уходила.

Опять ночной мир, таинственный и вещий, плывет зеленый автобус, мчится автомобиль с пожарными, идут пешеходы. Жемчуг возвращается в свою раковину, вползая по зеленому бархату в небытие, Зай возвращается к себе домой, шагая по бархату парижской ночи. Соня встречает ее в прихожей, идет за ней в ее комнату. Даши, конечно, нет дома. Открытая картонка валяется посреди комнаты: новое вечернее платье прислали сегодня из магазина, и она тотчас надела его.

— Завтра мы с тобой пойдем к Б. в магазин. Ты знаешь Б.? Помнишь, он приходил за мной однажды в прошлом году, еще ты простужена была и приняла его за доктора? Не помнишь? Ну так это всё равно. У него большое книжное дело и он, я думаю, возьмет тебя к себе на службу. Хочешь устроиться на работу? Получать деньги каждое первое число?

— Хочу, — сказала Зай совсем тихо.

Соня оставалась стоять посреди комнаты, глядя, как Зай медленно раздевается. «Конечно, пора, — думала Зай, снимая

через голову платье, — вот она жизнь. Начинается по-настоящему».

Соня не уходила.

— Ты обещала повести меня на какую-то репетицию?

— Да.

— Раздумала?

— Нет.

— Что ты сегодня, не в духе?

Зай босой ногой вытянула ночную туфлю из-под кровати.

— Я передумала, — сказала она, беря головную щетку, я была тогда неправа, помнишь, когда так огорчалась за Дашу. Я теперь уверена, что она хорошо сделала, что согласилась, она поступила правильно. Она будет счастлива. И всё, что ты тогда мне говорила, совершенно неверно. Я много думала об этом. Во всем, что ты мне говорила тогда, нет ни одного слова правды.

Соня повернулась к двери и, ничего не сказав, вышла из комнаты.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

На улицах, на углах, вдоль заборов, облепляя киоски, в метро, были расклеены громадные желтые афиши. Даша, выйдя под вечер, увидела одну из них прямо перед собой и внутренне усмехнулась. Большими буквами, среди прочего мелкого шрифта, было напечатано «НЕ НАДО ДУМАТЬ!» Она добежала до угла, где ждал ее в машине Моро-младший (чтобы меньше было разговоров, он теперь не ждал ее у подъезда). На углу, в сумеречном свете, мелькнуло еще раз: Не надо думать! Она села в машину, и спустя час, перед выходом из ресторана, где они обедали и напротив входа во Французский Театр, куда были взяты билеты, опять бросилось в глаза: Не надо думать! Не надо думать!

Но Даша думала: мне тридцать три года, кто знает, быть может, это мой единственный и последний шанс. Я презираю

себя за вот это именно рассуждение. Да, сегодня я презираю себя, а через три года я даже не пойму моих колебаний и буду покорно и, может быть, даже весело плыть навстречу жизни, которая сама собой устроится. Я тону. Спасения нет. Не надо думать. Нельзя думать. Думать может тот, кто смеет додумать до конца, всё раскрыть, ничего не испугавшись, и сделать выводы, и на основании этих выводов сказать: нет! Но я не могу этого, ничего до конца не раскрою и ничему не скажу «нет». Я не додумаю ничего, не пойму, что со мной случилось, а потому и не надо начинать этих размышлений, я на них неспособна. Зачем эти афиши? Что это, новая театральная пьеса так называется или рекламируется зубная паста? Не надо думать. Не берись за то, чего ты не умеешь. Скользи по жизни. Не надо думать. Не надо думать. Не надо думать.

(Несколькими днями позже выяснилось, что это была реклама холодильников).

Накануне Любовь Ивановна, оставшись с ней вдвоем, заставила ее сесть в кресло, у окна спальни, и плотно закрыла двери, хотя в квартире, кроме них двоих, никого не было. Кресло было первым предметом, когда-то купленным в квартиру: не было еще ни кастрюль, ни матрацев, но было уже это кресло и, кажется, оно осталось здесь от прежних хозяев, продавших его вместе с квартирой. Оно уже тогда было не новым, но удобным, обитым красным плюшем, и Тягин его сделал своим. В нем он сидел по вечерам, иногда выдвигал его в столовую, в нем он старел, худел, как-то странно и печально изменялся лицом и телом, и конечно — душой. В кресле теперь торчали пружины и Даша подумала, что не худо бы завести новое.

Любовь Ивановна говорила о том, что она всё понимает, и что Даша — высокого духа человек, что она приносит жертву папочке, которому на закате дней будет спокойно жить. Любовь Ивановне очень хотелось, чтобы это было так. Она это придумала молниеносно, как только в первый раз увидела Моро.

— Хорошо было бы, если бы папа бросил эту утомитель-

ную и плохо оплачиваемую службу, — сказала Даша. — Но жертвы с моей стороны никакой нет, в этом вы ошибаетесь.

— Знаю, знаю! Это в романах — жертва, и то не в современных, а в старых, которые мы читали в молодости. Это когда молодая идет за старого, да еще по принуждению, а ты свободно и не за старого.

— И я сама не молодая, — засмеялась Даша, — и вообще совсем всё непохоже. Но вы знайте, что если Зай поступит на место и Соня, наконец, образумится, то папе с моей помощью работать не придется.

Любовь Ивановна принесла из буфета две рюмочки и они обе выпили смородинную наливку, которую Любовь Ивановна получила недавно в подарок.

— Дашенька, — и она устремила свой полный нежности взгляд на нее, — а ведь я ужасную глупость сказала о жертве. Ведь ты счастлива будешь, и его счастливым сделаешь. Ведь в этом не может быть никаких сомнений, голубчик. Правда?

— Отчего же нет? — и Даша опять засмеялась. — Вполне похоже на то. Во всяком случае, из всех житейских комбинаций я нахожу для себя эту наиболее подходящей.

Комбинаций? — растерянно повторила Любовь Ивановна.

Ну да. Возможностей, если хотите. Жить так, как я жила до сих пор вплоть до семидесяти лет право же слишком грустно. Няньчить заиных детей, когда она выйдет замуж, тоже мне не улыбается. Сониных — незаконных — еще меньше.

— Незаконных! Что ты говоришь! — у Любовь Ивановны появилась эта привычка с некоторых пор повторять слова собеседника. Она заразилась ею от госпожи Сиповской.

— Один раз замужество я уже попробовала, но из этого ничего не вышло. Я думаю, тогда еще жил во мне тот испуг, вы знаете какой. Сейчас он исчез, столько лет прошло. Да и человек на этот раз совсем другой.

— Какой же он человек, Дашенька?

— Он — прекрасный человек, хоть, кажется, с характером, но спокойный, уравновешенный, воспитанный. Он знает

чего хочет. Всю жизнь искал прочности — в положении, в личной жизни, во всем. Но именно в личной жизни прочности не было: жена умерла и ему ее очень недоставало. А случайных связей он не любил, боялся бурь и треволнений, боялся за сыновей, которых очень любит. Ранение наложило на него очень тяжелый отпечаток. Он однажды мне сказал: я знаю, что вы та самая, которую мне надо.

— А ты что?

— Я? Ничего. Он не спросил ни о чем. Но он знает, что я к нему отношусь очень дружески.

Любовь Ивановна встала, подошла к Даше и поцеловала ее в голову. Забота была у нее в лице, когда она спросила:

— Дашенька, а ведь если дружески, если только дружески, то ведь как же всё будет-то?

Она сказала это и испугалась: ей захотелось, чтобы Даша не расслышала, не поняла ее слов, а если это было невозможно, чтобы она хотя бы ничего не ответила на это. И Даша не ответила. Она продолжала некоторое время сидеть в старом кресле, смотря на старые плюшевые занавески, из которых одна была оборвана с колец, и переведя глаза в угол комнаты она увидела, что и обои старые, что рисунок их потускнел, выцвел, что выцвела старая цветная литография, копия какой-то мадоны с младенцем, что всё здесь в квартире старое, вылинявшее от долгих лет, трудных лет, и что Любовь Ивановна тоже старая, и что еще немного, и она сама, Даша, начнет тускнеть и выцветать. А где-то висят вот такие мадонны с младенцами, яркие, пухлощекие, улыбающиеся. Впрочем, может быть, и они вылиняли тоже, как и их копии? Кто знает!

Это было накануне, а сегодня она в последний раз была на службе, впрочем, не совсем в последний, потому что она еще зайдет туда, но уже не будет сидеть от девяти до шести, уже не включится в конвейер. Старый Моро опять болен, и на этот раз тяжело, так что сын торопит со свадьбой, потому что отец может умереть, и тогда будет траур, и нельзя будет венчаться, и придется ему возвращаться одному в Оран. Мальчики

учились плохо, гувернантка грозилась уйти, повар пил и вообще нельзя оставлять дом так надолго.

Удовольствие, которое он испытывал, сидя с Дашей рядом, в кресле театра, было совсем особого рода: он знал, что теперь наступает отдых. Десятки лет он воевал и теперь вдруг объявлялся мир: будто по всей вселенной объявлялся свыше вечный мир. Кругом все говорили о войне, которая шла большими шагами, а ему казалось как раз наоборот: война навсегда покончена. Сначала война была с собственной матерью, потом с отцом, потом он пошел на настоящую войну и ему оторвало руку; потом он воевал с женщинами, когда женился — с женой. Она говорила, что у него тяжелый характер, вероятно, это было справедливо. Когда она умерла, он воевал с прислугой, с гувернанткой сыновей, с сыновьями... Теперь этому приходил конец.

Теперь был мир и прежде всего — мир с самим собой, лад, какого он никогда до того не чувствовал, и особенно — в ее присутствии; потому он так сильно и дорожил ею. «Мне всегда говорили, что у меня несносный характер, — предупредил он Дашу в самом начале, — что-то вы скажете, когда узнаете меня ближе?» — «А у меня хороший, — сказала она просто, — и я думаю всё обойдется». С тех пор, как был этот разговор, он усвоил привычку, каждый раз, как видел ее, с нежностью оглядывать всё ее лицо, шею, прическу, словно проверял, та ли она, та же ли самая, которая была вчера, которая завтра будет его женой?

«Не надо думать!» — мелькнуло опять на каком-то столбе, под фонарем, и когда Даша вернулась домой, она машинально еще раз повторила это про себя, шевельнув губами. Было поздно. Она зажгла лампу на столе. Зай крепко спала, книга лежала на ее подушке, у самой щеки. Даша села к своему маленькому столу, покрытому старым клякспапиром, заслонила лампу картоном и задумалась.

Ей представилось возможным вот так, одной, в этой комнате, глухою ночью, под лампой, найти ответ на все вопросы и сомнения, которые лежали тяжестью в ней все эти послед-

ние месяцы. Какое-то предчувствие шевельнулось. Странное облегчение прошло по ней при этом. Вопросы и сомнения давили ее это время, но почва ни разу, в сущности, не ускользнула из-под ее ног. Она прочно опиралась на нее. Был ли это мир, который, за ее долгое доверие к нему, платит ей сейчас этой поддержкой, или она сама достаточно сильна, сильнее еще, чем предполагала? Она себя не знала. «Нет, я не потону в воде и в огне не сгорю, — подумала она, — а если и потону и сгорю, то может быть, всё-таки не погибну. Как же это так: не погибну? А если умру? Останется всё-таки что-то. Что же именно?» И вдруг она почувствовала толчек в сердце: ей открылся ответ на вопрос и сразу же на все другие за ним: ей открылось внутренним осязанием души, что всё на свете — двусмысленно.

«Да, если Бога нет, то всё двусмысленно, — подумала она. — А его нет и никогда не было, и никогда я не чувствовала необходимости в том, чтобы он был. Всё, всё имеет два смысла: каждый поступок, каждое решение, как бы ты ни поступала, как бы ни поступали с тобой — оно и так, и эдак, оно и да, и нет, и за, и против, оно полно двух значений, и ты свободна принять, если хочешь — одно, если хочешь — другое. Ведь мир разрезан уже давно не вдоль — добро и зло, но поперек — счастье или несчастье. Значит, иди за тем, что в данную минуту ты выбрала, потому что данная минута — твой единственный критерий, и ты сама себе судья. Ледд пренебрег мной, и это принесло мне страдание, но в этом страдании я пожелала смерти Сони, и увидела, что желание мое столь же мало, вяло и бессильно, как и у всех людей, что я не могу изменить хода вешей, а значит Ледд был прав, что пренебрег мною. И теперь я начинаю новую жизнь, третью, потому что здесь была вторая, а т а м — первая, и эта новая жизнь, как всё на свете, будет двусмысленна. Она будет иметь два значения, из которых одно будет: самоотверженность, покорность, разлука с домом, согласие на всё, что нужно в браке, а другое: трусость перед будущим, перед одиночеством, усталость от службы и трудной жизни, уход в круг предрассудков,

обязанностей, и желание благополучия. И нет в мире вещи, которая не имела бы двух смыслов, ни даже любовь пухлощекой мадонны к своему младенцу, ни подвижничество, потому что и у него есть оборотная сторона; ни жертва. Раскрой ее до конца, и ты увидишь, что в ней тоже две сути. Выбирай любую, какая тебе в данную минуту больше нравится.

— Я давно догадалась, что Соня думает обо мне, — продолжала Даша, подперев лицо рукой и глядя, сильно скосив глаза, как пульсирует голубая жилка у ее левого запястья. — Она думает: вот к чему приводит безмятежность, равновесие — к страховке от страданий и страстей. Но я скажу ей на это когда-нибудь: а к чему приводит вечная тревога, разлад и борьба? К самоубийству? К преступлению? К безумию? А к чему приведет Зай ее восторг перед всем, ее поэзия, из которой, вероятно, ничего не выйдет, ее мечты — на яву и во сне? К восторженности до старости, к болтливой экзальтированности? Или к глупости? К чему привела папу его ненависть к нашему времени? Тетю Любу ее чувствительность и добродетель? Сиповского любовь к красивым словам? Фельтмана его расбросанность и диллетантство? Всё, всё двусмысленно, на всё имеется два ответа. Только в один влезаешь, как в разношенный башмак, а в другом немного тесно и неудобно.

Жилка билась, не слишком скоро и не слишком медленно; по этому старому столу проходила, заворачивая, дашина жизнь. Она чертила след, уходя за море, на другой континент, незнакомый, но не страшный. «Флора и фауна, — сказал как-то Моро-младший, — и созвездия». Но ведь я никогда не была гостьей ни в пространстве, ни во времени. Я чувствую себя дома под любыми созвездиями. И даже в созвездиях есть двусмысленность. Потому что они не только вверху, надо мной, но и во мне, внутри меня, на дне меня, там, куда упирается мысль.

И какая-то пелена, надвинувшаяся на Дашу в последнее время, медленно начала рассеиваться, сквозить чем-то светлым, словно в каком-то ином, не нашем измерении, в сонном полумраке, забродили тени, люди и предметы. Что-то подня-

лось с души, как иногда поднимается туман над землей, всё чище и яснее начало становиться у нее в мыслях; и внезапно, обратив глубокий взгляд в самое себя, Даша увидела в обычном, прекрасном покое, неподвижное небо, бесстрастное, спокойное, ко всему безразличное.

— Звезда Эридан, — вспомнила она и улыбнулась. — И она отразится тоже когда-нибудь, когда Большую Медведицу волей-неволей уведут за горизонт, продев ей в нос кольцо...

Наступили дни, когда всё изменилось в дашиной жизни. В середине февраля был назначен день очень скромной и для большинства тайной свадьбы. Пустынный и тихий переулок, в котором стоял пятиэтажный, тяжелый дом, выстроенный в конце прошлого века и в котором жили Тягины, грозил временами превратиться в тот бальный зал с верхним светом, на который он всегда был так похож. Между тем, это была только игра воображения, так как в действительности здесь ничего не должно было произойти, и ничего не менялось, если не считать приезжавшего раз в день автомобиля. Никакого праздника не было и не предполагалось ему быть, всё должно было совершиться самым незаметным, самым скромным образом. Подготовления шли больше к отъезду, чем к самому торжеству, да и это слово совершенно не подходило к тому, что должно было случиться. Однажды утром Даша сказала себе: это сегодня. В два часа она должна была быть в мерии, а в пять вылететь из Бурже. Два новых чемодана были открыты и наполовину полные вещами загромоздили комнату. И Зай громко пела какие-то веселые песни, прыгая через них.

Конечно, Тягин в этот день не вышел на службу, сидел дома, настороженно стараясь догадаться, что делается за стеной, где Даша ходила взад и вперед, разбирая свои вещи. Было похоже на воскресенье: Любовь Ивановна в полном и непривычном бездействии, сидела у окна с заплаканными глазами, домашние события, даже счастливые, вызывали у нее слезы. Разлук же она вовсе не умела переносить.

— Соня, можно к тебе? — спросила Даша и вошла. Соня лежала в постели, укрытая до подбородка одеялом, на кото-

ром валялись в большом количестве газеты и какая-то толстая книга. — Ты больна?

— Нет, я здорова.

— Почему же ты не встаешь? Десятый час.

— Сейчас встану.

Даша села у нее в ногах; Соня выпростала руку из-под одеяла и сбросила газеты на пол. Мелькнуло ее голое плечо.

— Ты что, без рубашки спишь? Не холодно?

— Нет.

— Нету рубашек, что ли?

— Нету.

Даша подняла брови и сейчас же их опустила.

— Я тебе оставлю две свои. Они порядочно ношеные, но могут еще пригодиться. Я, собственно, пришла тебя спросить: хочешь взять мою старую меховую шубу? У меня теперь другая есть. А нет, так я ее тете Любе отдам.

— Подари ее лучше Зай, — сказала Соня очень мирно, — это утешит ее в ее горести.

— Разве она горюет? Что-то не видно. Она поет целый день. А осенью она, может быть, приедет ко мне, так что разлука...

— Я не о разлуке. Она горюет о тебе, как бы сказать это? — метафизически, что ли. Она даже плакала однажды. Кажется, она хотела для тебя «любви, которая двигает горы».

Даша опять подняла брови и долгим взглядом посмотрела Соне в лицо.

— Ей всё казалось, что ты выдумаешь что-нибудь особенное. Почему — неизвестно. Что ты мертвого воскресишь, а потом за него замуж выйдешь. Она в тебя верила. Говорила, что ты не как все, и вероятно, предполагала, что ты на компромиссы не пойдешь. Словом, у нее были на твой счет всякие иллюзии.

— Вот как, — сказала Даша, стараясь изо всех сил сохранить спокойствие. — А ты что думаешь по этому поводу?

Этот вопрос был для нее самой некоторой неожиданностью. Она никогда, во всяком случае уже очень давно, не спра-

шивала мнения Сони о своих поступках, но сейчас это было легко: во-первых, от мнения Сони ничего уже не изменится, во-вторых, через несколько часов она будет так далеко от нее, что всё уже будет всё равно.

Соня заложила руку за голову, запустила тонкие, длинные пальцы в волосы.

— Я думаю, — и она стала тихонько перебирать свои темные, вьющиеся пряди, смотря поверх дашина лица, — я думаю, что если бы я сделала это, то есть решила бы выйти замуж, так, как выходишь ты, то это значило бы только каприз, глупость, сумасшедший поступок, а для партнера моего — катастрофа. Или это не значило бы ничего. А так как это делаешь ты, то это значит совсем другое.

— Что же это значит? — спросила Даша, вдруг затаив дыхание. — И как же я выхожу замуж?

— Ты сама знаешь как. Зачем ты спрашиваешь? Когда мне Зай сказала об этом, я подумала: ну что ж! Это же вполне естественно. Это можно было предвидеть. Такая, какая ты есть...

— Какая я есть?

— Опять ты спрашиваешь! Неужели ты сама не знаешь? Добрая, милая, главное — гарантированная, застрахованная от житейских бурь, любящая свое равновесие превыше всего, да оно и стоит того! Безмятежная что ли, и любящая эту свою безмятежность, вечную, исконную, органическую — ты иначе и не могла выбрать. То есть выбора ведь и не было, так, просто случилось, ты и приняла случившееся. И когда я говорю: ты в равновесии, это вовсе не значит, что у тебя характер флегматический, вовсе нет. Это гораздо глубже в тебе, это вроде мировоззрения. И не думай, что я осуждаю это в тебе, но я не могу и восхищаться этим. — Соня, с голыми плечами, растрепанная, села вдруг на постели. — И вот ты причаливаешь к тихой пристани, к благополучной жизни, поступаешь, как все бы поступили на твоем месте. А мы думали обе, что ты не как все. Вот и всё.

Нет, не всё. Это только касается внешней стороны дела.

Второе имеет отношение к стороне внутренней. Зай ждала от тебя чуда, нивесть чего. Я ничего этого не знаю, но всегда думала, что в тебе живет что-то особенное, ну утешение что ли, утешение для других людей, которые этого не имеют, что имеешь ты. Ты спросишь: что же это? Разве я могу тебе ответить! Если бы я знала, всё было бы для меня по другому!

Так вот мы думали — каждая порознь, заметь, — что ты за перину и сладкий кусок не отдашь чего-то сильного и прекрасного, что есть в тебе, этого покоя, этой ласки, этой таинственной возможности что-то в мире поправить. Это в тебе всегда было. Я это в тебе заметила в первые дни нашего с тобой знакомства, а мне ведь тогда и десяти лет не было! Помнишь, как ты тогда приехала, после всего, что было с тобой, завернутая в рогожу, на мужицкой телеге, одна, под дождем, с этой раной в сердце, которая, я думаю, никогда в тебе не зарубцуется, да еще куда приехала-то! Не только к чужим — к мачехе!

— Тетя Люба никогда не была для меня мачехой.

— Но ведь ты не знала этого. Ты ведь не знала, что так всё будет. В тот день ты приехала к мачехе в дом, где уже был свой ребенок, а отец, единственный человек, который у тебя был, лежал в полевом госпитале, ожидая эвакуации. И ты с первых же дней поразила меня.

— Чем же я поразила тебя?

— Ясностью своей. Равновесием. Я, конечно, тогда еще ничего этого не понимала. Поразительно, что я вообще позднего развития, по сравнению и с тобой, и с Зай. До семнадцати лет оставалась совершенным ребенком.

Даша вынула папиросу из лежащего на столе пакета и закурила.

— Кури, пожалуйста. Я стараюсь поменьше, денег мало, да и испытать себя хочу. Нельзя же впадать в рабство куренья! — сказала Соня и вдруг смутилась: ей показалось, что теперь уже никогда нельзя будет говорить так с Дашей о собственной бедности.

— Так вот, — продолжала она, с удовольствием вдыхая

дымок дашиной папиросы, — говоря грубо и прямо, то, что ты делаешь, смущает меня. А вместе с тем, оно доказывает мне, что в жизни есть известная логика, и кто был A, B, C, тот станет непременно D, E, F, а потом уж, не взыщи! силою вещей — G, H, J! А когда он станет Y, то это будет нам, идущим по другой дороге, несколько страшно... Но есть ведь еще и изнанка этого дела: ты выходишь за человека, с которым тебе будет не весело, он знает, конечно, что ты его не любишь; перед тобой каждый день будет стоять вопрос долга, ты тоже будешь мачехой. У тебя будут трудности, и ты преодолеешь их, и принесешь, несомненно, радость всем, с кем ты будешь жить. То есть ты недаром получишь сладкий кусок и перину — ты душевно их отработаешь. Вот она изнанка дела. А значит, зачем же тужить? Надо радоваться, что все и делают кругом, и Зай погоревала всего один денек, она теперь тоже радуется. Это я пошутила.

— Значит, каждое решение — двусмысленно? — спросила Даша.

— На это я тебе не отвечу, — и Соня как-то вдруг нехорошо и вместе с тем грустно усмехнулась; вдруг пропали в голосе ее прежние ноты. — Потому что, если я тебе скажу, что всякое решение двусмысленно, ты ужасно обрадуешься, и с легким сердцем пойдешь одеваться и вся оживешь таким утешением. Ты скажешь: я предамся целиком этой вкусной, веселой этой мирной и пустой жизни, потому что в этом моем решении имеется второй смысл, который всё оправдывает. Если же я скажу, что никакой двусмысленности нет, и есть только один единственный, страшный и гибельный смысл всего, то ты, наверное, будешь несчастна. Сама-то ты как думаешь про это?

— Мне кажется с некоторых пор, что на всё вообще бывает два ответа, и от этого-то мир и в гармонии — он уравновешен как бы двумя тяжестями. Он и сложный, и цельный, одновременно и гибок, и текуч. Очень давно мне начало казаться, что в нем много правд, это когда я почувствовала, что христианства больше нет. А раз его нет, может быть много правд. И я почувствовала себя...

— Удобно? — прервала Соня Дашу. — Но во-первых — почему ты думаешь, что христианства больше нет? А во-вторых — откуда ты взяла, что мир в гармонии?

Даша потушила окурок и не ответила. Она почувствовала, что они обе подошли в этом разговоре к чему-то огромному и важному, раз навсегда ею принятому, и поднимать и ворошить это огромное не хотелось.

— Я такого мнения, — сказала Соня после паузы, — что есть человеческие решения, в которых никакой двусмысленности нет и быть не может. Это когда производится выбор и обратного пути нет. Это когда ты целиком, вся, идешь в этот выбор, в это решение, и не страхуешься, и платишь за его смысл всей своей жизнью. И перерешить ничего уже нельзя, и поправить нельзя, и компромисса нет, и выгоду извлечь (даже духовную) невозможно. И вообще, когда ты чувствуешь, что становишься при этом, как кристалл, что вся ты только воля и вера.

— Какое же это решение? — спросила Даша, слегка замирая.

— Самоубийство.

— Только оно?

— Других не знаю. Во всех других остаются какие-то лазейки.

«Как это всё, в сущности, чуждо мне, эти мысли о смерти, о самоубийстве, о выборе. Сказать ей о звездах? Нет, она не поймет, — думала Даша, — она не может понять, у нее мысль иначе работает. Ритм другой. Именно ритм. Смерть? Она сама должна придти, тут никакой воли быть не может! Не должно быть!»

Соня молчала, опустив глаза.

— Откуда ты взяла, что мир в гармонии? — повторила она вдруг с насмешкой в голосе.

Даша перевела на нее глаза, с минуту они смотрели друг на друга.

— Мир в гармонии, потому что ты в гармонии, — сказала

Соня уже явно издеваясь, — а ты в гармонии, потому что мир в гармонии. Так что ли?

Опять Даша опустила глаза и не ответила. Внезапно ей показалось, что где-то пробили часы. Она спохватилась: должно быть поздно. Который час? Сколько времени она уже здесь?

— Я тебя спрашиваю... Впрочем, ты не ответишь на этот вопрос, ты на это не можешь ответить. Именно — не можешь, даже если бы хотела. Мир, скажу я тебе, совсем не в гармонии, мир расколот, разорван, раздроблен, миру выхода нет. Неужели ты не видишь, что жить людям нечем, что всё потеряно, всё умерло, что верить не во что, что всё летит к чорту? Что будет война — на десять, на двадцать лет, может быть — на пятьдесят. И никто ничего не может с этим сделать, никто помочь не может, не может примирить, оправдать. Всё катится куда-то, всё рушится. Неужели ты этого не чувствуешь?

«Это во все времена говорилось», — подумала Даша, но смолчала.

— А ты говоришь: мир в гармонии! Ты посмотри вокруг себя, что делается. А Россия? Ты ее чувствуешь еще? Что это такое? Что за гробовое молчание? Какое ее слово будет во всем этом?

— Читай поменьше газет, — сказала Даша холодно. — Это совершенно бесплодное занятие.

— Она же должна будет когда-нибудь сказать, наконец, свое слово! Не о правительстве я говорю, о народе. Десять тысяч верст молчания, двадцать лет молчания... Впрочем, ты права, газет читать не надо, газеты дают надежду, а надежд нет. Не стоит об этом.

Она хмуро посмотрела в направлении окна, потом перевела глаза на свой стол, на книги и бумаги, на висящую на гвозде какую-то полосатую юбку, и ей стало вдруг стыдно всех этих бедных и некрасивых предметов, пыльных книг, давно не протертого окна.

Даша встала.

— Соня, — сказала она, — я оставлю тебе шубу и два платья, которые тебе Зай переделает, она отлично сумеет это

сделать. И туфли мои белые на лето ты тоже возьми. Там много всяких мелочей в комоде, которые тебе могут пригодиться.

Соня, встав тоже, застегивая лифчик на-ходу, искала чулок и уже не смотрела на Дашу.

— Я тебе очень благодарна. Но мне мало что надо. Я ведь не люблю вещей. И вообще я скоро жизнь переменю, я, кажется, получу назначение в провинцию. В частном лицее, греческий и историю.

— Когда? — спросила Даша.

— Надо думать, с осени.

— А до того, Соня, чем же ты жить будешь?

— Жила же я до сих пор, — сказала Соня с раздражением в голосе и, шлепая старыми ночными туфлями, вышла из комнаты.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Всё было, как бывает на добротной семейной фотографии, не было только мальчика, который мог бы сесть впереди, скрестив худые, длинные ноги. Тягин и Любовь Ивановна — рядом, на стульях, усталые от этого дня и грустные от предстоящей разлуки, Зай и Соня тут же в комнате, с какими-то особенными лицами, в дверях, в выжидательной позе, Моро (вещи уже были сложены в машину) и в центре всего — Даша, веселая, нарядная и праздничная, с белой камелией в петличке жакета, заколотой большой бриллиантовой булавкой. Тягин говорил:

— Да, вот как оно. Могу сказать, до сих пор, веками, было так: были у нас друг от друга тайны (он обращался к Моро и тот с вежливой улыбкой слушал его), были секреты, и что мы знали друг о друге? Только всякие смешные вещи: вы о нас, что мы свечи едим и с медведями живем, мы о вас, что вы на улицах пляшете и каждый год новые женские шляпки выдумываете. И это всё, или почти. И так жили. Между прочим, была в этом и правда, потому что новые шляпки вы действительно придумываете и даже по несколько раз в год, и че-

тырнадцатого июля в самом деле танцуете, а мы с медведями — друзья и, конечно, они нам кажутся гораздо более близкими предками, чем обезьяны. Вот только насчет свечек... Еще мы знали разное, что сами хотели обнародовать. Остальное скрывалось, аккуратно пряталось, кое в чем стыдно было признаться, кое-что и самим-то хотелось забыть. И вдруг — на-те вам! Никаких больше тайн: двадцать лет живем вместе, всё узнали друг о друге: и кухню вашу, и политику, и характер, и страсти... И вы о нас всё знаете: весь позор наш, и доблесть, и мерзость всякую о нас, и вполне приличное наше поведение иногда, и весьма неприличное. Так что мы теперь уже вполне друг друга понимаем и хорошо знакомы. И вот выходит, что в общем мы друг другу нравимся.

Моро засмеялся:

— Иногда очень.

— А иногда и совсем нет. Но в среднем нравимся. Главное же, что интересно, это что мы узнали друг друга таким оригинальным способом: обыкновенно народы узнают друг друга через завоевание. А тут было мирным путем.

— Милые мои народы! — сказала Даша обращаясь к мужу. — Вы бы сели.

Потом началось прощание, поцелуи, поиски перчаток, два-три слова Зай, отдельно от других, две слезы в ее косо поставленных глазах, из которых одна повисла на реснице и потом упала на щеку, мягкое и душистое объятие Любовь Ивановны, жесткое и табачное объятие отца, внезапно под губами его худая влажная скула; наконец — быстрый сонин поцелуй, мгновенный и легкий, и вот уже Даша спускается вниз. Эта лестница кажется ей широкой и мраморной, и белой, она ведет в бальный зал, где подобрав кисею, с дрожащим над лбом флердоранжем, она сейчас вступит в круг танцующих... Но это — мгновенный сон, который снится ей перед выходной дверью. За дверью, в тишине сумеречной улочки стоит большой автомобиль, хорошо ей знакомый и смотрит незажженным глазком — вперед и назад.

— Я вернусь летом, — говорит она, чуть взволнованная

и этим прощанием и всем этим днем. — Милая тетя Люба, Зай и папа, не забывайте меня.

И запах бензина, и запах духов — так всегда пахнет в Париже в сумерки, это запах разлук, — смешиваются в одно и остаются в воздухе недолго.

Тягины заперлись у себя в спальне. Любовь Ивановна долго плакала — от счастья, говорила она, и ей самой так казалось. Было, конечно, и счастье, но была и грусть, и горечь разлуки, и беспокойство за седого, старого, молчаливо и печально смотревшего на нее Тягина, и острая боль за сонину судьбу, и еще туманная, но в последнее время неперестающая тревога о Зай.

А Зай с ногами на дашиной постели, обхватив руками острые колени, смотрела на Соню, ходившую перед ней по комнате. Она думала, что есть только две возможности провести этот вечер, такой длинный, только что начавшийся: или попросить Соню уйти, закрыть двери и потушить лампу, лечь носом к стене и думать так, чтобы никто не мешал, думать о Даше, о себе, об этих годах, прожитых вместе, когда она, Зай, превратилась в человека, вспоминать эту жизнь вдвоем, мечтать о лете или об осени. И другая возможность: чтобы Соня села с ней рядом, близко, чтобы чувствовать ее, может быть, обнять ее, и говорить с ней о Даше, о них обеих, о прошлом, о будущем, о счастьи, о жизни. Но это хождение Сони из угла в угол перед ней становилось совершенно нестерпимым. «Или сядь, или уйди», — хотелось ей сказать, но она не посмела.

В комнате был беспорядок, но Зай не видела его; всё это надо будет убрать завтра утром, и тогда же решить вопрос о переезде в эту комнату Сони, чтобы сдать ту комнату во двор, где она жила до сих пор. Об этом уже говорила с ней Любовь Ивановна.

— Соня, ты, может быть, перейдешь жить сюда?

— Нет, не думаю.

— Как же так? Ведь тетя Люба говорила...

— Я не могу жить без собственной комнаты, я уже сказала.

— Но, Соня, меня же целый день теперь не бывает, а вечером — я в театре.

Соня села, наконец, но далеко от Зай, в углу, у окна, на стул, смахнув с него на пол пустую коробку от туфель.

— Жить с тобой в одной комнате? Не знаю... Трудно будет... А впрочем, может быть. А что же у тебя в театре?

Зай всегда смущало, когда другие произносили это слово: было как-то совестно заниматься театром, когда, может быть, полагалось мести улицы.

— Да ведь нет никакого театра! Просто так, опыт один, выдумка одна. Некоторые ужасно серьезно относятся к этому, я, конечно, тоже вначале. Будет генеральная, наконец, на будущей неделе, всё откладывали, костюмы были неготовы, потом что-то сгорело... Мне теперь больше хочется книжками торговать и книжки читать. Сколько времени я потеряла, ничего не читала, ничего не знаю... Если бы не Жан-Ги...

— А уже есть Жан-Ги?

Но Зай не ответила, она почувствовала вдруг, что Жан-Ги это тоже, может быть, уже не то, что было месяц тому назад, когда она ни за что не назвала бы его имени. Самым главным теперь становилось: быть самостоятельной, работать у Б., всё свободное время читать, расти, продолжать идти куда-то. Даша бы сказала наверное: умнеть.

— Послушай, Зай, — сказала вдруг Соня, — зачем тебе книжки читать?

Зай удивленно посмотрела на нее.

— Я глупости говорю. Не слушай меня и читай, что хочешь. Помнишь, как мы с тобой говорили как-то о Даше и я сказала тебе, что нет людей, которые были бы в ладу с миром? Помнишь? Так это я тебе неправду сказала, нарочно, чтобы пошутить, чтобы ты самую жизнь под сомнение взяла. Но это не вышло.

Зай замерла, прижав подбородок к коленям.

— Это я сама всё давно взяла под сомнение: и лад, и мир, и себя самое. Мне обидно — разве ты этого не видишь? —

что у Даши всё так хорошо и гладко выходит. Пусть и у тебя всё будет также. Я тебе тогда налгала на всю вселенную. Ты забудь об этом.

Соня встала и пошла по диагонали прямо к Зай, но было в ее движениях какое-то намерение, какой-то рассчет. Она села рядом с Зай.

— Забудь и радуйся. Радуйся, не думая, не читая книжек, гуляя под ручку с Жан-Ги, играя всякие глупые пьески на потеху чудакам. Ты знаешь, к чему приводит восторженность, игра всяких пьесок, влюбленность и писание стихов? К тому, что у тебя в пятьдесят лет будет звенеть голос, когда ты будешь произносить замысловатые слова и лицо будет выражать постоянный восторг перед всем тем, чего ты не знаешь... И ты будешь в ладу сама с собой, всегда в ладу, как, впрочем, большинство людей, даже не задав себе вопроса: что же такое, собственно, этот мир? И я в нем? Одно ли я с ним? Согласен ли он на меня, такую, какая я есть? Или может быть, только в гибели моей может быть с ним соединение? Потому что он сам идет к гибели. Это я скажу тебе, но ты никому не говори, и Жан-Ги не говори: всё идет к концу, и над миром можно только плакать, как над приговоренным к смерти.

Зай пристально смотрела на Соню: ей было тягостно при мысли, что это тоже — неправда, что через неделю она повторит то, что сказала только что: помнишь, я оплакивала вселенную и требовала, чтобы ты оплакивала ее вместе со мной? Так это я нарочно. Люби ее, она будет всегда с тобой. И вы с ней вместе покоитесь на розах... Зай становилось трудно дышать в сониной близости. «Сядь или уйди. Нет, уйди, уйди от меня!» Но Соня взяла Зай за руку.

— Я перееду в твою комнату, — сказала она и в лице ее мелькнуло что-то нежное, что еще украсило ее. — Мы будем жить с тобой вместе. Жан-Ги, это так, это пройдет. Это всегда проходит. Помнишь Ледда? Помнишь, как у Даши скоро прошло? Мы с тобой будем вместе. Как я люблю, когда ты вот так слушаешь меня, Зай, в лице у тебя столько внимания, столько милой покорности и глаза делаются совсем японскими.

Ты больше любишь, когда говорят «китайскими»? Я буду говорить так. Куда ты уходишь от меня?

Но Зай сползла с дашиной кровати и чувство тяжелой неловкости охватило ее.

— Пожалуйста, Соня, будь так добра, — сказала она, и впервые в жизни почувствовала, как при этом от волнения потеют ее ладони и по спине бежит мороз, — уйди теперь. Мне хочется побыть одной.

Но Соня не двинулась; она раздвинула губы и медленная улыбка остановилась в ее лице. Зай снова села с ней рядом.

— Вот теперь ты гонишь меня, а предлагала жить вместе! — сказала она вдруг весело. «Когда я предлагала? — подумала Зай. — Я только спрашивала». — Ты была дашина, а теперь быть моей не хочешь? Ты вообще, Зай, способна к дружбе? Есть люди, которые совершенно неспособны к ней. Дружба это такая особенная, такая чудная вещь между людьми.

Зай искала, что бы ответить и не находила слов. Она никогда в жизни не чувствовала себя так неловко.

— Мы с Б. дружили в прошлом году, он тебе расскажет. Хорошо это было. Сколько мы гуляли по набережным вместе. Ты любишь гулять, Зай? Ты так много ходила раньше по улицам.

— Я люблю смотреть в окна, — сказала Зай, — на чужих людей. Чтобы их знать и не бояться.

— Что ты говоришь! Зачем тебе чужие люди? Какое тебе дело до них?

— Не знаю, может быть, хотелось узнать их douceur de vivre. По-русски такого выражения нет.

— Douceur de vivre, — повторила Соня, пораженная. — Да еще чужую!

— Нет, не чужую. Она постепенно становилась и моей, как и многое другое.

— Ты меня ужасно удивляешь. Разве есть douceur de vivre сама по себе?

— Конечно, есть. Т а м не было. Очень долго я не знала, что это такое.

— Но позволь, какая же douceur, когда столько страхов на свете, голодные, холодные, отчаявшиеся, убийцы...

— Не знаю. Но она есть.

— Да что с ней делать-то? — вскричала Соня, взволнованно. — Ведь тут один шаг всё до той же мягкой перины, всё до того же сладкого куска!

— Не знаю, — опять повторила Зай, — может быть. Я не так умна, как ты, и не могу объяснить этого, но только узнать, что она есть, большое счастье. И я даже думаю, что и отчаявшиеся, и убийцы любят ее. Потому что без нее люди делаются совсем другими, такими, как т а м : как насекомые или как гвозди.

— Как гвозди? Люди, как гвозди? И слава Богу, если так! — воскликнула опять Соня. — Мыслящий гвоздь — разве это не лучше, чем мыслящий тростник? Да это просто замечательно! Да ведь на мыслящий гвоздь может быть последняя моя надежда!

«А моя последняя надежда, — подумала Зай, — что ты оставишь меня теперь и уйдешь к себе, и я одна останусь здесь и буду думать о том, как они летят теперь над тучами, пьют выжатый апельсин, смотрят на звезды, которых нам не видно, и говорят тихо-тихо о жизни, которая им предстоит. И может быть, она вдруг вспоминает меня, эту комнату, нас всех. И любит еще всё это».

— Слушай, Зай, — заговорила опять Соня, но уже спокойно и даже несколько сухо. — Я чувствую, что тебе больше не хочется, чтобы я оставалась здесь, я уйду. Я чувствую, что я тебе совершенно не нужна, — она секунду ждала, не скажет ли Зай чего-нибудь, но Зай молчала. — Спасибо, что сказала мне откровенно, что у тебя есть какой-то там Жан-Пьер или Жан-Поль. Желаю тебе с ним счастья.

И она поднялась, несколько мгновений растерянно смотрела вокруг себя и видя, что Зай молчит и не двигается, ушла к себе. Было восемь часов вечера.

Слышно было, как Тягин прошел на кухню и поставил на

огонь чайник. Зай уже не хотелось лечь носом к стенке, какая-то безотчетная тревога и беспокойная грусть появились в ней с уходом Сони. Она бесшумно прошла в полуоткрытую дверь комнаты Любовь Ивановны.

Тихо играло радио; Любовь Ивановна лежала на кровати, заплаканная, с разыгравшейся мигренью, в стареньком капоте, как бесформенный кусок чего-то живого. Тягин сидел в своем кресле и курил. Зай села тоже.

В радио музыка прекратилась. Заговорил голос.

— Закрой его! — сказал Тягин.

— Нет, оставь. — Голос продолжал говорить. Зай слушала его и мысли ее унеслись далеко.

Удивительно было то, что сквозь этот аппарат, в определенный момент сотни тысяч людей, а иногда миллионы, слушали в мире одно и то же. Это всегда ее поражало. Сотни тысяч, быть может, слушают сейчас, как она сама, этот голос, рассказывающий незамысловатую историю. Когда играют где нибудь на планете Менухин или Гизекинг, то десятки миллионов делают одно и то же — слушают их в одно и то же время: концерты такие передаются наверное и в Америку, и в Африку, мир слушает вместе, как бы одним ухом, одним слухом. Если будет война, десятки миллионов, сотни, может быть, будут слушать одни и те же телеграммы с театра военных действий. Одно большое, одно громадное ухо мира. Сегодня оно слушает квартет Бетховена, а завтра придет дикарь и отсечет его, нанижет с другими на нитку и повесит ожерельем себе на шею. Будет война и Жан-Ги с чемоданом в руке и рукзаком за спиной обнимет ее и простится с ней, как на картине, на Восточном вокзале, которая когда-то казалась ей такой прекрасной, а теперь она любит завиток и какую-то харю (как выразился однажды Тягин), которая висит у нее над кроватью, и которую нарисовал Володя Смирнов; ему пророчат большое будущее. Он вовсе не хотел нарисовать харю, а просто — абстрактно выявить свое чувство при виде... она забыла чего. Вышла, однако, харя, да еще похожая чем-то на Сиповского.

Голос всё говорит. Он рассказывает удивительную исто-

рию: с месяц тому назад он говорил однажды вечером о старых детских книжках, которые все люди читали и любили в свое время — двадцать, сорок, шестьдесят лет тому назад. Была одна из них, три поколения читали ее, там рассказывалось про двух мальчиков, уплывших на самодельном плоту на Огненную Землю, но вышла ошибка и они оказались в Капштадте. И вот теперь выяснилось, что оба эти героя живы, одному — восемьдесят восемь лет, другому восемьдесят два, и это с них когда-то написана была эта история. Вся жизнь, в общем, похожа на чудную историю. Главное же быть свободной, от всех и от себя самой.

«Я всегда думала. что им скучно вместе, — думала Зай, глядя на отца и мачеху. — Но им совсем не скучно, а, наоборот, очень хорошо вдвоем. Это мне с ними скучно». И она встала, чтобы уйти.

— Я выйду на полчасика.

— Опять — до поздней ночи? — недовольным голосом спросил Тягин.

— Нет, на полчасика всего.

И она оделась и вышла. И первое, что поразило ее, было какое-то новое, весеннее, робкое дуновение, которое полетело навстречу ей, на улице.

Жан-Ги и других она предупредила за несколько дней, что в день свадьбы сестры она придти не сможет. Там ее не ждали, да ей и не хотелось туда сейчас. Она пошла по улицам, мягкий ветер трогал ее лицо. Обойдя решетку маленького сквера, она пустилась по скупо освещенным переулкам, тихим и пустынным. Заложив руки в карманы, она шла, вдыхая глубоко этот первый весенний воздух, обещавший, может быть, еще обманно, но всё-таки весну. Попадались прохожие, на углу оранжевым светом лучилось окно кафе, дальше освещен был какой-то гараж. Большие дома были темны, может быть, в них не жили люди? Это, может быть, были только учреждения, министерства, наглухо закрытые до утра? Она обошла два-три квартала, вернулась к церкви, с двумя высокими, бледными, острыми башнями, уходившими в розовато-серое небо. И идя вновь

вдоль решетки, Зай внезапно увидела лежащую на тротуаре собаку.

Она вздрогнула и остановилась. Неужели она не заметила ее, когда проходила здесь в первый раз? Или ее не было? Собака лежала как-то странно, на боку, немного более, чем следовало, раскорячив ноги; ближний фонарь каплей странного, неживого света отражался в ее большом раскрытом глазу. Это был огромный темнокоричневый волк, с острыми стоячими ушами, которые тоже как-то каменно торчали; под поджарым животом была лужа, хвост был подвернут. Собака была мертва.

Дрожь пробежала по Зай. Эту дрожь она ненавидела. Она побежала вдоль решетки, по направлению к дому. Сдохла она здесь, у сада, или вынес ее кто-нибудь, мертвую, из квартиры, не желая больше заниматься ею? Или ее раздавил автомобиль? И как страшно лежала она, в своей каменной шерсти. И это мог бы быть человек, раздавленный или умерший, или убитый... Это была смерть, в живом мире, в живом городе, и от нее делалось так жутко ночью одной.

Она вошла в квартиру. Хорошо было бы найти в комнате у себя Соню, под лампой, с книгой, в уютном дашином халате, поговорить с ней о том, что аэроплан скоро-скоро начнет уже спускаться из-за туч и видны будут огни незнакомого города... Хорошо было бы найти чье-то живое присутствие в этой комнате, ставшей сегодня такой пустой. Но Сони не было, и неизвестно даже, была ли она дома. Зай выпила чаю в столовой с отцом. Любовь Ивановна так и не встала.

И вот она одна у себя; не хотела ли сегодня вечером Соня заменить ей Дашу, а она отстранила ее? Как случилось, что она отстранила ее? Почему? Что было в ней такого в эти минуты, когда она говорила о дружбе? Она предлагала Зай дружбу, она, гордая, умная, одинокая, особенная, предлагала ей, Зай, трусливой, глупой и легкомысленной, свою дружбу, а Зай хотелось, чтобы она поскорее ушла. Всё, что она говорила, было какое-то не настоящее, мало понятное, такое далекое и, вероятно, мучительное для нее. А главное — вдруг открылось Зай, что это-то и была настоящая Соня, никого не

любящая, предлагающая ей дружбу, называющая Жан-Ги Жан-Пьером, страшно чужая... Зай почувствовала внезапно, что ей не хочется больше думать обо всем этом, так же, как не хочется думать о мертвой собаке, но мысли опять возвращаются к чугунной решетке, бегущей по каменному фундаменту вдоль ночного тротуара. Торчало ухо, каменный хвост между лапами, темное пятно под брюхом на тротуаре.

Она, Соня, не любит Дашу, никогда ее не любила. Она часто смеялась над ней по поводу разных пустяков, а смех у нее невеселый. Как жаль, она такая красивая! И над Зай она тоже смеялась иногда. Сначала было обидно, потом Зай привыкла. Откуда она знает про Ледда? Как всё это странно! Неужели этот волк уже лежал, когда она в первый раз проходила там? Конечно, его не раздавил автомобиль, было бы видно, кровь была бы. Его вынесли мертвого из дому напротив, из одного из тех домов, куда она когда-то заглядывала и где так хорошо жилось счастливым людям. Собака умерла от старости, это был верный пес, но симпатичным людям некогда было хоронить его и вообще возиться с ним. Как всё это странно и грустно, и страшно. Да, опять становится страшно, как когда-то. Не хочу об этом думать.

Она сделала усилие и под ее закрытыми веками, в розоватой мгле, в полусне, наконец, возник Жан-Ги, такой, каким он был вчера вечером, когда она после работы в книжном магазине, где она пока только успела прочесть несколько сот корешков, но еще не прочла ни одной страницы, явилась в Пасси, дернула медную ручку звонка, каких теперь не делают, и он открыл ей. Он был озабочен тем, что линяют костюмы. Это было ужасно! Это было безобразно! Возмутительно! Это было форменное свинство! И если бы только подмышками, но и спина у него была лиловая, и на пояснице была синяя полоса. «Таких теперь не делают!» — сказала Зай тихо, разглядывая колокольчик, еще звеневший над входной дверью. «Нет, не делают, — сказал Жан-Ги сердито, — зато таких, как ты, делают по тысячи штук в день, особенно если стахановцы». Она, как было у них принято, перецеловала всех по очереди и вдруг

вспомнила, что не поцеловала Жан-Ги. Украдкой она взглянула на него: не надулся ли он по этому случаю? Но он не заметил ее невнимания и чуть не плакал над испорченной потом сиреневой своей хламидой, на которой были намалеваны малиновые гербы... О, Боже, лучше бы он надулся! Ну не всё ли равно...

Видимо, молоденький фотограф, отпустивший себе недавно рыжеватую бороду под подбородком, думал, как Зай, потому что он сказал:

— Нельзя же плакать в самом деле из-за такой ерунды!

Жан-Ги сейчас же повысил голос:

— Если ты считаешь это ерундой, то я удивляюсь, зачем ты сюда приходишь? Или надо относиться к этому серьезно, или надо всё бросить.

— Вовсе нет. Но нельзя рыдать над костюмом, как над покойником.

— Для меня костюм дороже покойника. Как смел подлец красить его линючей краской!

— Пойди и проколи его шпагой.

— Дурак!

Зай засмеялась, подошла и погладила Жан-Ги по голове.

— Из мухи — слона, — сказала она.

— Из какого слона? — спросил Жан-Ги подозрительно.

— Из мухи — слона. Так по-русски говорят.

— Ты здесь с французами.

— Я знаю. Но по-русски так говорят. Есть такое выражение: из мухи слона делать, это когда вот так, как ты...

Жан-Ги вдруг рассердился не на шутку:

— Отстань ты от меня со своими русскими слонами. Мы не в зоологическом саду. Что за некультурное отношение к искусству!

Все загремели разом: о чувстве иронии, которого нет, о нервах, которые натянуты, о пользе ссор, о времени, которое уходит. Через пять минут всё было забыто, прощено, «этого подлеца» решено было заставить перекрасить хламиды... Под

конец вечера Зай напомнила, что завтра она придти не может. Жан-Ги опять сделал недовольное лицо.

— Я же предупредила еще во вторник, — робко сказала Зай.

— Тогда вообще я предлагаю всё бросить. Так работать нельзя. — Но она нежно приблизила свое лицо к его лицу и глаза ее, длинные и узкие, заглянули в его глаза. Он засмеялся, притянул ее к себе, и она почувствовала, что в эту минуту всё опять стало по-прежнему.

«Но было мгновение не по-прежнему», — думала она теперь, следя, как под веками, в тумане, который всё смуглел, шел к ней, закинув голову, с растегнутым воротом белой рубашки, блестя зубами, Жан-Ги, — «что-то было не совсем так, как всегда. Мы в первый раз поссорились, или даже не поссорились, но я увидела, какой он может быть, когда сердится. И если он вспылит еще раз, и еще раз, и еще, кто знает, может быть всё будет кончено? Потому что, конечно же, я теперь знаю, что это пройдет, как пройдет театр, как прошли стихи».

Она стала думать о своей новой службе, сна не было и она не тушила свет. Тысячи книжных корешков, беготня по лестнице вниз, в подвал, где два маляра красят полки, наверху — толстая книга, в которую она должна что-то записывать; в кабинете Б. монтеры проводят электричество, ремонт идет. Он решил расширить дело, обновить помещение. Она — во-время попала к нему. Господи, помоги, чтобы всё было хорошо, чтобы меня не прогнали оттуда, чтобы папа и тетя Люба были живы, чтобы я не осталась одна на панели, как собака, чтобы Даша была счастлива и чтобы мы увиделись...

Как собака на панели. Она вдруг вздрогнула и открыла глаза. Пустая кровать у противоположной стены. Она дрожит под одеялом, она опять дрожит. Чего она боится? Здесь тепло, горит свет. Аэроплан приземился в этот час на оранском аэродроме; Тягины за стеной... Чего ей страшно? Что ей собака и что она ей? Откуда это? Из «Гамлета»! Мало ли собак умирает в Париже, мало ли людей. Всех не набоишься. Так по-русски не говорят, а жаль. Мало ли умерших, убитых, пьяных, боль-

ных, бездомных валяется по городам Европы сейчас. Неужели опять начнется этот страх, эта дрожь, как было когда-то, когда она пугалась задевшей ее лицо тени голубя, вспорхнувшего у ее ног, на площади Этуаль? Тени голубя боялась она, и мертвой собаки боится она, и может быть, случись с ней что-нибудь, она опять впадет в это знакомое состояние, когда чувствуешь всю свою жалость, всю свою незащищенность и прозрачность?

Пустая кровать наводила на Зай грусть, и она потушила свет, чтобы ее не видеть. Штору она забыла задернуть, и белый луч близкого уличного фонаря упал в комнату. Она заметила вдруг, что тишина состоит из какого-то шопота: это шел дождь за окном, не шумный зимний дождь, но шепчущий, шелестящий, уже почти весенний. Он шептал, он подсказывал, он говорил что-то, бегая по стеклу окна, вздыхая по карнизам, за одно с ветром. И это звучало шорохом, приглушенным шелестением, как «отченаш» в глубокой ночи, в доме, где все уже спали, и Зай закрылась с головой одеялом, чтобы его не слышать.

Н. Берберова.

(Окончание следует).

ГУРИЛЕВСКИЕ РОМАНСЫ

Ist es möglich, dass es Leute gibt, welche "Gott" sagen und meinen, das wäre etwas Gemeinsames?

R. M. RILKE

Home is where one starts from.
As we grow older, the world becomes stranger.

T. S. ELIOT

I

Одинок стоит домик-крошечка

Грусть названья не имеет.
Грусть как небо бесконечна,
Всё на свете проникая,
Словно влага воздух ночью.

Посмотри перед собою:
С репродукции на стенке
Ботичельева Венера
Смотрит скучно, смотрит зябко
И не хочет восхищаться
Синим морем, синим небом; —
Очень грустно в мир рождаться.

Посмотри в окно: над крышей
Облако плывет и тает,
И для глаза незаметно,
Как в часах движенье стрелки,

Превращается из замка
В стаю белых пеликанов; —
И опять плывет и тает,
С медленной и тихой грустью
Очертанья изменяя.

Через улицу напротив
Старика в окне увидишь:
Он сидит, склонясь, часами
Над какой-то толстой книгой,
А потом часами пишет,
И в лице его — глубины
Смутной грусти постиженья.

Если же, дверною ручкой
Мягко и привычно скрипнув,
Ты войдешь и станешь рядом,
За руки тебя беру я
И смотрю в глаза подолгу: —
Ты в моих глазах не видишь
Тоже грусти — светлой грусти?
Ты ее совсем не бойся;
Это значит вот что, слушай.

Если б можно было вечно
Так, — прильнув к щеке щекою,
Ожидать, когда секунды
Станут на века похожи;
Иль в лицо глядеть, считая,
Сколько за день понабралось
В уголках морщинок новых,
От которых взгляд добрее
И знакомее улыбка;
Иль рассказывать весь вечер
Шутки, сны и небылицы,
Не записанные в книжках, —

Расточать, не собирая,
И читать в зрачках пестристых
Всё что было, всё что будет,
Всё что вовсе невозможно.

А когда иссякнут сказки, —
Выходить из дома слушать,
Слушать, как шумят деревья.

Там осины непременно
Каждым черешком трепещут,
Как в бреду, как в лихорадке;
Сосны же — гудят сурово,
Точно старцы-летописцы,
Плавно, строго и пространно
Повествуя о минувшем;
А березы — словно плачут,
Всхлипывая и стихая,
Безутешно плачут, горько,
Словно мать над гробом сына.

Для меня же нет любимей,
Нет заманчивее шума
Заросли широких, мягких,
Добрых и округлых листьев
Лип — густых, тенистых, свежих.
Этот шум готов я слушать
Целый день и целый вечер:
Там звучит, что называют
Необъятным словом «память»;
Там страницы из романов,
Позабытых, обветшалых,
Без конца и без начала;
Там же — знойное жужжанье
Серых пчел, когда весною
Медом цвет благоухает.

Различаешь ты напевы
Песен, нам известных с детства —
Грустных и простых романсов?

Я люблю одну Россию —
Невозвратно дорогую;
И сейчас, под шорох липы
И жужжанье пчел прилежных
Вдруг и страстно захотелось
Погрустить о ней немного
Светлой, пушкинской печалью. —

О давно поблекшем блеске,
Локонах и бакенбардах,
Кружевах и медальонах;
О каретах, клавесинах,
С колоннадами усадьбах,
Где овальные портреты
Над столом из рам узорных
Смотрят пристально, пытливо,
И никак не разгадаешь,
В них усмешка иль серьезность;
Где в столе, в резной шкатулке,
Сплошь источенной червями —
Связка пожелтелых писем,
Перевязанная лентой
(И округлый женский почерк,
Словно капли слез горючих).

Там, где памяти границы,
Расплывясь, мечты коснулись,
Знаю я одну такую
Позабытую усадьбу.
В каждой комнате там был я,
Пальцем проводил по пыли,

Покрывающей портьеры,
Переплеты книг и спинки
Расшатавшихся диванов.

А когда она входила,
В венских локонах и бантах,
(И Наталью Гончарову
Чем-то мне напоминая),
Я скрывался в темный угол
И следил, как плечи плыли,
Как шуршащие воланы
Задевали за предметы.
Иногда она садилась
К дедовскому клавесину:
Нот раскрытая страница,
Лебединый выгиб кисти,
Приглушённое звучанье.

А когда она вставала
И захлопывала крышку,
Я по вьющимся дорожкам
Уходил в дремучесть сада,
Где — пруды, — и гладь немая
Заросла зеленой ряской,
Где в аллеях даже в солнце
Скорбно, счастливо и сыро,
Где густые липы дремлют
И лучей не пропускают.

Но когда случайный ветер
Пробежит по листьям липы,
С черешков по веткам-сучьям
До ствола волной проникнет, —
Всё, что называют важным,
Сразу позабудь и слушай:

Липы сами всё расскажут,
А тебе лишь остается,
Записную книжку вынув,
Поспевать за их рассказом.

II

Однозвучно гремит колокольчик

Есть на свете домоседы,
Есть на свете жизнь, как спальня:
Фикус, плюшевое кресло,
Пара туфлей под кроватью,
На стене — часы с кукушкой,
Вечером — огонь в камине.

Есть на свете и бродяги,
Есть на свете жизнь-дорога:
В пыльных, стоптанных опорках,
Да с котомкой за плечами; —
И бредешь, куда — не знаешь:
От села до деревушки,
Верстовым столбам кивая;
У лесков, у придорожных,
Заедая земляникой
Пригоршню студеной влаги
Из ключа в сырой ложбинке.
И потом свежей шагаешь
Мимо нив, кустов, оврагов,
Что-то про себя мурлыча
И репейникам головки
На ходу сбивая палкой
Да дорогу уступая,
Коль заслышишь конский топот
И гремящий колокольчик . . .

Тряско в кузове кибитки.
Солнце с ласковой ленцою
Морит, в сон тяжелый клонит,
Теплым потом обливает.
А ямщик затянет песню:

Эй люшеньки лю́ли лю́ли!
Ну, пошли. Чего заснули?
Время быстрое идет,
Нас хозяйка дома ждет.

Хорошо, кто пташек слышит,
У кого есть где-то крыша,
Погреб полный под ногами,
Стол с вином и пирогами
Под иконой расписной.

А покуда — пыль да зной,
Солнце красное высоко,
Рожь да клевер да осока

И проехала кибитка.
То ль за поворотом скрылась,
То ль в клубах исчезла серых.
(Так из памяти с годами
Исчезает лик любимый).

Вспомнил я другие ночи
И поля родные вспомнил,
На давно сухие очи
Набежало — словно искра, —
И внезапно захотелось
По-ребячьи рассмеяться,
По-ребячьи разреветься,
Чтоб раздернулась завеса,
И подробно, больно, ясно,

В дрожи запаха и красок,
Вспомнились места и годы,
Где свое оставил детство.

Ведь утраченного детства
Жальче сбережённых денег,
Позабытых на прилавке;
Жальче золотистой славы,
Улетающей с годами;
Жальче женщины любимой
После слов: «Так будет лучше».
И когда б возможно было,
Детства ты не променял бы
На разбросанную юность,
На растрепанную зрелость,
На заброшенную старость.

Только в детстве мы и жили,
А потом мы ощущали,
Мыслили, имели мненье,
Бились, мучили, страдали
И с другими соглашались.
Только в детстве видел вещи,
Знал, какого вкуса стебли,
Как ольховою корою
Пальцы выпачкаешь красным,
Как ловить налимов в речке,
Как снежок на шее тает.
Что пришло потом — бледнее,
Неприветливей, случайней.
Если ты в горах ребенком,
Как коза, скакал по скалам,
То покажется равнина
Безотрадною и плоской;
Если ты в снегах родился,

Голова кружиться будет
От лучей роскошных юга.

Если ты в плохом родился,
То к хорошему привыкнуть
Очень трудно, очень сложно.
Вот и мне — неловко в жизни,
Потому что в раннем детстве
Мне наверно позабыли
Указать, какою вилкой
Есть омлет, какой — жаркое;
Но на всю я жизнь запомнил
Эхо в комнате у деда
И пчелиные укусы,
Запах конского навоза
И груздей хрустящих стаи,
Жар песка на голом теле
И росистые частушки.

Ведь какие только мысли
Не всплывают по дороге!..

А кибитка едет дальше.
В той кибитке бледный, пыльный
Юноша — черты такие
Каждый видел, вероятно,
На Кипренского портретах.
Кто он и куда он едет?
Неизвестно. Ведь в начале
Девятнадцатого века
Не узнаешь из газеты
Про декабрьское восстанье.
Разве только под дугою
Однозвучный колокольчик
Пробренчит о том невнятно . . .

***

Вы б могли понять, наверно,
Ощущение минуты:
Смесь тревоги с любопытством,
Если в тишине домашней
Вы романс про колокольчик
Напевали потихоньку
(Так всегда среди уюта
Тянет в дальнюю дорогу),
И внезапно перед домом
Настоящий колокольчик.

Прозвенел. Остановился.
Слышен голос: «Барин дома?»
И тогда в окно увидеть
(С той же смесью любопытства
И тревоги непонятной)
Незнакомую коляску.
А потом, спиной к лакею,
Произнесть: «Я принимаю».
И вошедшему в покои
Объявить хозяйски-чинно:
«Мужа нету. Он в отъезде».
А потом добавить просто:
«Я вас знаю. По рассказам».

Вы б могли понять, наверно,
Как заманчиво в гостиной,
Сумерек не замечая,
Слушать, затаив дыханье,
Новый звук рассказов новых
И украдкою из кресла
Подмечать своеобразье
Новых жестов, новых взглядов;

И, боясь еще признаться,
Видеть близость в незнакомом.

(Где я слышал этот голос?
На пирушках «Арзамаса»
Средь мундиров, синих фраков
Ямбами перебивал он
Пунша треск и звон бокалов?
Или в бункере Берлина
Спрашивал меня серьезно:
«Пережить — и что же дальше?»)

«Снег и ветер, снег и ветер.
Снег на шапках, на цилиндрах,
На мундирах, на тулупах.
Петр Великий руку поднял,
Защищаясь от снежинок,
А они танцуют в вихре
И коню щекочут щеки.
Ветер снегу помогает,
Ветер шелестит плащами,
Крутит перья треуголок.
И теперь еще я помню
Только снег и только ветер.
Остальное — как в тумане:
Ожидание без цели
И рылеевские речи;
Милорадович . . . Каховский . .
Никому не нужный выстрел.
А потом — смятенье, залпы.
И на льду, как точки, люди
Мчатся, падают и тонут.
Медный всадник, им вдогонку
Гневно протянувший руку.
Так бездарно получилось .
Дальше всё неинтересно:

Как — допросы, как судили,
Как, прощаясь, надела
Мать на шею мне иконку,
Как бежал, сюда приехал,
Как дорогой пели птицы.

Но одно доныне гложет:
Так бездарно получилось.
Понимаете, как трудно?
Вы б могли понять, наверно»

И свечи заплывший столбик,
И внимательные брови,
И картина в круглой раме
(При свече не видно, что́ там),
И кольцо на пальце бледном.

«Вам понятно?» — Мне понятно.
«Вы согласны?» — Я согласна.

III

На заре туманной юности
Всей душой любил я милую . . .

Часто в жизни, как в романах,
Первый взгляд решает дело.
Если б требовалась схема,
Я б сказал: совсем глубоко
Где-то — может быть, и в сердце —
От внимательного взгляда
Остается след неясный,
Вроде шрама иль укола.
Там-то всё и возникает,
Там растет, пускает корни,

Наливается и зреет.
Наконец, когда созрело,
Очень долго ищет слова.

Сразу слова не подыщешь.
Вот меня ты уверяла,
Будто всё на свете просто.
Если б знала ты, как долго,
С замыслом уже готовым,
Полному и строк и звуков,
Надо мысль, мечту и память
Напрягать до отупенья,
Примерять и сомневаться,
В лупу наблюдать за словом,
Как Адам, искать названья
Для вещей, для безымянных,
И бродить по переулкам,
И не знать, в какую форму
Мне облечь свои страданья.

Вот он на траве пестрящей
Развалился, смотрит в небо.
Вырази единым словом,
Что вокруг него творится —
Точным, звонким, с дрожью словом,
Не каким иным, а этим:
Как голубизна струится,
Как по капле жар крепчает,
Как с пронзительным жужжаньем
Синяя промчится муха,
Как трава в изнеможенье
Поникает или сохнет —
И безвучно просит влаги.
Как опишешь эти злаки,
Этот горький одуванчик,
Эту клейкую смолянку,

Одинокий подорожник?
Шелестят, лучи вбирают,
Распускаются и пахнут;
Между стеблей копошатся
Пауки, жуки, стрекозы,
Муравьи, улитки, пчелы,
Черви, гусеницы, мошки —
Стерегут и убегают,
Ползают, летят, стрекочут,
Роются, сосут и тащат.

Белый мотылек порхает,
Просто так, без всякой цели;
То сверкнет на глади неба,
То на легкий лист присядет,
То опять над ярким лугом
В странном ломаном полете
И как будто насмехаясь
Над симметрией, над смыслом.
Так бы жить: не по кратчайшей,
По прямой, логично, ясно,
Устремленно, со значеньем,
От осины до березы,
За каким-то важным делом,
Уважаемым, солидным, —
А причудливым зигзагом,
Самому себе нежданным.
Знают о такой свободе
Знатоки программ партийных?

Так он думал — беззаботно
И, по существу, неверно.

А быть может, и другое
Ум героя занимало.
Вспоминал, быть может, локон,

Черный локон у хозяйки, —
Тот, что справа, возле уха,
Как завит и чем надушен,
Сколько волосков отстало,
Не желая закруглиться.
Он важнее, этот локон,
Тысячи идей, теорий,
Кризисов и революций.

Так он думал — беззаветно,
Нежно, трепетно, влюбленно,
Но неправильно, конечно.

А возможно, размышлял он
Об изгнанье предстоящем:
Всё, к чему привык, покинуть;
Словно капля океана,
На песке чужом исчезнуть
Очутиться в новом мире,
Где вольнее мыслить можно,
Без угроз и без указок,
И среди чужой свободы
Захиреть и задохнуться,
Словно рыба на поляне.
Такова судьба изгнанья.
Мы — без завязи соцветья,
Мы — безлиственные лозы,
Апатриды, штатенлозы.
В этом мире нет подарков.
Долгожданную свободу
Мы большой ценой купили,
В неизбежную придачу
Получив бесплодье духа.
А на бедном белом свете
Будет всё итти, как прежде:
Вечно кто-то будет править,

Исторически законно
С подданных сдирая шкуру;
Декабристов будут вешать
За прекрасные идеи,
За бездарность воплощенья;
А тоскливых эмигрантов
Будет вечно гнать по свету.
В партиях и комитетах,
У идей, движений, армий,
Примыкая, возглавляя,
Копошась, организуя, —
Будут докучать туземцам
И свою ничтожность тешить.

Так он думал: безысходно,
Гневно — и несправедливо.

Но зачем об этом думать?
Думы редко помогают,
Думы путают, сбивают,
Отвлекают и тревожат.
Главное — совсем не думы,
Главное — вот эти травы,
Знойный воздух и занятья
Неустанных насекомых.

А в руке — письмо-записка.
Даже я совсем не знаю,
Что в ней было, только фразу:
«Завтра я прошу притти Вас . . .»
Удалось заметить бегло.
Дочитать конца не смог я,
Потому что он поднялся
И прислушался с улыбкой:
Из усадьбы доносились
Те же звуки, что в жужжаньи

Пчел, кружащихся у липы,
Мне почудились в начале
Этой путаной поэмы.

Вместе с ним я тоже слушал,
И опять мне было чудно,
Как простые вереницы
Точек-звуков вырастают
Во всезначные напевы;
Расходясь и сочетаясь,
Строят храмы и палаццо,
Где ты в этой жизни не был,
Но которые ты помнишь,
О которых смутно знаешь,
Как о родине забытой.

В этих звучных сочетаньях
Я когда-то жил монахом
В дремлющей и древней Сьене,
Кистью набожной стараясь
Всю свою любовь и веру
Воплотить в глазах раскосых
Нежной праздничной мадонны
В золоте небес нарядных.
А потом, с народом вместе,
В строгом сумрачном соборе,
В унисон с органом пел я:
O Maria benedetta!

Или плутоватой даме
В парке шелковую руку
Целовал с учтивой страстью.
Там, среди нескромных статуй
И задумчивых деревьев,
С менуэтным легким жестом
Я шептал ей: O Madame,

Наш корабль готов к отплытью
На прекрасную Цитеру!

Или в Гунтеровой свите
Был оруженосцем верным;
И в лесу под Оденвальдом,
Увидав, как мрачный Хаген
Целит в крест, на яркой ткани
Вышитый рукой Кримхильды,
Я воскликнул: Зигфрид смелый,
Обернись, забудь о жажде!
Но уж поздно. Кровь героя
Хлещет пламенным потоком.

Сколько родин ты находишь
В темных памяти глубинах,
Где извилистые тропы
Проходимы лишь для звуков...
Знал ли родину Бетховен?
Если да, то укажите
Ту звезду иль ту планету
На звучащем небосводе.
Сколько их в пространстве черном
Светлых, искрящихся точек!
Если б телескоп побольше,
Я б свою узнал планету.
Там сидит моя богиня —
Неудачников, ленивцев
И не во время рожденных.
Там наверно нет бараков,
Нет гудков автомобильных,
Нет калорий, конференций,
Нет бензина, патефона, —
Нет благих завоеваний
Просвещенного столетья,
Где политика с наукой

Из людей насоздавали
Злых и пошлых автоматов,
Где поэты в умных строках
Душу рвут тебе на части,
Где в скульптурах и картинах
Сбились плоскости предметов,
Мир сместился, словно души
Разлагаются, как атом.

Очень мало в жизни солнца,
Очень мало в жизни света,
И поэтому понятно,
Как цепляешься за что-то,
Если только удается
Отыскать крупицу света —
В сочетанье слов, в веснушке
На носу моей любимой
Или, наконец, в прошедшем,
В старом выцветшем романсе,
В зайчике того, что было
И уже не повторится.

IV

Отгадай, моя родная,
Отчего я так грустна

В этой комнате — на стенках
Светотени от лампадки,
И в окно стучатся липы.
Стулья, важно подбоченясь,
Темнотою недовольны.
Свечку только-что задули,
И она, ко сну готовясь,
Остывает и твердеет.
И роман французский дремлет;

В нем сафьянная закладка,
У очередной страницы
На ночлег остановившись,
Тихо с буквами болтает.
Только зеркало ни разу
Ночью глаз сомкнуть не сможет,
Отражая терпеливо
Каждый угол, каждый лучик.

На столе скучают перья
И молчат всю ночь шкатулки.
В тех шкатулках много писем —
Тихих, теплых, строгих, светлых.

Я б хотел начать поэму
О столе из этой спальни:
Что он думает, какие
У него друзья и сколько
Разных трещин и царапин
На его дубовой ножке.
И о трещинах — подробно;
Об одной, о самой главной,
Что прилежной тонкой змейкой
Вдоль сухих волокон вьется,
Как река на пестрой карте.

А под тонким одеялом
Тело как бы потерялось,
Лишь лицо, уставясь в угол,
Смотрит остро, напряженно
На икону золотую
С потемневшим ликом Девы.

У стола — дорожки трещин,
У людей — морщинок сетки.
Лица без морщин — чужие,

Словно чистый лист бумаги,
Словно вещь из магазина.

У нее на лбу морщину
Первого большого горя
Смерть отца напечатлела.
После первой ночи с мужем
В уголке виска, у глаза,
Появилася морщинка
Страха, разочарованья.
А сегодня проложились
Неожиданно две новых:
Там, куда хотели брови
Уголком тупым сомкнуться;
И у губ — едва заметно.
Завтра, после пробужденья,
Этих двух морщин не будет,
А покуда в них — страданье,
Просьба страстная, молитва.
За окном стучатся липы,
И минутная морщинка
Меж бровей ширококрылых
Углубляется, длиннеет.
Не жандармы ль? не за ним ли?
Но в саду черно и глухо.
Это ветер, ночь и думы
Страхи праздные рождают.

А в углу, из-за лампадки,
Два больших и светлых глаза
Смотрят ласково и скорбно
На подушку, где молитва
Из беззвучных уст струится:

— Благодатная Мария,
Любящих приют надежный

Утешительница павших,
И отчаявшихся пристань,
Ты всё видишь, Ты всё знаешь,
Ты плохого мне не хочешь.
Ниспошли . . . ему спасенье,
Дай спокойных сновидений.
Богородица Святая,
Поучительница темных
И не знающих дороги,
Если должно совершиться
То, что я готова сделать,
Дай мне знак простой и внятный.

Но в малиновой лампадке
Огонек не колебался,
И глаза смотрели кротко —
Так спокойно, так печально,
Словно скорбь в себя вобрали
Всех людей и всех столетий.

— Ты, наверное, не хочешь,
Чтобы я его любила.
У тебя в глазах — равнина,
У него в глазах — большое
И пылающее солнце.
От лампадки свет внезапно
Залил комнату, как снегом . .
У Сената в день восстанья . . .
Снегом . . . с негой . . . с поцелуем . . .
Богородица не хочет,
Смотрят грозно, без привета.
Я не буду, я не буду.
От меня Она уходит!
Сквозь окно и через липы .
Я бегу за Нею следом
С криком: Матушка-голубка,

Солнышко мое, постой же!
И она остановилась,
И сказала: Спи, родная.
Я заснула. Я заснула.
Я всё сделаю, как хочешь.
Язаснулаязаснула.
И спросить и он ответит
Ты не знаешь? Я не знаю
Ты не помнишь? Я не помню.

Хорошо не знать, не помнить.
Я вот знаю, сколько футов
Составляет ярд английский
И в каком году родился
Вольфганг Амадеус Моцарт;
Знаю всякое — и что же?
Мне от этого не лучше,
Мне от этого не легче.

Ведь совсем еще недавно
Люди к небу порывались,
И романтики учили,
Что в другом каком-то мире
Всё не так, всё по-иному.
Но столетье пролетело
И следов иного мира
Не могу я обнаружить,
Оглушенный шумом-звоном
Переполненных трамваев
И истошных заголовков
Да синкоп безумной скачкой
По заезженным дорогам
Засоренного эфира;
И лети хотя б в ракете,
Не найдешь иного мира.

Все Америки открыты,
Белых мест на карте нету.

Только изредка, случайно,
Перед сном, когда не слышат,
С головой под одеялом, —
Бесполезно строишь планы:
Как бы написать поэму
Обо всем, что есть на свете;
Где б герои появлялись
Только в легких очертаньях;
Всё пунктиром, всё непрямо,
Только слабые намеки
Расплывающихся красок,
Только контур от сюжета,
Только аромат от темы.

А за этим — словно отзвук
Колыбельного напева,
Музыкой темно-зеленой
В дрему тихо увлекая:
Листья липы, листья липы .

V

И в светлицу до рассвета
Воротилась, только где-то
Разорвала я шутя
Сарафанчик, растеганчик,
Сарафанчик . . .

На свиданьях (всех на свете) —
Взгляды, речи, прикасанья.
Взгляды гладят, льнут и молят,
Говорят или скрывают.
Речи взглядам помогают —

То легко, то запинаясь;
Пылко ли: «Меня влечет к вам,
Как рокочущее море
К берегу в часы прилива!»
Или робко: «Я хотела
Вам сказать . . . Нет, я забыла . . .»
Прикасанья ж выражают
Всё, чего не могут взгляды,
Всё, чего не могут речи.

Это после, а вначале
Сырость, дрожь и ожиданье.

И у нас в саду сегодня
Те же взгляды, те же речи,
И знакомый голос шепчет:

Она: Мой хороший, милый мальчик,
Ты мой светлый, мой любимый.
Хорошо, что ты признался.

Он: Я тебя нашёл сегодня.
Я тебя не потеряю.
Мы отныне нераздельны:
Нет меня, и ты исчезла,
Что-то общее, родное,
Навсегда, совсем, навеки,
Нет конца и края нету,
На твоих ресницах — вечность,
Жизни смысл — на лбу в морщинке,
И вселенная сгорела,
Наших щек коснувшись только.

Она: Как ты говоришь красиво.
Как тебя приятно слушать.
Только вот что: поздно, милый.

Я пойду.
Прости.
Пусти же.

Он: Что такое ты сказала?
Я не слышал и не понял.

Она: Ты понять меня попробуй,
Дорогой мой, сумасбродный.
Нам нельзя соединяться. —
Жизнь у нас не состоялась.

Он: Жизнь у нас теперь начнется.
Это будет так, ты слушай:
Мы одни с тобою будем,
Никого не будет рядом,
И моя рука с твоею
Расставаться будет только
Для того, чтобы коснуться
Плеч твоих, волос иль шеи.
Будем жить, любить, работать
И читать друг другу строки
Из любимых, из поэтов.
И в лесу гулять под вечер:
Чтобы шишки под ногами,
Чтобы воздух — чистый-чистый,
Чтоб легко, чтоб паутина
Неожиданно в лицо бы.
А когда стемнеет, дома
Ты играть и петь мне будешь
Гурилёвские романсы.

Она: Это было бы возможно
Через двести лет иль больше.
Да и то навряд ли . . . Милый,
В двадцать лет все губы алы
И все девушки красивы.

Ты еще не отличаешь
Страсть из сердца и из книги.

Он: Понимаю . . . Ты не веришь,
Что мечта осуществится.
Ты права. Нам невозможно
Здесь, теперь соединиться.
Ты должна бежать со мною.

Она: Если даже убежим мы . . .
Рай всегда бывает краток.
Ты со мной не будешь счастлив,
Или будешь — но недолго.
А потом — подумай, милый, —
Ты любить меня не будешь.
Что тогда я стану делать?
Ты представь хоть на минуту:
Может, лучше-то не будет?
Может, будет только хуже?

Он: Я тебя не понимаю.
Ведь тому назад минуту
Ты была совсем другая:
Мы щеки щекой касались,
Мы огонь губами пили.
Разве можно нам расстаться,
Если тянет . . . если сильно

Она: Нужно только удержаться.
Это трудно, но несложно.

Он: Я тебя не понимаю.

Она: Мы других не понимаем,

Нас никто не понимает. —
Все мы очень одиноки.

И пошла дорожкой к дому.
Ночь была совсем такая,
Как бывает на свиданьях.
Лунный свет блестел повсюду,
Там, где надо — серебрился,
Там, где надо — в тень скрывался.
Даже соловей, наверно,
Засвистел, запел, защелкал.
Может быть, цвели жасмины.
Я не знаю, я не видел.
Я стоял и только слушал,
Как шумят листвою лишы,
А потом бродил по саду,
Временами повторяя:

Все мы очень одиноки.

VI

Вьется ласточка сизокрылая . .

Осень. Мокрые скамейки
И шуршанье под ногами.

Я на время отлучался
И нашел по возвращеньи:
Всё — другое, всё — иначе.
Так всегда, у всех и всюду.
Лет тому назад с десяток
Я хотел быть баритоном:
Чтобы сотни бедных женщин
В вожделении смотрели,
Как я выйду на эстраду,

Как стальною диафрагмой,
Выжму ля бемоль с надрывом
И с поклоном благосклонным
Буду ждать рукоплесканий,
Истеричных криков «браво»
И с записками букетов.

А теперь — совсем иное:
Я б хотел быть фармацевтом.
И тогда, в тиши аптечной,
Изобрел бы я таблетку,
Чтобы у моей любимой
Голова бы не болела.
В наше время (странно ль это?)
Голова болит так часто;
Трудно многое постигнуть,
А принять еще труднее,
Скрыться ж вовсе невозможно:

Ведь в саду моей поэмы
Сыро, мозгло, неуютно.
Пахнут осенью осины,
Пахнут бренностью березы;
Опадая, листья липы
Прилипают друг ко другу
И лежат бесплодной коркой,
Для чего-то прикрывая
Замерзающую землю.

А в усадьбе стынут стекла
И шаги ступают тише.
Там в окне, чужой и строгий,
Чей-то профиль с бакенбардой.
Декабриста больше нету,
Что с ним — тоже неизвестно.
И она — в лиловом платье,
Прислонясь к колонне белой —

Смотрит, как редеют листья,
Как готовятся деревья
Встретить голыми ветвями
Белый и хрустящий холод.
Платья воротник высокий
Шею скрыл до подбородка,
И на лбу легла вторая,
Новая уже морщина.
Каждый жест, наклон и ракурс
Чёткой линией намечен,
Словно это всё — рисунок,
Словно это бархат платья —
Не взаправду, а пастелью

Так картинкою на стенку,
Предо мной моя Россия.
Той России больше нету,
Той России я не видел.
Почему ж я точно знаю,
Сколько в этом доме комнат
И которые ступеньки
Под ногой поют протяжно?
Иль с рожденьем мы теряем
Что-то очень дорогое
И к нему потом стремимся?

Говорят, что у России
Флаг был белый-синий-красный:
Красный, словно сарафаны,
Синий, как на ниве точки
Васильков, сухих и скучных,
Белый, как поля зимою

Очень белой и веселой,
Ноздри щиплющей зимою
Я когда-то где-то видел

Девушку в берете красном
С синей розою в петлице.
Имени я не запомнил:
Не была ли то Россия?..

Мы придумали Россию:
Я придумал, ты придумал,
Он, она, оно — так надо.
Но России нет на свете.
Может быть, была — не знаю;
К сожаленью, я там не был.
Тра-та-там, тра-та-там,
К сожаленью, не был там.

Для меня она — поэма,
Грусть диагональных струек,
Рваных, — на стекле вагона,
Если за окном потемки,
Дождь и дождь и дождь и дождь и

Где тот дом теперь и что в нем?
Канцелярия совхоза
Иль районная больница?
Это всё не так уж важно,
И не в этом вовсе дело.
Лип и клавесин подобных,
Чувств таких, переживаний
Ричардсону бы хватило
Толстых на десять романов.
Мне же это — вздох случайный —
Так, вздремнулось ненароком.

Вот и кончилась поэма.

Впрочем, я забыл о главном.
Не исключена возможность,
Что потомки откопают
Рукопись моей поэмы.

На такой прискорбный случай
Нужно сочинить заране
К ним прямое обращенье,
Пальцем указав на темы,
На идеи основные,
И попутно объясняя,
Что к чему и что же автор,
Собственно, сказать желает.

Вы, не знающие больше
Войн, арестов, эмиграций,
Лагерей, бомбардировок,
Голодовок, унижений, —
Вам наверно будет странно,
Почему в такое время,
Где вопросов неотложных,
Словно комаров в болоте,
Где проблем насущных, важных,
Как в харкотине бактерий,
И когда поэт обязан
Всё понять и разобраться,
Указать собратьям выход —
Почему в такое время
Выводить опять на сцену,
Что другие описали
И нераз и много лучше, —
Да к тому же без сюжета,
Нету знания эпохи,
Даже просто рифмы нету?

Почему? Ответить трудно.
Почему ходил философ
С фонарем при свете солнца?

Только вы меня поймете,
Персонажи из поэмы,

Вы, — картонные фигурки,
Что вырезывал я в детстве
И потом играл часами —
На полу, в саду, на печке .

О, фигурки из бумаги,
Как уйти к вам? За окошком
Липы не шумят. Их нету.
За окном — дома и полночь;
И дома — совсем чужие.
В них пуховики и трубки,
Пфенниги, тупые ахи
И захлопнутые двери
Перед бледным оборванцем,
Возвратившимся из плена.

Я готов. Рюкзак в порядке.
Обувь выдержит с неделю.
Шарф свой затяну потуже
(Иль совсем не надо шарфа)
Вот уж позади остались
Шум шагов по тротуару
И бессонница унылых
Фонарей на перекрестках.
Как нога ступает мягко
По земле, родной опоре! —
И приветствует знакомых:
Камни, рытвины и лужи!
Скоро будут и мозоли,
Компаньоны дальних странствий.
Никогда не знал, что ночью
Так тепло и так просторно.

Только в поле есть дорога.
Только ночью светят звезды.

Германия. **В. Марков.** 1948,

МАГНИТ

ИЗ КНИГИ «ПОДСТРИЖЕННЫМИ ГЛАЗАМИ»

А еще не рассказал я вам о моих детских пристрастиях и как попал мне в руки этот исторический магнит. Это в первый мой гимназический год (1884-1885).

Я был самый младший не только в приготовительном классе, а и во всей Московской IV-ой гимназии. Мне было семь лет.

В ту пору в гимназии чаще всего поминалось имя: «Алексей Александрович Шахматов». Год, как окончил он IV-ую гимназию и еще гимназистом-восьмиклассником прогремел на всю ученую Москву: на защите магистерской диссертации Алексея Иваныча Соболевского, «Исследование в области русской грамматики» (1882 г.) выступил оппонентом вслед за Тихонравовым, Фортунатовым и Дювернуа; возражения его были так убедительны, Ягич напечатал их в своем Архиве (Beiträge zur Russischen Grammatik. B. VII)

А я, безымянный, из всех гимназистов обращал на себя внимание и был на виду. Почему-то дался всем мой нос — «нос — чайником», как потом метко назовет Кодрянская. Меня не дразнили, и только почему-то всем хотелось непременно потрогать меня за нос.

Я не отбрыкивался: я не чувствовал грубости, со мной обращались очень ласково. Конечно, пальцы всякие, но не щипцы же, а хотя бы и щипцы: щипцами сахар берут.

Так жил я защипанный и заласканный. Если бы кто обидел меня, что и допустить трудно, вся гимназия заступилась бы, я уверен.

**
*

В классе я мог бы занять место на первой скамейке с первыми учениками, прилежными и тихими. А я выбрал к стенке — последнюю скамейку, где по обычаю рассаживались второгодники и самые озорные и «отпетые», последние ученики. Среди них я сразу почувствовал, что я на своем месте, хотя сам я не задирал и не лез в драку, а ответы мои с места всегда без подсказа, будто с первой скамейки сказано. А что нынче летом я написал рассказ — мой первый путаный рассказ «Убийца» — для всех было тайной.

По моему малолетству учителя меня не тормошили, спрашивали бережно, ученической лихорадки я не испытывал, да не в чем было и «ловить» меня и не на чем «сбивать» — любимая удочка учителей, всё равно, не по рыбе: всё мне давалось легко, и, головоломное для других, ничего мудреного.

У меня много было незанятого времени вне задач, диктанта и уроков — и с первых же гимназических дней я начинаю никому незаметную мою затаенную жизнь.

**
*

Я, как помню себя, вспоминаю — оно не покинуло меня и до сих пор — живое трепетное, вдруг охватывающее чувство моей «отверженности», и что я один. И в такой кручинный час я особенно вглядывался, и слушаю, проникая за доступные слуху звуки.

На уроках чистописания с первого взгляда привлекли меня столбики мела, разложенные у доски: они глядели на меня как-то странно — как на знакомого, забыл фамилию — я различал их синие жилки изнутри вверх до голубых дымящихся усиков. Сначала я только всматривался, как шевелятся-дышут, и тоже что-то припоминая; потом тихонько потрогал, а потом — откусил. И мне очень понравилось. И уж никакого завтрака уминать в ранце не надо: на большой перемене бу-

дет мне не «журавлиная» чайная колбаса с нашего гастрономического и бакалейного Камушка, а чистый природный мел.

Мел никакого запаха. А ведь даже снег, как мел, а каким от него морозом! И эта свежесть снежного дыхания особенно приятна: снег я всегда ем, собирая пальцем с низких карнизов по дороге в гимназию.

«А что если с мелом соединить запах «снимки»?

Эта мысль пришла мне на уроке рисования, когда я оттушевывал геометрическую фигуру, моего, как теперь понимаю, «четвертого измерения».

«Снимка» вбирает в рисунке с оттушовки пучковые точки. Я был убежден, что всё дело в ее необыкновенном «чувствительном» запахе. Растянув, сжимаю «снимку», пока не взблеснет на ее скипидарном брюшке пузырек и с треском лопнет. А как приятно пахло: это было что-то смоляное, дышать легко.

Пальцами в «снимке» отламывал я мел. И такой хвойный мел по вкусу только и сравнить можно с любимым яблочным «воздушным пирогом» или с заплесневелым черным «солдатским» хлебом.

«Снимка» и мел не выходили у меня из рук. Но мне и еще чего-то хотелось. Как человек невольно потянется прикоснуться, желая другого, так я прислушивался. В шорохе я различал шопот, в шопотах шепотинку. Мне нужна была музыка.

В перышки я не играл: пером опрокинуть на спину другое перо — хитрость не велика. Легкое меня никогда не притягивало: что можно сразу, мне бывало скучно. Должно быть, я любил работу. Но звон перьев мне понравился. И укрепив на парте, я чуть касался пальцем острия — и перышки играли. Я мог весь час, никого не замечая, слушать стальную музыку, этот просеребреный «голубой скорлат». А учитель с глушинкой не замечал.

Как полна была моя жизнь. Глаза, уши, нос, язык — всё насыщено: бело-голубое — мел и рябиново-зеленое — «снимка» колыбалось сетью серебряных нитей — перышки.

**
*

На большой перемене, насытившись мелом и надышавшись «снимкой», я завел мою перегудную музыку. Но не успел я развесить уши, как сосед мой, Павлушка Воскресенский — «Пугало», не касаясь лапой, а только слегка проведя, поднял мои музыкальные перышки на воздух. Я его за руку — пальцы у меня крепкие — и вижу: в его мягких пальцах подкова, а на подкове бессильно повисли мои перышки.

Это была красная подкова, но без шипов — «не лошадиная, почему-то подумалось, а верно лошака». Но какая разница лошачьей от лошадиной я не знал, как не догадывался откуда в подкове такая притягательная сила?

Павлушка открыл мне секрет подковы. «И вовсе не лошачья, — сказал он, — а магнит».

И тут же на железках мне была показана сила и власть магнита.

«Магнит жрет железо». Вот что я узнал от Павлушки, но почему «жрет», он ничего не мог ответить, кроме безответного, а возможно и самого точного: «так». Ведь и любят не почему, а так.

На завтрак нас сгоняли в раздевальню под шинели. Перемена кончилась, возвращались в класс.

И всех занял Павлушкин магнит: смотреть, как «магнит жрет железо». Только о магните и крику.

Как мне захотелось: если б у меня был свой магнит.

«Меня «Козел» оставил на час после уроков («Козел» учитель арифметики), не уходи — сказал Павлушка, — будет у тебя магнит».

**
*

В классе на стене за нашей спиной шкапчик. В этот шкапчик прятался после уроков классный журнал и чернила и всё, что отбиралось от учеников постороннее — целое собрание игрушек за много лет. Хранился в шкапчике и магнит, отобранный десять лет тому назад у Шахматова.

Павлушка — глаза в льняной сетке, а глазастый, давно выглядел в шкапике магнит: красная подкова между желтой обезьянкой и лиловым слоном. Этот шахматов магнит предназначался мне.

«Чудо природы», под таким названием жил в памяти Московской IV-ой гимназии Шахматов. Все мы знали от восьмого до приготовительного: золотыми буквами с черной доски в золотой, золотыми лаврами украшенной раме, смотрит на нас всякий день это имя. Но ни я, ни Павлушка, ничего не знали, почему Шахматов стал вдруг Шахматовым — «чудо природы», не знали и самое главное, что магнит между обезьянкой и слоном — «исторический».

***

Павлушку, действительно, в тот день «Козел» оставил на час после уроков — обычное для Павлушки наказание. Я спрятался под парту. А когда раздевальня обнажила свои ребра-вешалки, а классные распахнутые окна занялись проветриванием, и во всей гимназии из начальства один только дежурный надзиратель «Филин», перебирая «штрафные» бальники, скучал в учительской, я вылез из своей засады.

Павлушка, не замечая меня, о чем-то думал, — точно решает «в уме» сложную задачу на цепное правило, — льняная голова его торчала соломенным пугалом. Вдруг появился Санька Кивокурцев.

Санька товарищ Павлушки, первоклассник — «живущий», его часто оставляли «без обеда». И весь обеденный час, голодный, он шлялся шакалом по классам, где отсиживались такие же, как Павлушка.

Весь на косточках, просвечивая зоркими пилками, Санька проворно высмотрел и вынюхал пустые парты и с жадным «полубатоном» подсел к Павлушке. И глотками, как птица принялся за коврижку.

От Павлушки я узнал, что Санька жрет живых лягушек. Летом они ходят за лягушками в Косино: там, где больше богомольцев, у самого святого колодца зеленые гнезда. Но что

в одиночку воруют только «воришки», а у них «шайка» и я должен поступить в их «шайку».

«У тебя, я это сразу заметил, разбойничьи глаза, — сказал Павлушка, — тебя можно принять без испытания железом».

«И огнем!» — одобрил Санька.

«Шайка» состояла из Павлушки и Саньки, я был третий. Мое имя никогда не уменьшалось, и в «шайке» я остался — «Алексей».

Кривыми гвоздиками и «плоскогубцами» — в первый раз я услышал это название и на всю жизнь поверил — шкапчик был «очень просто» открыт, как потом «шито-крыто» закроется.

Я был меньше Павлушки и меньше костяного Саньки, достать мне до шкапчика нечего и думать, разве что на ходулях.

На закорках у Павлушки, как на ходулях, носом в шкапчик — я протянул руку. И, к моему смущению, в моих «разбойничьих» глазах лиловый слон задавил желтую обезьянку — ничего не вижу. Но тут мои глазастые пальцы, юля, притянули к себе магнит и красная подковка в моих руках. Ее я сейчас же сунул к себе в карман, чтобы потом заняться дома на свободе.

И как-ни-в-чем-не бывало, я сел на свое место ждать дежурного надзирателя: «Филин» отпустит домой наказанного Павлушку и меня за одно.

Коротая наказательный час, Павлушка и Санька посвятили меня в тайну нашей «шайки», где всё должно делаться «за одно», без всякого принуждения и попреков — ни в чем друг друга не укорять и не дразнить.

Павлушка Воскресенский, сын запойного дьякона от Ильи Пророка, обещался под клятвой «провалиться мне на месяце», что выплюнет причастье и зашьет себе в рукав.

Санька Кивокурцев, сын известного на Воронцовом поле доктора по детским болезням, обещался — «провалиться мне на месяце!» — достать у отца яды, не спутает: «яды узнаются на язык: сладкий, а щиплет».

Моя очередь: за клятвой «провалиться мне на месяце»

моим обещанием будет то самое исшедшее из горечи, что заполняло мою душу, и моя вера в непобедимое могущество магнита.

Летом погиб Егорка, фабричный мальчик, единственный мой товарищ, кому открыто было тайное зрение моих, пускай «разбойничьих», но по-человечески смотревших «подстриженных» глаз, единственный, кто верил всем сказкам — моему непохожему миру моей сказочной были. Гордого презрительного «не понимаю» и на самые запутанные неправдоподобные мои рассказы я от него никогда не слышал. На моих глазах Егорка попал в маховое колесо и, подхваченный под потолок, был сплющен и задохся.

«Этим магнитом, — сказал я и потрогал не вынимая из кармана, — я доберусь, я притяну к себе маховое колесо и пущу в работу все, какие есть, станки, как я хочу и задумаю. Этим магнитом... я буду сам, как маховое колесо, вся Москва застучит и — стоп!».

«Филин» во время остановил маховой пыл. Час наказания прошел: «ступайте по домам», и кончился его скучающий час.

«Филин» — торопился, ему было не до меня и он не спросил: как это я, безнаказанный, а попал среди наказанных.

**

С первого урока стоял крик.

Раззадоренные павлушкиным магнитом, все чувствовали себя притянутыми этим магнитом и беспомощно болтались на нем, как мои перышки. Уроков никто не приготовил и ранцы не выпотрошены.

Говорилось самое несообразное, всё было в моем духе: магнит, нажравшись железа, превратился в волшебный алатырь-камень и засверкала сказочная магнитная гора: сучи рукава, полезай на небо — всё можно!

Учитель Иван Иваныч Виноградов, он же и классный наставник, затеял вместо урока разъяснить естественные свойства магнита и таким образом рассеять басни, забившие «пустую голову», как он выражался, приготовишек.

Иван Иваныч не мог бы припомнить, когда и у кого он отобрал слона и обезьянку, но он твердо знает, что магнит Шахматова — «чуда-природы» — реликвия!

Еще вчера, после уроков пряча в шкапчик классный журнал и чернила, он видел «собственными глазами» между обезьянкой и слоном «исторический» магнит, и почтительно ему улыбнулся и мысленно пожурил детские проказы великого человека, не оставшиеся безнаказно, как и следовало с педагогической точки зрения. Он перерыл весь шкапчик, — да, там была настоящая игрушечная лавка, всё, что хотите, всё, о чем мечтает еще не забитая уроками «пустая», а значит «свежая» голова живого человека. Но только никакого магнита среди игрушек не попадалось.

Искомый магнит лежал у меня в кармане.

Вгорячах подозрение пало на весь класс, не исключая первых учеников и самых прилежных и тихих-забитых: «магнит исчез!».

После уроков весь класс был задержан. Допрашивал инспектор, пугая директором — директор Московской IV-ой гимназии Новоселов, на которого даже смотреть не смели. Потом всех обыскали.

Магнит не нашли.

А у Кутузова — первый ученик — отобрали:

«Заряженный отравленными пулями настоящий семиствольный револьвер и подержанную сумку с бездымными патронами».

Всё это я узнал потом уж от Павлушки: ведь меня не только не обыскивали и не допрашивали, меня даже не задержали после уроков. И я унес с собой магнит, как свое и всегда мое.

И, помню, меня нисколько не удивило, что только одного меня так легко отпустили. Да и иначе и не могло быть: всем существом, от корней моего сердца, я чувствовал мое право на этот магнит, и сила этого моего неписанного исподнего права, нарушающего самый дух и смысл видимого всем «законного» права, моя непоколебимая убежденность и отвела от меня подозрение.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Механика давно отошла от меня. Живет лишь в памяти и не гаснет в глазах блестящей машиной, и пахнет маслом. Магнит отшвырнул бы меня, так всё существо мое перевернулось. О маховом колесе я не мечтаю.

«Но душа человека?».

«Душа человека потемки. И где и как найти в ней железо, чтоб коснувшись, притянуть к себе нераздельно?».

И я задумался.

Ну, буду говорить проще, без залетов — не мне притягивать к себе человеческие души.

Спрашиваю себя: что это? магнит, отобранный однажды у Шахматова, переходит ко мне через «безнаказанное преступление», скажут судьи?

Вы правы, но я не чувствую себя преступником, да ведь меня ни в чем и не обвиняли, и потому так прямо спрашиваю: что означает этот «законно» перешедший мне от Шахматова: магнит?

Шахматов всю свою жизнь притягивал слова и, размещая рядами, искал закон сочетания речевых звуков. Я всю мою жизнь притягиваю слова, чтобы на свой лад строить звучащие, воздушные, с бьющимся живым сердцем, мои словесные уклады.

Сила Грамматика и сила Музыканта таятся в этой красной подкове, неподъемной ни лошади, ни лошаку.

А душа человека? До конца? И разве я могу похвалиться, что в моей жизни я притянул к себе человеческую душу и выразил во всех ее звучащих переменах?

Разделение между людьми, человека от человека, непобедимо и никаким магнитом не возьмешь — и моя мечта забава.

Но моя живучая непокорность?

И пусть судьба отнимет мое сердце и ум, пусть что ни делает со мной, а я ей в том не молчу.

И вот это — черным заволакивающее мне душу, оно всегда со мной.

Алексей Ремизов.

СТИХИ 1950 ГОДА

I

В Петербурге мы сойдемся снова
Словно солнце мы похоронили в нем.
О. Мандельштам.

Четверть века прошло заграницей
И надеяться стало смешным.
Лучезарное небо над Ниццей
Навсегда стало небом родным.

Тишина благодатного юга,
Шорох волн, золотое вино...
Но поет петербургская вьюга
В занесенное снегом окно,
Что пророчество мертвого друга
Обязательно сбыться должно.

II

Я хотел бы улыбнуться,
Отдохнуть, домой вернуться...
Я хотел бы так немного,
То, что есть почти у всех,
То, что мне просить у Бога
И бессмыслица и грех.

III

Мы не молоды. Но и не стары.
Мы не мертвые. И не живые.

Вот мы слушаем рокот гитары
И романса «слова роковые».

О беспамятном счастье цыганском,
О угарной любви и разлуке,
И — как вызов — стаканы с шампанским
Подымают дрожащие руки.

За бессмыслицу! За неудачи!
За потерю всего дорогого!
И за то, что могло быть иначе,
И за то — что не будет другого!

IV

Я не знал никогда ни любви, ни участья.
Объясни — что такое хваленое счастье,
О котором поэты толкуют века?
Постараюсь, хотя это здорово трудно:
Как слепому расскажешь о цвете цветка,
Что в нем ало, что розово, что изумрудно?

Счастье — это глухая, ночная река,
По которой плывем мы, пока не утонем,
На обманчивый свет огонька, светляка...
Или вот:
У всего на земле есть синоним,
Патентованный ключ для любого замка
Ледяное, волшебное слово: Т о с к а.

V

Теперь, когда я сгнил и черви обгладали
До блеска остов мой и удалились прочь,
Со мной случилось то, чего не ожидали
Ни те, кто мне вредил, ни кто хотел помочь.

Любезные друзья, не стоил я презренья,
Прелестные враги, помочь вы не могли.
Мне исковеркал жизнь талант двойного зренья,
Но даже черви им, увы, пренебрегли.

VI

То, что было, и то, чего не было,
То, что ждали мы, то, что не ждем,
Просияло в весеннее небо,
Прошумело коротким дождем.

Это всё. Ничего не случилось.
Жизнь, как прежде, идет не спеша.
И напрасно в сиянье просилась
Эти четверть минуты душа.

VII

О нет, не обращаюсь к миру я
И вашего не жду признания.
Я попросту хлороформирую
Поэзией свое сознание.

И наблюдаю с безучастием,
Как растворяются сомнения,
Как боль сливается со счастием
В гармонии одервенения.

VIII

Если бы я мог забыться,
Если бы, что так устало,
Перестало сердце биться,
Сердце биться перестало.

Наконец — угомонилось,
Навсегда окаменело,
Но — как Лермонтову снилось —
Чтобы где-то жизнь звенела.

Что любил, что не допето,
Что уже не видно взглядом,
Чтобы было близко где-то,
Где-то близко было рядом.

IX

Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно...
Какие печальные лица
И как это было давно.
Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны —
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны.

X

Как обидно — чудным даром,
Божьим даром обладать,
Зная, что растратишь даром
Золотую благодать.

И не только зря растратишь
Жемчуг свиньям раздаря,
Но еще к нему доплатишь
Жизнь, погубленную зря.

XI

Как всё бесцветно, всё безвкусно,
Мертво внутри, смешно извне,

Как мне невыносимо грустно,
Как тошнотворно скучно мне...
Зевая сам от этой темы,
Ее меняю на ходу.
Смотри, как странны хризантемы
В соженном осенью саду,
Как будто лермонтовский Демон
Грустит в оранжевом аду.

Как будто вспоминает Врубель
Обрывки творческого сна.
И царственно идет на убыль
Лиловой музыки волна.

XII

Еще я нахожу очарованье
В случайных мелочах и пустяках —
В романе без конца и без названья,
Вот в этой розе, вянущей в руках.

Мне нравится, что на ее муаре
Колышется дождинок серебро,
Что я нашел ее на тротуаре
И выброшу в помойное ведро.

XIII

С пышно развевающимся флагом,
Точно броненосец по волнам,
Точно ро́бот, отвлеченным шагом,
Музыка пошла навстречу нам.

Неохотно, неспеша, не сразу,
Прозревая, но еще слепа, —

Повинуется ее приказу
Чинно разодетая толпа.

Всё спокойно. Декольте и фраки,
Сдержанно, как на большом балу,
Слушают в прозрачном полумраке
Смерти и бессмертию хвалу.

Только в ложе молодая дама
Вздрогнула — и что-то поняла.
Поздно... Мертвые не имут срама
И не знают ни добра, ни зла!

Поздно... Слейся с мировою болью.
Страшно жить, страшнее умереть...
Холодно. И шубкою собольей
Зябнущего сердца не согреть.

XIV

Мелодия становится цветком
Он распускается и осыпается,
Он делается ветром и песком,
Летящим на огонь весенним мотыльком,
Ветвями ивы в воду опускается...

Проходит тысяча мгновенных лет
И перевоплощается мелодия
В тяжелый взгляд, в сиянье эполет,
В рейтузы, в ментик, в «ваше благородие»,
В корнета гвардии — о, почему бы нет?

Туман... Тамань... Пустыня внемлет Богу.
Как далеко до завтрашнего дня...
И Лермонтов один выходит на дорогу,
Серебряными шпорами звеня.

XV

Этой жизни нелепость и нежность
Проходя, как под теплым дождем,
Знаем мы — впереди неизбежность,
Но ее появленья не ждем.

И проснувшись от резкого света,
Видим вдруг — неизбежность пришла,
Как в безоблачном небе комета,
Лучезарная вестница зла.

XVI

Почти не видно человека среди сиянья и шелков —
Галантнейший художник века, галантнейшего
из веков.

Гармония? Очарованье? Разуверенье? Всё не то.
Никто не подыскал названья прозрачной прелести
Ватто.

Как роза вянущая в вазе (зачем Господь ее
сорвал?),
Как русский Демон на Кавказе, он в Валансьене
тосковал...

XVII

Солнце село и краски погасли.
Чист и ясен пустой небосвод.
Как сардинка в оливковом масле
Одинокая тучка плывет.

Неособенно важная штучка
И притом не нужна никому,

Ну, а всё-таки, милая тучка,
Я тебя в это сердце возьму.

Много в нем всевозможного хлама,
Много музыки, мало ума,
И царит в нем Прекрасная Дама,
Кто такая — увидишь сама.

XVIII

Я научился понемногу
Шагать со всеми — рядом, в ногу.
По пустякам не волноваться
И правилам повиноваться.

Встают — встаю. Садятся — сяду.
Стозначный помню номер свой,
Лойяльно благодарен Аду
За звездный кров над головой.

XIX

На границе снега и таянья,
Неподвижности и движения,
Легкомыслия и отчаяния —
Сердцебиение, головокружение...

Голубая ночь одиночества!
На осколки жизнь разбивается,
Исчезают имя и отчество
И фамилия расплывается...
Точно звезды встают пророчества,
Обрываются!.. Не сбываются!..

XX

Игра судьбы. Игра добра и зла.
Игра ума. Игра воображенья.
«Друг друга отражают зеркала,
Взаимно искажая отраженья»...

Мне говорят — ты выиграл игру!
Но всё равно. Я больше не играю.
Допустим, как поэт я не умру,
Зато, как человек я умираю.

Георгий Иванов.

ПИСАТЕЛЬ НЕНУЖНЫХ ТЕМ

ТВОРЧЕСКАЯ СУДЬБА ЮРИЯ ОЛЕШИ

I

Зарубежному русскому читателю Юрий Олеша известен главным образом как автор романа «Зависть». Этим первым своим романом — и вообще первым напечатанным беллетристическим произведением — вышедшим в 1927 г., Олеша вошел в советскую литературу. Советская критика приветствовала роман как необыкновенно яркое и оригинальное произведение, как свидетельство о высоком мастерстве молодого писателя. Вот выдержки из нескольких первых критических отзывов о книге:

Это произведение бесспорно ставит Олешу в ряд лучших современных писателей. Превосходное мастерство стиля, тонкость психологического анализа, яркость изображения отрицательных типов — всё это приковывает внимание читателя с начала романа до конца («Правда»).

В «Зависти» взята большая тема, одна из центральных тем нашего времени («Революция и культура»).

У Олеши хороший литературный вкус. В своем романе он сумел соединить две прекрасных вещи: тонкое, от французов идущее, мастерство речи и глубокий, социально и, пожалуй, философски насыщенный, русский сюжет. В результате получилось произведение одновременно и блестящее и глубокое («Молодая Гвардия»).

На подлинно-талантливом произведении искусства всегда лежит печать своеобразия. Это целиком относится к «Зависти»: здесь читатель изумленно прощается с одной неожиданностью, чтобы сейчас же радостно натолкнуться на другую... Вошел в литературу новый, свежий писатель, вошел уже сложившимся, своеобразным и крепким мастером, сразу взяв большую тему нашей современности («Вечерняя Москва»).

Юрий Олеша романом «Зависть» сразу вышел в первые ряды современной художественной литературы («Красная Звезда»).

Советским критикам вторили и эмигрантские. Некоторые из них (напр., покойный А. Л. Бем) видели в «Зависти» подтверждение жизненности и жизнеспособности советской литературы в отличие от казавшейся им анемичной тогда зарубежной литературы. Успех «Зависти» можно без преувеличения сравнить с успехом «Бедных людей», с той разницей, что Олеша был на несколько лет старше Достоевского.

О жизни Олеши известно мало. Бо́льшая часть советских биографических справочников не дает о нем никаких сведений. Родился он в 1899 г., повидимому, в Елисаветграде, где отец его — если судить по некоторым указаниям в автобиографических рассказах Олеши — служил акцизным чиновником. Судя по отчеству Олеши (Карлович), отец его, вероятно, происходил из немецких колонистов. В одном из своих автобиографических очерков Олеша говорит, что семья их была мелкобуржуазная и что отец был страстный картежник. Когда Олеше было три года, семья переехала в Одессу. Здесь Олеша вырос и город этот считал своей родиной. Он принадлежит таким образом к той группе талантливых писателей, которых дала советской литературе Одесса (Бабель, Катаев, Ильф и Петров, Багрицкий и др.). До выхода «Зависти» имя его было совершенно неизвестно. Он печатался почти исключительно в газете «Гудок», органе профсоюза железнодорожников (там же сотрудничали Катаев и Ильф и Петров), где помещал злободневные стихотворные фельетоны под псевдонимом «Зубило».

«Завистью» Олеша вышел на большую литературную дорогу. Темой этого романа была обычная в те дни для советской литературы тема столкновения нового мира со старым, «новой морали» с пережитками старой. Новым в романе были глубокое, обобщенное толкование этой темы и изощренное словесное мастерство, сочетавшееся с намеренно упрощенной, почти до алгебраичности обнаженной композицией. За тонким словесным мастерством стояло своеобразное, свежее видение мира. Своеобразию и выразительности словесной ткани соответствовала своеобразная манера изображать вещи, которую можно назвать символическим реализмом. Олеша был одинаково далек и от пролетарского реализма — хотя советские критики почти готовы были видеть в нем пролетарского писателя, и его особенно охотно печатал пролетарский «Октябрь» — и от словесных и умственных выкрутасов школы Пильняка, восходив-

шей, с одной стороны, к Лескову и Ремизову, с другой — к Гоголю и Белому. В прозе его можно было видеть некоторую параллель поэзии Пастернака: в ней была та же свежесть восприятия мира, соединенная со свежестью выражения. Критики говорили об его «экспрессионизме»[1]. Тогда еще можно было говорить без осуждения о влиянии на писателя иностранных мастеров, и советские критики охотно писали о влиянии на Олешу современных французов, особенно Жироду. Сам Олеша не отрицал этих иностранных влияний. Но в «Зависти» чувствовалось и несомненное влияние Достоевского — тематическое и идеологическое, скорее чем стилистическое[2].

Основная тема «Зависти» — место обыкновенных, простых человеческих чувств в новом коммунистическом обществе, та проблема «этического балласта», которую позднее поставил в своем романе «Тьма в полдень» и других писаниях о Советской России Артур Кестлер. Трезвому реалисту и прак-

---

[1] Сам Олеша писал в 1930 г.: «Нужно видеть мир по-новому. Чрезвычайно полезно для писателя заниматься такой волшебной фотографией. И притом — это не выверт, никакой не экспрессионизм! Напротив: самый чистый, самый здоровый реализм». В статье «Беседа с читателями» (1936 г.) Олеша писал: «Когда я пишу, я думаю только о том, чтобы передать с максимальной явственностью то, что я вижу. Мне хочется, чтобы читатель смотрел в мир, который я ему показываю, с и л ь н о в ы с у н у в ш и с ь, и чтобы ему не мешала оконная рама и то, что стоит возле окна».

[2] Сам Олеша, впрочем, утверждал, что на него особенно повлиял любимый им Герберт Уэллс, особенно своим романом "The Invisible Man": «Зависть написана под влиянием Уэллса. Именно — Невидимки. Странно? Однако, это так. Когда-нибудь я докажу это с карандашом в руке. Конечно, идея моего романа иная, иные, конечно, образы, вся суть иная... Однако, я знаю, что это так». И дальше: «Именно эта вещь, а не французские писатели, не Жан Жироду, как утверждают критики, оказала на меня наибольшее влияние». Поскольку речь идет о стиле Олеши, позволительно, однако, в этом усомниться. Олеша признавался, что любит Уэллса независимо от его писательской ценности и величины, просто потому, что видит в нем «нечто близкое себе».

В 1936 году Олеша не без основания говорил о «Зависти», что в ней «есть все достоинства и все недостатки молодости», что фактура этой вещи кажется ему слишком «жирной», что в ней слишком много сравнений, метафор, что писать надо «сухо, скупо, просто». И ссылался на Стендаля.

тику Андрею Бабичеву, «американизированному» коммунисту, возглавляющему трест пищевой промышленности («колбаснику», как называет его герой романа), мечтающему о создании образцовой массовой столовой, которая освободит московских хозяек от домашней каторги, и его приемному сыну Володе Макарову, первоклассному футболисту и поклоннику машин, Олеша противопоставляет двух «романтиков» из старого мира: брата Андрея Бабичева — Ивана, последнего мечтателя на земле, фантазера и лгуна (глава о детстве Ивана и его изобретениях и выдумках одна из лучших в романе), и Николая Кавалерова, завистника, индивидуалиста, мечтающего о самоутверждении и о славе, напоминающего кое-чем «человека из подполья» у Достоевского и ставящего в сущности некоторые те же самые проблемы (о свободе воли, о самоутверждении). К Достоевскому восходит и формулируемое Кавалеровым противоположение России (в данном случае Советской России) и Европы, когда он говорит не слушающему его Андрею Бабичеву:

— В Европе одаренному человеку большой простор для достижения славы. Там любят чужую славу. Пожалуйста, сделай только что-нибудь замечательное, и тебя подхватят под руки, поведут на дорогу славы... У нас нет пути для индивидуального достижения успеха... В нашей стране дороги славы заграждены шлагбаумами. Одаренный человек либо должен потускнеть, либо решиться на то, чтобы с большим скандалом поднять шлагбаум. Мне, например, хочется показать силу своей личности. Я хочу моей собственной славы. У нас боятся уделить внимание человеку. Я хочу бо́льшего внимания. Я бы хотел родиться в маленьком французском городке, расти в мечтаниях, поставить себе какую-нибудь высокую цель и в прекрасный день уйти из городка и пешком придти в столицу и там, фанатически работая, добиться цели. Но я не родился на Западе. Теперь мне сказали: не то, что твоя, — самая замечательная личность — ничто. И я постепенно начинаю привыкать к этой истине, против которой можно спорить. Я думаю даже так: ну, вот можно прославиться, ставши музыкантом, писателем, полководцем, пройти через Ниагару по канату... Это законные пути для достижения славы, тут личность старается, чтобы показать себя... А вот представляете себе, когда у нас столько говорят о целеустремленности, полезности, когда от человека требуется трезвый, реалистический подход к вещам и событиям, — вдруг взять да и сотворить что-нибудь явно нелепое, совер-

шить какое-нибудь гениальное озорство и сказать потом: «Да, вот вы так, а я так». Выйти на площадь, сделать что-нибудь с собой и раскланяться: я жил, я сделал то, что хотел... Хотя бы взять и сделать так: покончить с собой. Самоубийство без всякой причины. Из озорства. Чтобы показать, что каждый имеет право распоряжаться собой. Даже теперь. Повеситься у вас над подъездом.

За голосом Кавалерова здесь явственно слышится голос «человека из подполья». И в то же время тема «Россия и Европа» получает новое, злободневное звучание.

Кавалеровские «мечты» об Европе вместе с тем, очевидно, связаны с детскими мечтами самого Олеши. В «Беседе с читателями» он писал: «Я в детстве мечтал об Европе. О путешествии по Европе на велосипеде. О дорогах Англии. Я тогда жил в Одессе. Казалось, что Одесса более связана с Европой, нежели с Россией. Я видел море, волну моря, и мне легко было представить себе, что эта волна пришла из океана. Мысль об Европе чрезвычайно волновала мое воображение».

В центре фабулы «Зависти» — «заговор чувств», организуемый Иваном Бабичевым. В замечательной сцене в Чека, после своего ареста, Иван Бабичев так объясняет следователю смысл этого заговора:

— Я хочу встряхнуть сердце перегоревшей эпохи... Я хочу найти представителей оттуда, из того, что вы называете старым миром. Те чувства я имею в виду: ревность, любовь к женщине, честолюбие. Глупца я хочу найти такого, чтоб показать вам: вот, товарищи, представитель того человеческого состояния, которое называется «глупость»...

...многие характеры разыгрывали комедию старого мира. Занавес закрывается. Персонажи должны сбежаться к авансцене и пропеть последние куплеты. Я хочу быть посредником между ними и зрительным залом. Я буду дирижировать хором и последним уйду со сцены.

...мне выпала честь провести последним парадом старинные человеческие страсти...

...в глазные прорези маски мерцающим взглядом следит за нами история. И я хочу показать ей: вот влюбленный, вот честолюбец, вот предатель, вот безрассудный храбрец, вот верный друг, вот блудный сын, — вот они, носители великих чувств, ныне признанных ничтожными и пошлыми. Пусть в последний раз, прежде чем исчезнуть, прежде чем подвергнуться осмеянию, пусть проявятся они в высоком напряжении.

Героем романа, от лица которого написана вся первая часть, является Кавалеров. Встреча Кавалерова с Иваном Бабичевым, человеком, который «сам себя выдумал» — центральный момент романа. Бабичев вовлекает Кавалерова в свой заговор чувств, в котором Кавалеров должен олицетворять зависть. Но Олеша наделил Кавалерова не только завистью, честолюбием и жаждой славы, но и умом, талантом, воображением. Трагедия Кавалерова в том, что он одновременно сознает и свое ничтожество, и свое превосходство над «колбасником». Отвечая впоследствии на упреки в том, что он в Кавалерова вложил себя самого, свои чувства и мысли, Олеша говорил:

> Да, Кавалеров смотрел на мир моими глазами. Краски, цвета, образы, сравнения, метафоры и умозаключения Кавалерова принадлежали мне. И это были наиболее свежие, наиболее яркие краски, которые я видел. Многие из них пришли из детства, были вынуты из самого заветного уголка, из ящика неповторимых наблюдений.
>
> Как художник, проявил я в Кавалерове наиболее чистую силу, силу первой вещи, силу пересказа первых впечатлений...

Это ценное художническое признание было сделано Олешей в речи на первом съезде советских писателей в 1934 г., к которой я еще вернусь.

«Заговор» Ивана Бабичева проваливается. В борьбе с Андреем — борьба эта идет отчасти за Валю, дочь Ивана и невесту Володи Макарова, в которую романтически влюблен Кавалеров и которая соединяет в себе вечно-женственное начало и положительные стороны нового мира — Иван и Кавалеров терпят поражение. Не помогает и изобретенная Иваном фантастическая машина, которой он дает имя Офелии — «самое человеческое, самое трогательное» из имен — и при помощи которой он хочет разрушить «Четвертак», образцовую гигиеническую кухню, которую строит его брат. Роман кончается возвращением Ивана и Кавалерова в лоно Анички Прокопович, пятидесятилетней вдовы, олицетворяющей мещанскую пошлость. Конец как будто вполне благонамеренный, и многие советские критики увидели в романе Олеши прежде всего разоблачение «пошлых» врагов нового строя в лице Ивана Бабичева и Кавалерова. Так, журнал «На литературном посту», этот блюститель чистоты пролетарских литературных риз, писал, что Олеша в своем романе «показал красоту полнокровного оптимизма», а «Комсомольская Правда» называла «Зависть» первым романом, в котором «без выкриков и надрыва показан сегодняшний день со всем его размахом строительства, с пафосом

мелких дел». Более близорукую оценку трудно себе представить, и критики попроницательнее, вроде Вячеслава Полонского и некоторых других, быстро раскусили двусмысленность романа и увидели, что в изображении Олеши представители нового мира, и особенно «колбасник», получились не менее, если не более, пошлыми. Нетрудно было почувствовать, что симпатии Олеши были в сущности на стороне его отрицательных персонажей и что к ним привлекал он и симпатии читателей. Восторги советских критиков перед «Завистью» оказались кратковременными, и весь последующий путь Олеши в советской литературе оказался скачкой с препятствиями. Писательская судьба Олеши ярко иллюстрирует положение оригинального и независимого писателя в тоталитарном государстве, поскольку этот писатель не может и не хочет приспособиться к предъявляемым ему требованиям. Внутренняя тема Олеши — тема «одинокой судьбы» (так называлась одна критическая статья об Олеше, но формула принадлежала ему самому) — оказалась сильнее его, и самые добросовестные попытки приспособиться и «перестроиться» не привели ни к чему. Борьба Олеши за свою писательскую индивидуальность, за право говорить и думать по-своему закончилась поражением и уходом (или изгнанием) из советской литературы.

У меня нет места останавливаться на всех других вещах Олеши. Ничего равного «Зависти», где на довольно заурядной советской теме ему удалось создать современный миф, он не написал. Коснусь лишь некоторых наиболее важных из других произведений Олеши[3] — тем более, что он и в самом деле пи-

[3] Для полноты перечислю здесь произведения Олеши, вышедшие отдельными изданиями:

«Зависть», 1927. («Зависть» была также переделана Олешей в пьесу под названием «Заговор чувств». Пьеса эта, в которой многое было изменено по сравнению с романом, шла на советской сцене).

«Три толстяка», 1928. (Олеша сам называл эту вещь «авантюрным романом». Отдел детской литературы Госиздата выпускал ее как повесть для детей. В этом завлекательном романе, который можно рассматривать и как притчу о русской революции, и как притчу о революции во имя свободы вообще, сказывается заметное влияние Андерсена и Гофмана, но он полон вариаций на излюбленные Олешей темы. Роман этот, переделанный впоследствии в пьесу, фактически написан в 1924 г., т. е. до «Зависти». Действие в нем происходит в вымышленной стране).

«Любовь», 1930. (Сборник рассказов, из которых некоторые —

сатель одной темы — и в связи с ними остановлюсь на главнейших этапах того диалога Олеши с самим собой и с веком, в котором так трагически ясно отразилось положение литературы в Советском Союзе.

II

В 1931 году вышла небольшая книжка рассказов Олеши «Вишневая косточка». В рассказе, который дал название всему сборнику, Олеша писал о «невидимой стране» своего воображения, о мире, «который не подчиняется никаким законам, кроме призрачных законов моего собственного ощущения». В этом же сборнике были напечатаны два небольших автобиографических фрагмента: «Человеческий материал» и «Я смотрю в прошлое». Оба были написаны в 1928 г. В первом Олеша писал:

> Мне много говорили о справедливости. Мне говорили: нищета — добродетель, заплатанное платье прекрасно, нужно быть справедливым. Нужно быть добрым и не презирать бедных. Когда произошла революция, передо мной встала величайшая человеческая справедливость — торжество угнетенного класса. Тогда я узнал, что не всякое заплатанное платье прекрасно и не всякая нищета — добродетель. Тогда я узнал, что справедливо только то, что помогает раскрепощению угнетенного класса. Об этой справедливости ни слова не сказали мне те, кто учил меня, как жить...
>
> Я хватаю в себе самого себя, хватаю за горло того меня, которому вдруг хочется повернуться и вытянуть руки к прошлому.
>
> Того меня, который думает, что расстояние между нами и Европой есть только географическое расстояние.
>
> Того меня, который думает, что всё, что происходит,

«Любовь», «Лиомпа» — представляют собой вариации на отдельные темы «Зависти»).

«Вишневая косточка», 1931. (Рассказы, вошедшие в «Любовь», с добавлением нескольких новых).

«Список благодеяний», 1931. (Об этой пьесе подробно ниже).

В 1936 г. под названием «Избранное» вышел сборник Олеши, в который вошли: «Зависть», рассказы из «Вишневой косточки» с добавлением еще одного, кинопьеса «Строгий юноша» и «Речь на 1 Всесоюзном съезде советских писателей».

есть только его жизнь, единственная и неповторимая, всеобъемлющая моя жизнь, своим концом прекращающая всё существующее вне меня.

Я хочу задавить в себе второе «я», третье и все «я», которые выползают из прошлого.

Я хочу уничтожить в себе мелкие чувства.

Если я не могу быть инженером стихий, то я могу быть инженером человеческого материала[4].

В этих словах выразилась искренняя, но бессильная попытка преодолеть собственный индивидуализм, разделаться со своим «буржуазным» прошлым и подойти к революции.

В «Я смотрю в прошлое» Олеша говорил об «одинокой судьбе», о человеке, удел которого «оставаться одиноким везде и во всем». Такого человека

называют мечтателем, над ним смеются, он допускает это, он и сам смеется с другими, и люди объясняют это тем, что он ничтожен, угодлив, он идет одиноко, втянув в плечи голову, в которой тщеславие, высокомерие, самоунижение, презрение к людям, сменяющееся умилением, мысли о смерти образуют никогда не утихающую бурю. Она не вырывается за пределы этого болезненного черепа, человек укрощает ее, втягивая голову в плечи, и только иногда он оборачивается вслед засмеявшемуся, и засмеявшийся видит тогда, что на лице, которое его всегда смешило, сверкает собачий оскал.

В этой самохарактеристике одинокого мечтателя звучала уже предельная горечь.

В том же 1931 г. появилась пьеса Олеши «Список благодеяний», пользовавшаяся некоторое время успехом на советской сцене. С точки зрения драматической конструкции вещь эта не из удачных, она слабее «Заговора чувств». Но на творческом пути Олеши, в его диалоге с самим собой и с эпохой это важная веха. Здесь тема одинокой судьбы и тема столкновения личности с эпохой получают дальнейшее развитие, и за образами пьесы стоит сам Олеша с его проблемами. Героиня пьесы — советская актриса Елена Гончарова. Пьеса, разделенная на восемь сцен, открывается прологом. Действие происходит в театре. Только что состоялось последнее представление «Гамлета», в котором Гончарова исполняла роль датского принца, и после спектакля диспут. Гончарова, которая

[4] Олеше таким образом как будто принадлежит приоритет знаменитой формулы Сталина: «писатели — инженеры человеческих душ».

вскоре должна уехать заграницу, отвечает на записки с вопросами. Некоторые ее ответы содержат в себе ключ к темам, которые Олеша в дальнейшем разрабатывает в драматической форме. На вопрос, почему рабочей аудитории показывают такую старую иностранную пьесу, Гончарова отвечает: «Гамлет» — лучшее из того, что было создано в искусстве прошлого. Так я считаю. По всей вероятности, никогда русским зрителям показывать «Гамлета» не будут. Я решила показать его нашей стране в последний раз». На вопрос, зачем ставить «Гамлета», разве нет, мол, современных пьес, Гончарова отвечает: «Современные пьесы схематичны, лживы, лишены фантазии, прямолинейны. Играть в них — значит терять квалификацию». Вспомним, что пьеса была написана и напечатана в один из худших для советской литературы периодов, когда в ней царила диктатура РАПП-а, и мы оценим смелость этих реплик. Но Олеша шел и дальше. Кто-то подает Гончаровой записку такого содержания: «Вы знаменитая артистка, хорошо зарабатываете. Чего же вам не хватает? Почему же на фотографиях у вас такое беспокойное выражение глаз?» Она отвечает: «Потому, что мне очень трудно быть гражданкой нового мира». А на замечание, что в период реконструкции с его бешеным темпом строительства «противно слушать самокопания вашего «Гамлета», дает смелый ответ: «Я полагаю, что в эпоху быстрых темпов художник должен думать медленно». Это, конечно, ответ самого Олеши РАПП-У и другим блюстителям литературного порядка. Последняя записка содержит просьбу повторить сцену с флейтой между Гамлетом и Гильденстерном. Гончарова исполняет просьбу, и этим приемом Олеша пользуется, чтобы устами Гамлета дать свой собственный ответ Гильденстернам из коммунистической партии: «Вы... хотели бы вырвать у меня самую душу моей тайны, хотели бы извлечь из меня все звуки — от самого низкого до самого высокого... Хотя вы и можете меня расстроить, но не можете играть на мне».

Во второй сцене Гончарова и ее подруга-актриса Семенова делают приготовления к прощальному вечеру накануне отъезда Гончаровой в Париж. На стене висит портрет Чарли Чаплина. Гончарова просит Семенову время от времени стирать пыль с портрета и затем так обращается к нему:

— Чаплин, Чаплин! Маленький человек в штанах с бахромой. Я увижу твои знаменитые фильмы... я увижу «Цирк» и «Золотую лихорадку». Весь мир восторгался ими. Прошли годы... а мы до сих пор не видели их.

Она воображает затем, как она приедет в Париж в дождливый день, когда тротуары, зонты, плащи будут блестеть от «мопассановской слякоти», и как она пойдет смотреть Чаплина и плакать в каком-нибудь маленьком кинотеатрике на окраинах Парижа. Так Олеша вводит в пьесу не раз потом возвращающуюся тему Чаплина. Известный советский критик Корнелий Зелинский одну свою статью об Олеше озаглавил «Чаплиниада», считая, что это слово резюмирует основные мотивы его творчества. В персонажах «Зависти», в Кавалерове и Иване Бабичеве есть несомненное внешнее сходство с героем Чаплина, хотя сам Олеша утверждал, что Иван Бабичев есть воспоминание о бродяге Марвелле из «Невидимки» Уэллса, «задыхающемся толстяке на коротких ножках».

Гончарова вспоминает, что у нее есть тетрадка, которую надо спрятать подальше и ключ передать Семеновой. Но у нее является вопрос, не взять ли ей эту тетрадку с собой и не продать ли заграницей. Семенова думает, что это ее дневник. Нет, говорит Гончарова, «это не дневник актрисы. Это тайна русской интеллигенции». Она показывает Семеновой тетрадку, которая разделена пополам. На каждой стороне список, и первый список это список преступлений революции. Семенова советует лучше спрятать тетрадку, но Гончарова успокаивает ее: это, мол, не грубые жалобы на отсутствие продуктов: «Это другое. Я говорю о преступлениях против личности. Есть многое в политике нашей власти, с чем я не могу примириться». Она показывает на другой половине тетрадки второй список — благодеяний советской власти — и говорит: «Теперь сложим обе половины вместе. Это я. Понимаешь? Это моя тревога, бред. Две половины одной совести, путаница, от которой я схожу с ума... Этого нельзя оставить здесь. Мало ли что. Кто-нибудь найдет. Ужасно! Истолкуют вульгарно, скажут: контрреволюционерка». Когда Семенова предлагает ей всё-таки продать тетрадку заграницей, Гончарова возмущенно восклицает:

— Как? Оторвать половину? Только преступления? Ведь за список благодеяний советской власти заграницей не дадут ни копейки. Показать только пункты злобы, а про пункты восторга умолчать? Нет! Эта тетрадка не разрывается. Я не контрреволюционерка. Я человек старого мира, который спорит сам с собой.

Подчеркнутые слова — несомненно искреннее признание самого Олеши.

Гончарова прибавляет:

Есть среди нас люди, которые носят в душе своей только

один список. Если это список преступлений, если эти люди ненавидят советскую власть — **они** счастливы. Одни из них — смелые — восстают или бегут заграницу. Другие — трусы, благополучные люди, которых я ненавижу — лгут и записывают анекдоты, о которых ты говорила. Если в человеке другой список — благодеяний, — такой человек восторженно строит новый мир. Это его родина, его дом. А во мне два списка: и я не могу ни бежать, ни восставать, ни лгать, ни строить. Я могу только понимать и молчать.

С третьей сцены действие пьесы переносится в Париж и быстро принимает мелодраматический темп и характер. Париж показан как город контрастов, типичных для разъедающего капиталистическую Европу кризиса — роскошь и погоня за удовольствиями с одной стороны, нищета и безработица — с другой. Контраст символизируется «международным балом артистов», устраиваемым банкиром Лепельтье, чтобы отвлечь внимание от экономического кризиса, и подготовляемой одновременно демонстрацией безработных. На балу должна появиться знаменитая советская актриса Гончарова. Ее соблазняют купить в кредит дорогое вечернее платье у русской эмигрантской портнихи. Белогвардейский журналист выкрадывает у нее ее тетрадку и печатает в эмигрантской газете список преступлений революции, прибавляя, что Гончарова продала его за 4.000 франков (стоимость платья). Тетрадку Гончаровой он посылает в советское посольство. Олеша вводит также малоправдоподобную гротескную сцену между Гончаровой и директором французского мюзик-холла, которая должна иллюстрировать падение буржуазной культуры. А выгнанный директором рабочий, которому Гончарова подает милостыню, вновь вводит мотив Чаплина — у него оказывается большое сходство с последним: «Котелок, шевелюра, усики, грубые большие сапоги, тросточка». Пьеса кончается на мелодраматической ноте: Гончарову, пытающуюся защитить одного из вожаков коммунистической демонстрации безработных, убивает какой-то полу-сумасшедший русский эмигрант (по фамилии Кизеветтер), нанятый для убийства упомянутого коммуниста.

Интерес пьесы не в ее внешней мелодраматической фабуле и развязке, а в некоторых явно ощущаемых подводных течениях. Через всю пьесу проходят излюбленные мотивы и темы Олеши: мотив Чаплина, маленького человечка, раздавленного эпохой; мотив андерсеновского «гадкого утенка»; тема славы и зависти; тема России и Запада; мотив памяти. Любопытен диалог между Гончаровой и Федотовым, служащим

советской торговой миссии, возвращающимся из Америки домой. На вопрос, что она делает в Париже, Гончарова отвечает:

— Ничего не делаю. Хожу... Иногда останавливаюсь и смотрю; вижу — лежит моя тень. Я смотрю на нее и думаю: моя тень лежит на камне Европы. Я жила в новом мире. Теперь у меня слезы выступают на глазах, когда я вижу мою тень на камне старого. Я вспоминаю, в чем состояла моя личная жизнь в мире, который вы называете новым. Только в том, что я думала. Революция лишила меня прошлого и не показала мне будущего. А настоящим моим стала мысль. Думать. Я думала, только думала, — мыслью я хотела постигнуть то, чего не могла постигнуть ощущением... Мыслью я воспринимала полностью понятие коммунизма. Мозгом я верила в то, что торжество пролетариата естественно и закономерно. Но ощущение мое было против. Я была разорвана пополам. Я бежала сюда от этой двойной жизни, и если бы не бежала, то сошла бы с ума. В новом мире я валялась стеклышком родины. Теперь я вернулась, и две половины соединились. Я живу естественной жизнью, я вновь обрела глаголы настоящего времени. Я ем, трогаю, смотрю, иду... Пылинка старого мира, я осела на камне Европы. Это древний могучий камень. Его положили римляне. Никто не сдвинет его.

Федотов отвечает, что из этого камня скоро будут строить баррикады, но Гончарова говорит, что она «отдыхает от мыслей о революции», что она артистка, и ее сущность — человечность:

Артистка только тогда становится великой, когда она воплощает демократическую, общепонятную и волнующую всех тему.

«Эта тема — социализм», говорит Федотов. «Неправда», отвечает Гончарова и поясняет:

Тема одинокой человеческой судьбы. Тема Чаплина. Урод хочет быть красивым. Нищий — богатым. Лентяй хочет получить наследство. Матери хочется приехать к сыну.

Федотов презрительно называет эту тему «кулацкой». «Если угодно — кулацкая», говорит Гончарова.

Интересно также обличение советского рабства, которое Олеша вкладывает в уста «врага», белогвардейского журналиста Татарова:

...я докажу, что в России рабство. Мир говорит об этом. Но что слышит мир? Он слышит жалобы лесорубов, темное мычание рабов, которые не могут ни мыслить, ни кричать. А теперь я могу извлечь жалобу из высокоодаренного суще-

ства. И миру станет вдвое страшней. Знаменитая актриса из страны рабов закричит миру: не верьте, не верьте моей славе! Я получила ее за отказ мыслить... Не верьте моей свободе: я была рабом, несмотря ни на что.

Гончарова разочаровывается в Европе: тому же Татарову она говорит, что она не знает преступлений советской власти, что назад домой она повезет список преступлений капиталистических правительств Европы. Советской критике нелегко было придраться к пьесе: Гончарова была в ней изображена разочаровавшейся в своих «буржуазных» иллюзиях и своей смертью на древних камнях Европы искупившей свое мимолетное «предательство» нового мира. Но для самого Олеши проблема, мучившая его, не решалась так просто, и его диалог с самим собой и с веком продолжался.

III

В 1932 г. в журнале «30 дней» Олеша напечатал отрывок, озаглавленный «Кое-что из секретных записей попутчика Занда». Модест Занд, советский писатель-попутчик alter ego Олеши, и вещь носит несомненный характер личной исповеди. Так она и была воспринята советской критикой. Занд-Олеша начинает с того, что он любит смотреться в зеркало[5]. Подчеркнув таким образом нарочито свой индивидуализм и эгоцентризм, Занд упоминает свою любимую картину, изображающую овацию, устроенную народом Шиллеру после первого представления «Коварства и любви», и говорит:

Он поэт восходящего класса... Как же я могу не мечтать о своем «Коварстве и любви» — о новой драме, которая потрясла бы пролетариат так же, как некогда драма Шиллера потрясла бюргеров? Как же я могу не мечтать о силе? Стра-

[5] Зеркала и отражения играют большую роль в творчестве Олеши. В «Зависти» они используются им как своеобразный творческий прием. Поворотной встрече между Кавалеровым и Иваном Бабичевым предшествует описание лицезрения Кавалеровым окружающего мира в уличном зеркале. Занд говорит: «Есть мужчины, у которых никогда не появляется соображение посмотреть на себя в зеркало... А я стараюсь заглянуть даже в зеркальный шкап, который грузят на платформу. Поднимаюсь на носки, заглядываю, — это зеркало улетает, — стремительно возносится дом, фонарь, — я успеваю поймать свое улетающее в синеву лицо».

стно, до воя, до слез не жаждать силы, которая должна быть в писателе, когда восходит новый класс?

Занд противопоставляет себя своему другу Колотилову, «сильному человеку» и ученому: тогда как для него, Занда, искусство — главное в жизни, для Колотилова оно лишь часть огромной жизни. Силен тот человек — продолжает Занд-Олеша — внимание которого сосредоточено на внешнем мире. Для Колотилова внешний мир это — опыт, материя. Для него, Занда, это — эпос:

Да, да, — эпос!

Изображать события, характеры, страсти, — быть вовне.

Страсти?

Как же я могу изображать чужую страсть, не привив себе бактерию такой же страсти?

Если я хочу изобразить алчность или другое, — или ревность или сострадание, — я ведь должен расшевелить в себе, вытянуть, выпрямить росток этой страсти. Росток, если она во мне уже не цветет! И шевеля его, я приведу в движение все другие — все сплетения души. И значит вновь — возврат внимания в себя, в мир внутренний. Так вот в чем дело! Сама профессия моя — профессия писателя — такова, что внимание не может принадлежать только внешнему миру.

Здесь Занд-Олеша с предельной ясностью формулирует свою трагическую дилемму и страстно восклицает: «Я не хочу быть писателем!» И он дает себе обет — «никогда не смотреть в зеркало... Уйти от жалкой, инфантильной привычки присматриваться к себе».

В конце «Записей» Занд вводит своего друга Базилевича, большевика, редактора газеты, с которым он делится трудностью быть писателем. Ответ Базилевича прост: «Вы должны включиться в жизнь масс. Вам нужно слиться с массой!»

В том же номере журнала был напечатан ответ Олеше коммунистического критика И. Бачелиса под заглавием «Наш ответ попутчику Занду». Бачелис обвинял Занда в клевете на историю, в утверждении, что раньше история была легче и снисходительней, что сейчас она давит и принижает человека. Занду предъявлялось также обвинение в клевете на родину. Решение проблемы Занда, по Бачелису, очень простое: вместо того, чтобы повторять слова Базилевича: «Вам нужно слиться с массой», ему надлежит сказать: «М н е нужно слиться с массой».

Диалог Олеши был вынесен теперь наружу, и в том же

журнале через номер напечатано было «Открытое письмо рабочего литкружка Дворца Советов писателю Юрию Олеше». Олеша обвинялся в «обожествлении» мелкобуржуазных противоречий, и ему предлагалось «перестроиться лицом к нашим задачам», «овладеть теорией пролетариата, теорией диалектического материализма, но только не в кабинете, а связывая ее с жизнью». Еще через номер появился ответ Олеши на это письмо под заглавием «Необходимость перестройки мне ясна». Припомнив слова Жорж Занд о том, что половина таланта состоит из воспоминаний, Олеша писал:

> В течение многих лет растут и развиваются в писателе темы. И вдруг в один прекрасный день писатель видит, что эти темы, которые были его жизнью, оказываются ненужными. Это чудовищной силы потрясение. Оказывается: эта тема не нужна, эта несвоевременна, эта реакционна, эта демобилизующа и т. д. Чего желать? Ясно. Вычеркнуть ненужные темы из записной книжки. Так писатель и делает. Темы, неинтересные общественности, из записной книжки вычеркиваются. Но выход ли это? Помогает ли вычеркнуть? Ведь они остаются в мозгу. Вычеркнутая тема может подняться и стать поперек мозга.
>
> Образуется кладбище тем. Они гниют — эти индивидуалистические мертвецы — и отравляют мозг. Их вынести некуда. Только на бумагу. А знание о них, что они ненужны... это знание не позволяет вынести их на бумагу.

Тут же Олеша говорил неизбежные слова о необходимости создать «Магнитострой литературы», просил не отождествлять его с Зандом, который лишь «половина» его воспоминаний, и выражал веру, что «впереди сияющее будущее» и что к этому будущему он придет с гордой головой — своими путями, ибо «для художника нет ничего более важного, чем свои пути».

Редакция «30 дней» предпослала исповеди Олеши заявление о том, что, провозглашая необходимость перестройки, Олеша попрежнему «думает и чувствует по-старому» и лишь «внешне» осознал стоящую перед ним проблему. Редакция выражала надежду, что эта дискуссия «ускорит темпы перестройки Ю. Олеши». В следующем номере «30 дней» появилась сцена из новой пьесы Олеши «Черный человек», в которой Олеша еще раз попробовал в драматической форме разрешить собственную проблему. Герой пьесы — тот же Модест Занд. В короткой вступительной заметке Олеша снова говорил о те-

мах, которые нельзя вычеркнуть, ибо, загоняемые внутрь, они изворачиваются и выползают на бумагу:

Если писатель Занд займется новой, большой, живой, жизнерадостной, «солнечной» темой, то всё равно — так или иначе — смрадным хвостом или ядовитой головой высунется сквозь новое творчество Занда эта черная тема-ящерица. Как быть? Как уничтожить эту тему? Как убить тему-ящерицу... ведь отрубленные части у ящерицы вырастают снова! Таких тем много, целое гнездо ядовитых ящериц.

По пьесе Зандом владеет тема убийства. Он хочет от нее избавиться, чтобы всецело отдаться радостному творчеству о новой жизни. Он встречается с Черным Человеком. Это — по определению Олеши — «некий графолог, хиромант (циник, шарлатан, отравитель)». Он призван быть синтетической пародией на Фрейда, Шпенглера, Бергсона. «Борьбе Занда с Черным Человеком, борьбе идеи смерти с идеей пересоздания мира путем творчества посвящена пьеса», писал Олеша. В напечатанном небольшом отрывке лишь намечены персонажи и мотивы пьесы. Продолжение ее так никогда и не появилось, и, насколько я мог установить, Олеша после этого замолчал почти на целых два года.

IV

Осенью 1934 г. Олеша выступил на первом съезде советских писателей с знаменательной речью, которая заставила много о себе говорить и была в сущности его лебединой песнью. Речь эта показала, что Олешу мучили всё те же проблемы, те же темы. Он говорил:

В каждом человеке есть дурное и есть хорошее. Я не поверю, что возможен человек, который не мог бы понять, что такое быть тщеславным, или трусом, или эгоистом. Каждый человек может почувствовать в себе внезапное появление какого угодно двойника. В художнике это проявляется особенно ярко, и в этом — одно из удивительных свойств художника: испытать чужие страсти.

В каждом заложены ростки самых разнообразных страстей — и светлых, и черных. Художник умеет вытягивать эти ростки и превращать их в деревья...

Очень часто спрашивают художника: «Откуда вы знаете? Это вы сами выдумали?» Да, художник всё выдумывает сам. Конечно, нельзя ничего выдумать того, чего нет в при-

роде. Но отношения у художника с природой такие, что она ему открывает некоторые свои тайны, она с ним более общительна, чем с другими...

Отношения с хорошим и плохим, с пороком и добродетелью у художника чрезвычайно непростые. Когда изображаешь отрицательного героя, — сам становишься отрицательным, подымаешь со дна души плохое, грязное, то есть, убеждаешься, что оно в тебе — это плохое и грязное — есть, а следовательно, берешь в сознание очень тяжелую психологическую нагрузку.

Гёте сказал однажды: «Я хотел еще раз прочесть «Макбета», но не рискнул. Я боялся, что... это чтение меня убьет». Образ может убить художника.

И Олеша говорил о том, как, после того как Кавалеров был объявлен критикой «пошляком и ничтожеством», он, зная что в Кавалерове много от него самого, принял на себя это обвинение и был потрясен. Он не поверил и «притаился», но вместе с тем стал думать, что «то, что мне казалось сокровищем, есть на самом деле нищета». Он представил себя нищим, человеком, у которого отнято всё, «воображение художника пришло на помощь, и под его дыханием голая мысль о социальной ненужности стала превращаться в вымысел» — он решил написать повесть о нищем[6]. А в это время — говорил Олеша — страна строила заводы, занята была пятилеткой.

Это не было моей темой. Я мог поехать на стройку, жить на заводе среди рабочих, описать их в очерке, даже в романе, но это не было моей темой, не было темой, которая шла от моей кровеносной системы, от моего дыхания. Я бы лгал, выдумывал; у меня не было бы того, что называется вдохновением. Мне трудно понять тип рабочего, тип героя-революционера. Я им не могу быть. Это выше моих сил, моего понимания. Поэтому я об этом не пишу —

откровенно говорил Олеша. В дальнейшем он видел свою задачу в том, чтоб писать о новом молодом поколении, чтобы «создать тип молодого человека, наделив его лучшим из того, что было в моей молодости».

В этом государстве растет... советский молодой человек. Как художник я бросаюсь на него: «Кто ты, какие ты видишь краски, снятся ли тебе сны, о чем ты мечтаешь, как ты ощущаешь себя, как ты любишь, какие у тебя чувства, что ты

[6] Роман «Нищий» был даже объявлен одним советским журналом, но так и не появился.

отвергаешь и что признаешь, какой ты, что в тебе преобладает — чувство или рассудок, умеешь ли ты плакать, нежен ли ты, всё ли ты понял из того, что пугало меня, чего я не понимал, чего я боялся, какой ты, молодой человек социалистического общества?»

И Олеша заявлял своим собратьям по литературе:

Я буду писать пьесы и повести, где действующие лица будут решать задачи морального характера. Где-то живет во мне убеждение, что коммунизм есть не только экономическая, но и нравственная система, и первыми воплотителями этой стороны коммунизма будут молодые люди и молодые девушки.

Одновременно появилась в «Новом Мире» написанная, очевидно, еще раньше, небольшая вещь Олеши, «Строгий юноша» — «пьеса для кинематографа». Темой ее была новая этика коммунистической молодежи, возрождение некоторых из тех чувств, конец которых видел Иван Бабичев и парад которых он собирался устроить. В этой вещи сказалась тенденция, которую Олеша два года спустя так формулировал в статье «Беседа с читателями»: «Я хочу видеть только хорошее в нашей жизни. Я хочу преувеличивать это хорошее. Конечно, художественно». Советские критики усмотрели в «Строгом юноше» влияние идеализма и вредную мечтательность. Один советский невозвращенец говорил автору этой статьи, что фильм был изготовлен, но запрещен к публичному показу. Как будто после этого Олеша ничего значительного не напечатал[7]. Насколько я мог установить[8], последним его довоенным печатным произведением была статья 1938 г. в том самом журнале «30 дней», где шла дискуссия о его перестройке. Называлась она «СССР — наша великая социалистическая родина». Это было бледное, казенное исповедание советского патриотизма.

Личная судьба Олеши неизвестна. Во время войны имя его исчезло совершенно со страниц советской печати. Ходили слухи о том, что он сослан и находится в лагере. После войны один или два его рассказа были напечатаны в «Огоньке», но затем имя Олеши опять перестало упоминаться. В обзорах

[7] В 1936 г. в журнале «Литературный критик» (№ 12) появилась «Беседа с читателями» Олеши, из которой я уже приводил выдержки. Здесь было много интересных и тонких мыслей о своем и чужом творчестве.

[8] Эту оговорку приходится делать, поскольку мне не были доступны все советские периодические издания за эти годы.

советской литературы к ее 25-летию и 30-летию о «Зависти», когда-то так нагремевшей и превознесенной, не было упомянуто ни словом. Наравне с рядом других видных писателей (Бабель, Пильняк и др.) Олеша был «исключен» из советской литературы. Но в истории ее имя его останется не только как одного из самых талантливых и оригинальных писателей, но и одного из самых честных и независимых. «Свой путь» Олеша считал самым важным для художника. Но в сталинской России идти своим путем для художника становилось все более и более трудным, а под конец и невозможным — художнику его путь указывает всемогущая Партия. Олеша боялся тем-ящериц, которые станут ему поперек мозга. Но его творческая трагедия заключалась в том, что свои «ненужные» темы он не мог подменить другими — по чужой указке. И все его самые добросовестные попытки «перестроиться» не привели ни к чему. Трагедия Олеши — трагедия всякого свободного художника в условиях полного духовного рабства.

Глеб Струве.

Декабрь, 1950 г.

ОН И МЫ*

(Главы из воспоминаний о Д. С. Мережковском)

ПАРИЖ, 1906-1909.

1.

Какая весна! Нет, пред-весна, это часто в Париже. Кажется, что с зимой покончено, вот-вот начнутся летние жары. Но это обман: деревья еще голы, и фиакры не меняют кареток на открытые пролетки. Еще вернутся холода и — «жибулэ».

Помню темные, желтые ночи на балконе нашего отеля на Елисейских Полях. Вверху — ясное, бархатное небо в звездах; внизу — вся avenue сверкает огнями и полна нежным переливчатым звуком бубенчиков бесконечных фиакров. Как пахнет весенний воздух! А ведь там, где мы были почти что третьяго дня... Там «мороз на берегах Невы!» Париж, хотя мы, после первого путешествия, к Плещееву, видели его много раз, в эти дни кажется нам новым: ведь мы не путешествуем, мы приехали сюда «жить!»

Очень скоро нашли мы и квартиру. Мечтая о Париже, мы ее почему-то воображали в Пасси. Но наша новая квартира оказалась в Auteuil на тихой улице Théophile Gautier, в самом начале этой, тогда новой улицы, в только что отстроенном доме. Квартира хорошая, большая, с балконами на все стороны: на улицу, прямо на деревья и на пустырь, отделявший нас от улицы La Fontaine, а из hall'a на парижский простор с Эйфелевой башней и с громадным, поднебесным колесом, оставшимся от последней выставки.

Просторность квартиры нас прельщала, каждый мог жить, насколько хотел, отдельно, а цена ее показалась нам, привыкшим считать на рубли, совсем подходящей — 1200 р. в год. Положим, рублей-то у нас, в этот первый год, было немного. Ведь в Петербурге оставались мои сестры, другая квартира...

---

*) См. книги 23-ю и 24-ую «Нового Журнала».

Мы бы, конечно, не могли и думать о поездке, если б работы и книги Д. С.-ча последних годов не дали нам такой возможности: за годы 1903-04 Д. С. выпустил у Перцова, у Пирожкова и в некоторых других издательствах несколько сборников статей, — он их писал во время приготовления к большой работе. Иные книги имели — сравнительный — успех, Пирожков платил исправно (впоследствии выяснилось, что он еще и обманул Д. С.-ча на много тысяч, издав тройное количество экземпляров). Я тоже издала несколько книг и много писала — в московском издательстве.

Д. С.-ча теперь печатали в журналах чаще, имя его понемногу росло, хотя он всё-таки шел против общего течения (или стояния), и его статьи, вроде «Грядущего хама», вызывали самые разнородные отклики.

Недостаток рублей дал себя знать, когда обширную квартиру нашу, пустую, пришлось чем-то заполнить. Но мы не смутились. Прежде всего купили три письменных стола. Затем уж постели. А затем... ну, затем остальное можно было приобретать понемногу, постепенно, и самое дешевое. Так появилась у нас соломенная мебель, стоившая тогда гроши. Сколько книг перечитал Д. С. на своей «дачной» кушетке! А сколько написал на письменном столе, том самом, на котором я сейчас пишу эти строки!

Остальное обзаведенье — под стать. Пришлось еще заказать большой деревянный стол для громадного нашего салона, совсем уж пустого. Но всё было новенькое, чистое, приятное, о роскоши же мы не заботились.

Устроившись, мы уехали на Ривьеру, в St. Raphaël и в Канны. Там была уже настоящая весна. К 1 мая мы вернулись в Париж, и началось наше там житье.

2.

Говорить об этом нашем, почти трехлетнем, житье в Париже так, как раньше писала я о жизни с Дм. С. в Петербурге, т. е. хронологически, — невозможно, по многим причинам. Главное потому, что, благодаря разнообразию наших интересов, нельзя определить, в каком, собственно, обществе мы находились. В один и тот же период времени мы сталкивались с людьми разных кругов, между собой мало сообщавшихся, и мы виделись с ними отдельно, не стараясь их смешивать. Поэтому мне придется сделать скорее общий очерк этих трех парижских лет, с отдельными, часто любопытными, встречами.

Кратковременные летние из Парижа отлучки, — в Бретань, в Германию, и т. д. — общей картины не нарушали. Мои "agenda", здесь сохранившиеся (1907-1908 г.г.), только подчеркивают трудность последовательного рассказа. Я буду, однако, пользоваться этими отрывочными записями ввиду их интереса, и для восстановления некоторых дат.

Я уже упоминала, что у нас было три главных интереса: во-первых, католичество и модернизм (о нем мы смутно слышали в России); во-вторых, европейская политическая жизнь, французы у себя дома. И наконец — серьезная русская политическая эмиграция, революционная и партийная. Эти интересы были у нас общие, но естественно, что Дм. С-ча больше интересовала первая область, меня — русские революционеры, а Д. Философов увлекся политическим синдикализмом, ради которого ездил однажды в Амьен; бывал он и в Палате Депутатов.

Но так как все три области интересовали и нас троих, то мы, большею частью, виделись с людьми этих разнообразных кругов все трое (дальше всего стояли мы от чисто-политических французов того времени).

Была у нас и какая-то полудомашняя, смешанная среда. Для нее явились (сами собой образовались) наши «субботы». Русские, — французы на них не бывали, их мы приглашали отдельно, большею частью вечером. Субботы же — днем; это — старые наши друзья-писатели, конечно, неудачные эмигранты, поэт Минский, поселившийся здесь после бегства с «порук» от страха за две свои «мэонические надстройки» в газете Ленина в 1905 году, и Бальмонт с одной из очередных своих жен (которой по счету не помню), пышной и красивой москвичкой Андреевой. Бальмонт тогда быстро уехал из России после своего стихотворения «Кинжал», за которое, как его пугали, его могли арестовать. Бывали и просто русские интеллигенты, давно почему-нибудь в Париже застрявшие. А главное — приходили, часто незнакомые, люди новой эмиграции, какой не было ни прежде, ни потом. 1905 год, неудавшаяся революция, выкинули толпу рабочих, солдат, матросов, совершеннно неспособных к жизни вне России. Они работы не искали и ничего не понимали. Эмиграция настоящая, политическая, партийная, о них мало заботилась, мало и знала их. Устраивались, будто бы, какие-то «балы» или вечера в их пользу, но в общем они умирали с голоду или сходили с ума. Один, полуинтеллигент, или мнящий себя таковым, по фами-

лии Помпер, пресерьезно уверял, что он «дух святой». Другие просто врали, несли чепуху и просили Мережковского объяснить, кто такой «хамовина», о котором он писал («Грядущий Хам»).

Были и русские богатые, жившие, даже порой совсем прижившиеся, в Париже. Не старого типа «прожигатели жизни»; — если они еще водились — мы их не знали; — но другие, скептики, случайные европеисты, неудачники на родине, коллекционеры, меценаты... Одного из сыновей московского миллионера Щукина мы хорошо знали.

Жена профессора Аничкова жила здесь с дочерьми постоянно. Написала даже французский роман под именем "Ivan Strannik". У нее мы познакомились с Анатолем Франс и м-ме Caillavet, его вечной спутницей. Но не у нее, а самостоятельно сблизились мы с тогдашним "Mercure de France", я даже писала там ежемесячно о русской литературе — "Lettres russes".

В Париже, в это время, жила старшая сестра Вл. Соловьева, Марья Серг. Безобразова. (Я дружила в С.-Пет. с младшей, Поликсеной). Безобразова нередко бывала у нас со своей родственницей, у которой тогда жила. А родственница эта оказалась никем иным, как известной когда-то красавицей, на которую даже обратил внимание Александр Второй (она была сестрой милосердия в войну 1877 г.), и невестой, да, пожалуй, и единственной любовью Влад. Соловьева. Свадьба расстроилась (насколько можно судить по недавно напечатанным его письмам к ней) из-за капризов и непостоянства невесты. По капризу она вышла потом за какого-то Селевина, с которым прожила недолго. Что за странные клубки разматывает жизнь. Граф Прозор встретил у нас однажды обеих старух. Узнав потом, кто вот эта маленькая, сухенькая старушонка с поджатыми губами — признался, — что и он в свое время был страстно влюблен в «ослепительную Катю».

3.

С французами вначале мы виделись всё-таки меньше. Увлеченье Д. Ф. синдикализмом послужило нам к знакомству с Г. Лагарделем, очень известным тогда синдикалистом. Молодой, статный, чернокудрый и чернобородый, он был очень приятен особой живостью и своими зажигательными речами. Мы не-

редко ездили все трое к нему, бывал и он у нас, — не по субботам, конечно, со сборными русскими*).

Доступ в круги католические, куда стремился Дм. С., особенно же доступ в круг модернистского движенья, был очень не легок. Однако и то, что мы понемногу узнавали, было для нас ново и чрезвычайно интересно. Напоминаю, что в эти годы (1906-1907-1908) движенье еще далеко не закончилось; за дальнейшим его развитием мы следили уже издали, не переставая удивляться равнодушию французов и Франции к явлению такому значительному и важному для ее судеб.

Некоторому контакту нашему с ортодоксальным католицизмом помогла близкая приятельница наша, светлейшая княжна Анаст. Грузинская, очень милая девушка, жившая тогда в Париже. Она имела там связи, так как уже склонялась сама, в это время, к переходу в католичество*). Что касается движения модернистов, то, как я сказала, узнавать о нем, знакомиться с молодыми, примыкающими к нему, было особенно трудно. Я скажу ниже, кого из них мы знали.

Сразу по приезде в Париж, у Д. С-ча возникла мысль издать здесь французский сборник статей нас троих, касающихся России, самодержавия и недавней, ничем неокончившейся, революции. Издателя не было. Calmann Levy — мы понимали — для этого не годился. Но Дм. С. до такой степени был убежден, что сборник мы должны выпустить, что он будет издан, что мы с Д. Ф. уступили его настояниям немедленно приняться за работу. Не знаю, тотчас ли начал писать свою статью Д. Ф., но я начала свою — первую — сразу, кстати и тема у меня

---

*) Не так давно, в 36 или 37 г., Дм. С. и я встретились с ним вновь в Риме, за завтраком у тогдашнего фр. посла Шамбрэна, а потом даже были в его чудесной, стильной вилле в римской кампанье. Сначала мы его не узнали: не было уже ни длинной черной бороды, ни прежнего молодого огня. Он первый вспомнил наше давнее парижское знакомство и тотчас же стал для нас как бы тем же, столь же приятным, как тогда.

*) С ней мы впоследствии часто встречались в СПБ-ге, потом она уехала в Польшу, и в последний раз мы видели ее в 20-м году, в Вильне, когда бежали из Советской России. Она была тогда уже в одной полумонашеской католической общине (монахиней в миру). В Минске пережила большевистское нашествие, была арестована и долго сидела в тюрьме с уголовными и проститутками, не теряя мужества и светлого настроения. Кажется, через два года, в той же общине, в Вильне, она умерла — еще совсем молодая.

уже была, я всё равно ее написала бы. Называлась она по-русски — «В чем сила самодержавия». Я не умею писать длинно, и статья скоро, готовая, была предложена Д. С.-чу и Д. Ф. на обсужденье. После некоторых споров — с Д. Ф., главным образом, — статья моими содеятелями была одобрена, а тут, кстати, решилось и дело сборника: его согласился издать дружественный нам "Mercure de France."

Сам Д. С. к своей статье еще не приступал. Она должна была называться «Революция и религия». Написал он ее нескоро (почему и сборник замедлил выходом) но, в конце концов, она вышла такой удачной, почти пророческой по отношению к революции большевицкой, что цитаты из нее, приводимые теперь во французской печати, кажутся современными. Весь сборник должен был называться "Le Tzar et la Révolution."

В это время случилось, что в нашу орбиту вошел тот самый И. Бунаков, которого однажды встретили мы в редакции «Нов. Пути», — видный член партии социалистов-революционеров (эс-эров, не марксистской), в 1905 году чудом спасшийся от петли. Мы с ним сразу сблизились, да и не с ним одним, а и с ближайшими к нему партийцами (что входило в одну из трех наших задач). Бунаков, прежде всего, познакомил нас со своим другом, известным террористом Борисом Савинковым. Как могли столь тесно дружить два человека, по природе абсолютно несхожие? Бунаков был добр, мягок, почти нежен; Савинков — резок, дерзок, самолюбив, упрям, казался человеком волевым и умным. Не думаю, впрочем, чтобы кто-нибудь из нас мог правильно видеть и понимать Савинкова тогда: слишком он был для нас нов, слишком хорошо знали мы его биографию. Он принадлежал ко внутри-партийной группе с-ров, так называемой «боевой организации».

Мы знали, конечно, и раньше о «боевой организации»; но знать, что были и есть где-то террористы — одно, а видеть воочию, в собственной комнате, главу «боевой организации», подготовившего и совершившего несколько убийств почти вчера — это совсем другое. Савинков принимал ближайшее участие в убийстве Плеве, вел. князя Сергея в Москве и еще кого-то. Был недавно арестован на юге, бежал из тюрьмы и тотчас перешел границу. Просвету 1905 года не мог ему, конечно, быть полезен.

Лицо — интересное, немного ассиметричное, светлые волосы. Говорил он осторожно и очень неглупо.

Совершенно естественно, что темой наших разговоров сделался вопрос «о насилии». В моей «ажанда» несколько кратких об этом заметок. Вот одна: «Вечером Б. с Сав. Тяжелый и страшный разговор. Д. Ф. против — но я говорю абсолютное «нет». Нельзя передать режущего впечатления, которое теперь нами владеет. Да? Нет? Нельзя? Надо? Или «нельзя», но еще «надо»?...

Главная тяжесть была в том, что Савинков сам как будто чувствовал себя убиваемым — убивая. Говорил, что кровь убитых давит его своей тяжестью. И подходил к Дм. С. не то с надеждой оправданья революционного террора, не то за окончательным ему — и себе в этом случае, — приговором. Уклониться от вопроса о насилии мы не могли, — ведь мы же были за революцию? Против самодержавия? Легко сказать насилию абсолютное «нет». В идеях Дм. С. не могло не быть такого отрицания. Не толстовского, конечно, ведь Толстой не сгонял мух, облеплявших его лицо во время работы (пример русской безмерности). Но тут дело шло не о принципах, не об абсолютах: перед нами был живой человек и живая, еще очень далекая всем абсолютам — жизнь.

И наши тяжелые разговоры с Савинковым ничем не кончались. После — мы говорили о нем, и о том же, втроем. Но ни к какому нужному для Савинкова решению не приходили. Нам прежде всего хотелось вытащить его из террора. Как это сделать?

Для Бунакова всё было проще. Но он и сам был проще. Повторяю, однако, что никто из нас, ни Дм. С., к которому Савинков, главным образом, и обращался, его, как человека, вполне не видел и не понимал. А, пожалуй, и Бунакова.

Разговоры наши, к счастью, на некоторое время тогда прекратились. Пришел Бунаков, один, и сказал, что занят сейчас личными савинковскими делами, которые через несколько дней должен и нам рассказать.

Я знала, что Дм. С-ча это мало заинтересует, и заранее решила, что рассказы Бунакова, если уж нужно, будем слушать мы вдвоем с Д. Ф. Д. С. был в это время особенно занят «Павлом I» и писал он первую часть своей трилогии в новой для него форме, — драматической. Для сборника его статья была еще неготова, и я предложила, что напишу вторую статью «О насилии», — сводку некоторых наших недавних разговоров. Конечно, прочту им обоим раньше. Д. Ф. отнесся скептически, а Д. С. — обрадовался, и я принялась за работу.

Надо сказать, что в эти парижские годы мы все много

работали. Д. С., который всегда писал много, даже он за это время написал больше, чем, пожалуй, написал бы в России. Да ведь связь наша с нею, с русскими газетами и журналами, не только не прерывалась, а стала даже теснее. Книги Д. С.-ча, старые и новые, продолжали там выходить и тотчас нами получались (как и мои). Уж не говорю о количестве писем, которые мы постоянно получали. Было впечатление, что мы Россию и не покидали, и не потому, что мы были не эмигранты, могли в любой день сесть в Nord-Expresse и почти на следующий день быть в Петербурге. Нет, связь с Россией тогда не терял никто из русских. Самые серьезные политические эмигранты, помимо постоянной связи письменной и газетно-журнальной, имели возможность поехать в Россию немедленно и благополучно вернуться. Даже Савинков, в предвоенные годы, был в России несколько раз, поездки же людей менее известных совершались постоянно, на наших глазах. Что это, слабость русского правительства, или ловкость эмигрантов? Ни то, ни другое. При любом правительстве (кроме большевицкого) это обстояло бы так же. Россия тогда была. Какая — другой вопрос, но была. И связь с ней не мог терять никто.

4.

Разнообразные наши работы не мешали нам знакомиться с разнообразными людьми и стараться узнавать то, что нас интересовало. По совету и рекомендации милой Стази Грузинской отправились мы однажды, все трое, к ректору парижской семинарии, abbé Portal. Присутствовало там немало других аббатов и, кажется, «эвэков». Дм. С. со свойственным ему увлечением, стал тотчас же говорить о своих идеях, о вселенской церкви, о том, что христианство должно войти в мир, о неправде папизма...

Замечу, что тогда о модернизме мы еще не знали всего, что узнали после, и что на Порталя и его гостей мы смотрели как на верных Риму. Они, однако, во всем с Дм. С. вежливо соглашались. Говорили только, что вот, мы и есть представители вселенской церкви и все чувствуем себя равными друг другу... А как же римский первосвященник, как же папа и папизм? На это последовал странный ответ, неожиданный, но все мы его слышали: "Le Pape? C'est un abus."

Может быть, это не были ортодоксы? Мы этого так и не узнали. Вдолге потом стало известно, что аббат Порталь на-

писал какую-то книгу, с которой поехал в Рим, получил от Святейшего Отца много ей комплиментов, полное одобрение, но... с прибавкой, что завтра же книга будет под index'ом. Почему? А потому, что Церковь должна двигаться вперед вся вместе, и пока последний верующий не догонит идущего впереди — движенье не может быть одобрено Римом.

Имя аббата Портала ни разу не упомянуто среди модернистов. Однако то, что эти аббаты нам сказали, — "le Pape c'est un abus" и «мы все равны», — очень похоже на слова нео-католиков. Впрочем, общее движение было широко и сложно, а в эти годы, уже гонимое Римом, оно, в лице своих адептов, естественно, не желало открываться каким-то иностранцам, да еще схизматикам (православие). Лишь мало-помалу мы кое в чем разобрались. Дм. С-ча поразила близость некоторых идей к его собственным, а также странная близость несмотря и на большую разницу, этой борьбы за христианство с исторической церковью — к тому, что происходило у нас, в Петербурге, на наших религиозно-философских собраниях. Масштаб был, конечно, другой. Зато уклонения, здесь скоро обозначившиеся, оказывались довольно странными... Начало движения — это Поль Дежарден, преподаватель коллежа Stanislas, написавший в 1890 г. "Union pour action morale". Успех его начинание имело такой, что в 1906 году Desjardin приобретает старое аббатство Pontigny (Coenobium) для "Entretien d'été". Однако, он же, начинатель, уже тогда настоящему нео-католичеству изменяет, хотя P. Sabatier (о котором Léon Chaine сказал, что он духовно принадлежит к церкви вселенской) еще с ним. С ним же и Père Laberthonnière и его всемогущий секретарь, Louis Canet, в редакции "Annales de philosophie chrétienne".

Père Laberthonnière'a мы хорошо знали, бывали у него, и он у нас. Мы знали, что он принадлежит к движению; но он был очень осторожен, никогда до конца не высказывался. Может быть, потому, что уже был тогда в опале и под угрозой разделить судьбу аббата Loisy, как известно из церкви изверженного. Этот, насколько мы о нем слышали и его читали, извержения и был достоин.

Интересно, что Рим в общем движении не разобрался, не увидел, что оно разделилось на два течения; дежарденовское, второе, смешал с подлинно нео-религиозным, с нео-католиками. И, главное, тогда, когда дежарденовское уже перешло к «ультра-христианству», к «Религии Будущего», где не только Христа, но и Бога уже не оказывалось (Marcel Hebert объ-

явил личного Бога идолом, другие говорили, что Бог еще не проявился, а только б у д е т). Нео-католики же утверждали, что, хотя религия и находится в церкви, но клерикализм еще не религиозность (Beranger, Jean Honcey и др.), что догматы подлежат раскрытию, движению (три заседания были посвящены этому в СПБ-ских Собраниях), хотели, наконец, «омирщить» христианство, возвратив ему первичную силу и правду. И вот, они, как бы притянутые вначале Дежарденом, начинают спрашивать себя, как же отнесется к их чаяньям католичество? Их взоры обращены к Риму, они внимательно следят за молодым католичеством во Франции.

Папский "bref" к епископу Гренобльскому после конгресса католической молодежи в Гренобле окрылил их, вызвав надежды на отклик Рима (движение в церкви, le renouveau). Но это было лишь осторожное выжиданье. Между тем, движенье разросталось, подготовка к парижскому конгрессу 1900 года была поставлена широко. Тут-то и разразилась римская гроза над правыми и виноватыми. Конгресс всё же состоялся, но... б е з католического духовенства (кроме троих смельчаков). Это было начало разгрома Римом всего нового, несмотря на то, что и французская элита того времени была за движение модернистов: оно захватило Ecole Normale и Сорбонну.

Наше русское религиозное движенье, наши Собрания и разговоры с православной церковью, кажутся перед всем этим каким-то «захолустьем»... Но Дм. С. всё-таки утверждал, что Церковь православная, — насколько она внутренно свободнее! Если разговоры, — такие же, если не более смелые, — запретила светская власть, — это лишь внешнее насилие. Сама же церковь никого не осудила, никто из духовенства не пострадал...

Это, конечно, верно. Жаль только, что ни у нас, ни в Европе, из движения новых идей ничего не вышло. У нас, впрочем, есть оправдание: неслыханная революция, в которой пострадала, в первую голову, вся православная церковь, — с поголовным физическим истреблением духовенства.

Замечу, что когда мы вернулись в Петербург, у нас было, в годы перед войной, что-то вроде дежарденовского движенья в обществе в карикатурном виде, — такого, каким оно явилось потом, т. е. с «будущим» Богом (богостроительство), с гуманизмом и т. д. Мы много еще чего узнали после о модернизме, но это движение достойно было бы особого описания.

Тогда, в Париже, кроме abbé Laberthonnièr'a, маленького, черненького, живого и скромного, мы знали, из примыкавших

так или иначе к модернистическому движению, очень немногих: Le Roy, Бергсон... один пастор, не помню имени. С Бергсоном, звезда которого быстро восходила, был хорош граф Прозор; а на блестящих лекциях его, всегда переполненных, католическое духовенство часто преобладало. Всё, что я пишу здесь о французском модернизме, так бегло (иногда может быть неточно), я пишу лишь попутно, и для тех, кто его не знал или о нем забыл. Сомневаюсь, впрочем, чтобы для большинства французов современных это могло иметь какой-нибудь интерес.

Во французском кружке, который тогда у нас собирался, мы на такие темы разговоров не вели. Но после наших «субботов» со странной смешанностью русских, эти французские собрания были отдохновенны. В моей ажанде записано: «Сегодня вечером — любопытно: Dumur, Severac, V. Bach, Лагардель (какой он приятный!), гр. Прозор, А. Бенуа (случайно), Оливье, Баруцци... два юноши, — не помню фамилий. Интересные для их изученья разговоры (философия и социализм). Только Баша я не люблю».

К этому Виктору Башу и Дм. С. не питал большой симпатии, но Баш к нему особенно тяготел тогда. Мы (опять по ажанде) у Баша однажды обедали, встретили там декана Круазье и какую-то Mlle Дикмэ (?). Ее Дм. С. нашел «страшной».

Кто такой Оливье и почему он у нас появился, — решительно не могу вспомнить. В ажанде моей от 10 дек. 1907 нахожу: «Были на лекции Лагарделя. Оттуда — в кафе с Берт, Оливье и др. Дм. С. протестовал и удивлялся, что Лагардель объявил Маркса — синдикалистом».

Может быть, Оливье был синдикалист, как Лагардель. Прежде чем вернуться к нашим встречам с русскими революционерами и к другим эпизодам нашей парижской жизни, — к лекциям Дм. С-ча, между прочим, — хочу рассказать об одном вечере, не знаю кем устроенном, в пользу русских безработных. Я и Дм. Серг. в нем участвовали вместе с Верой Фигнер и... с Анатолем Франс.

Вероятно, устроила его М-ме Аничкова, — Ivan Strannik — потому что именно у нее мы раньше видели, и не раз, Ан. Франса. Видели... и слушали, ибо там, где он бывал, только и можно было, что — не говорить с Ан. Франс, а его слушать. В обычной позе, облокотясь на камин, он говорил, говорил... очень приятно, остроумно, обо всем и ни о чем; остальные, сколько бы их и кого тут ни было, имели свое определенное дело: молчать и слушать мэтра. Mme de Caillavet, вечная его

спутница (и, кажется, крест его жизни) как будто что-то говорила иногда, а может быть и нет.

Не помню, к сожалению, в какой зале был вечер (тогда, ведь, были другие залы в Париже для лекции и вечеров) но зала большая и полным-полна. — Какой публикой? Всякой, главным образом русской. Ведь Вера Фигнер и мы с Дм. С. читали по-русски...

Ан. Франс на эстраде не выигрывал: около камина, в интимной обстановке, он казался и стройнее, и увереннее, и голос его звучал мягче. Вера Фигнер, немолодая, с длинным (когда-то красивым) лицом, неловкая и застенчивая, в белом платье, читала какие-то незамысловатые вирши. Да ведь не в поэзии была ее слава! Мне помнится, главное, артистическая комната: длинный стол с угощеньем и Вера Фигнер рядом с Mme de Caillavet она (раз тут Анатоль!) разыгрывала хозяйку. Ей было, конечно, известно, что эта неловкая дама провела 20 лет в заточении, — dans une forteresse! Она решила ее ободрить, быть любезной, и ничего не нашла лучше, как приняться к ней приставать:

— Vous êtes une héroïne, Madame, n'est-ce pas? Vous êtes une héroïne?

Что могла ей ответить бедная Фигнер?

— Да, мадам, я героиня? или «нет, не героиня, оставьте меня в покое?»

Кажется она не ответила ровно ничего. Во всяком случае, Mme de Caillavet осталась недовольна.

5.

Дмитрий Серг. был при конце своей трудной работы — трагедия Павла I, — когда моя статья «О насилии», предназначенная для сборника и бывшая как бы сводкой наших разговоров между собой, была кончена. Я ее прочла обоим, Д. С-чу и Д. Ф., ожидая возражений, главным образом от последнего. У нас были разные методы писанья, его природная стихийность протестовала против моей методичности. Возражений от Д. С-ча я не ожидала: ведь это было, в главных чертах, то, к чему, в наших общих разговорах, пришел, наконец, и он.

Мои догадки оказались верны. Д. С. принял статью полностью как если б сказанное в ней было и его собственное. Д. Ф. возражал, но, не имея своего положения, чтобы противоставить нашему, принял, в конце концов, наше. А Д. С. решил сделать из этой статьи свою лекцию первую в Париже. Лекция

и была устроена. Однако... в назначенный день она не состоялась. Прибегаю опять для точности к моей ажанде:

> «16 февраля, Пятница. Лекция Дмитрия (мое «насилие») не состоялась. Толпы, толпы народа. Гвалт и лом, улица запружена. Дмитрия стиснули тесным кольцом. Кажется, дрались, наконец выбили стекла — и всё кончилось. Полицейские очистили залу. Мы едва вылезли. Пошли по запруженной улице в кафе с Кричевским (будущий оппонент Дм., соц. демократ-еврей, будто бы философ). Были еще два «эмигранта», солдат и матрос. Лекцию решили перенести в какую-нибудь другую, громадную залу.

Через пять дней, 21 февраля, эта лекция и состоялась... в гигантской Salle d'Orient. Дикая масонская зала, вся красная с золотом. (Очевидно, в те годы она сдавалась всем желающим). Сошло всё хорошо. Было чуть не 1000 человек. А возражения пришлось перенести еще на другой вечер.

Среди оппонентов был, незадолго до того неожиданно явившийся к нам Андрей Белый (Боря Бугаев), тот самый молодой московский поэт и писатель, что жил у нас в Петербурге, наезжая из Москвы, и слушал с нами Гапона 9 января в Вольно-Экономическом О-ве. Мы и не знали, что он заграницей. Явился он в Париж после шатанья по Германии, — с трубкой, в пелерине и в гетрах. Оказывается — на смерть поссорился с первым своим другом, поэтом Блоком, в жену которого был влюблен. Но поссорился не из-за жены, а из-за пасквиля, который сам же на Блока, ни с того, ни с сего, написал. Удивительное это было существо, Боря Бугаев! Вечное «игранье мальчика», скошенные глаза, танцующая походка, бурный водопад слов, на всё «да-да-да», но вечное вранье и постоянная измена. Очень, при этом симпатичен и мил; надо было только знать его природу, ничему в нем не удивляться и ничем не возмущаться. Прибавлю, чтобы дорисовать его, что он обладал громадной эрудицией, которой пользовался довольно нелепо. Слово «талант» к нему как-то мало приложимо. Но в неимоверной куче его бесконечных писаний есть, кое-где, проблески гениальности.

Если я отмечаю его приезд в Париж, то вот для чего: он поселился недалеко от нас, в маленьком пансиончике около rue (тогда "rue") Mozart, ежедневно приходил к нам на целый день, но завтракал у себя, и — за одним столом с Жоресом. О Жоресе он нам постоянно твердил, рассказывал, что ведет с ним длинные разговоры, хотя и тогда, да и сейчас

трудно себе представить, о чем мог «длинно» разговаривать Жорес с таким абсолютно ему чуждым существом, как Боря Бугаев. Наконец, Боря объявил, что Жорес хочет, будто бы, с нами познакомиться и просил нас притти в его пансиончик в таком-то часу, сейчас после завтрака. Д. Фил., очень Жоресом интересовавшийся, тотчас же согласился. Дм. С. тоже. (Мы знали Жореса только по его публичным выступлениям. Оратор он был, надо сказать, огненный).

И вот характерная черта Бори Бугаева — Андрея Белого: через долгие годы, в толстом томе своих «воспоминаний», он с мельчайшими подробностями описывает это наше, им устроенное свиданье с Жоресом: что сказал Дм. С., как он Жоресу не понравился, что именно говорила я, как смотрела на Жореса в лорнет, в каком даже была платье... между тем, меня в этот день в пансиончике совсем и н е б ы л о. Больная очередным бронхитом, я осталась дома, ходили только Д. С. и Д. Ф.... В одном из своих сборников статей Дм. С. очень интересно описывает эти свои два кратких знакомства: с Жоресом и Ан. Франсом. После большевицкой революции Боря был некоторое время в Берлине (где, говорят, много пил и танцовал), но потом добровольно вернулся к Советам. Было не разобрать, предан им или нет, да это всё равно: уж как был предан поэт Валерий Брюсов, и как эту преданность выказывал, — им-то, большевикам, ни он, ни Андрей Белый не были нужны. И бедный Боря там умер — в ропоте и нищете.

В последний раз мы его видели в 1917 году, во дни мартовской революции у нас. Он тогда только что приехал в Россию после четырех лет пребывания, с женою, в Дорнах, у Штейнера, как самый преданный его ученик. Но вернулся тогда уж с дикими своему «учителю» проклятиями (вместо недавних дифирамбов) — что нас, при знании Бугаева, и не удивило. Кстати: Herr Doktor Штейнер приезжал однажды в Париж, когда мы там жили, как-то поздней весной. Мы пошли на одну из его лекций — в частном доме, на rue Raynouard, в rez-de-chaussée небольшого особняка. Темноватая зала, переполненная пожилыми дамами, замирающими от благоговения перед «пророком». Высокий, жилистый, бритый, говорил он уверенно и красноречиво, если не вдохновенно. Мы пошли потом запивать эту лекцию кассисом в соседнее кафе, вместе с известным тогда Шюрэ и нашим другом, художником Алекс. Бенуа.

А через несколько дней мы встретились со Штейнером вечером, у русского поэта Макса Волошина, тогдашняя жена

которого была ярая штейнерианка. Мне помнится это свиданье спором, который возгорелся между Дм. С-чем и Штейнером. Спор, на немецком языке, шел о Евангелии, и, конечно, добром кончиться не мог, ввиду глубоко отрицательного отношения Дм. Серг. и к теософии, и к ее западной форме — антропософии.

***

Здесь я хочу упомянуть об одном нашем частном парижском знакомстве, которое имело для Дм. Серг-ча большое значение и оставило след на всю его жизнь.

Как-то у Mme Ivan Stranik, жены проф. Аничкова и приятельницы Анатоля Франса, днем, мы встретили одну русскую даму, М. Н. Д., еще довольно красивую, необыкновенно живую и остроумную. Мы были там вдвоем с Дм. С., без Д. Ф. Когда мы вышли, вместе с этой дамой, М. Н. Д., оказалось, что мы живем в двух шагах друг от друга, в Auteuil. На фиакре с зеленым фонарем (зеленые фонари обслуживали наш quartier) мы отправились отвозить нашу новую знакомую. Она попросила нас зайти к ней, но было поздно, и мы зашли только в сад ее виллы. В саду нас встретила ее дочь, с которой мы тут же и познакомились. Это была высокая, совсем молодая девушка, с таким прелестным, нежным, чисто-русским лицом, что мне подумалось невольно: «Вот такой была, верно, Маша, капитанская дочка — у Пушкина». Мать и дочь жили в этой вилле вдвоем. Жили они в Париже подолгу, но непостоянно. За время нашего пребыванья они уезжали в Петербург и возвращались несколько раз. После случайного нашего знакомства, мы все стали часто посещать близкую виллу. По-соседски, приходили постоянно и они к нам. Княжна Грузинская оказалась их приятельницей.

«Пушкинская Маша» (мать звала ее Марусей), своей тихой, полу-женственной, полу-детской прелестью очаровала нас всех. Скоро мы поняли, как разнится ее характер от материнского. М. Н. любила свою единственную дочь по-своему, — властно, ревниво и деспотически. В таких живых натурах черты деспотические не редкость. Дочь любила ее нежно и была мягким воском в ее руках, постоянной маленькой девочкой. Такой она и осталась на всю жизнь, несмотря на свое замужество и троих детей. С ними и опять вместе с матерью, но без мужа, она впоследствии жила в Париже и в эмиграции. Когда обе дочери ее вышли замуж, а сын уехал служить, она осталась одна с матерью, до самой ее смерти.

Я говорю об этом прелестном существе, потому что моя «капитанская дочка» была г о л у б о й любовью Дм. С-ча. В ней было для этого всё: нежная женственность, покорная беспомощность и даже какое-то вечное «девичество». Я думаю, Д. С. и чисто-русскую душу ее ощущал.

Он любил в жизни немногих людей. Но к кому бы и какая бы у него ни являлась любовь сердца, — она никогда больше его не покидала. Я уже не говорю о его любви к матери. Ни ко мне. Но и к Философову, расставшемуся с нами после 15-тилетней совместной жизни, его чувство до конца оставалось прежним. Прелестную же девушку с круглым милым личиком он не забывал никогда. Мы мало встречались в Петербурге, после ее замужества, — мы жили в разных кругах общества. И здесь, в эмиграции, он не видел ее иногда год-два, потом опять встречались, она приходила к нам, или мы шли к ней и к ее матери, когда мать еще была жива.

Она, конечно, чувствовала его отношение и встречалась с ним всегда радостно... как теперь я с ней — и она со мной.

6.

К концу второго года нашего пребыванья в Париже «Павел I» Дм. С-ча был окончен, и он писал уже статьи для будущего сборника «Не мир, но меч». И готовил в окончательной редакции свою статью для сборника французского (он набирался). Но почему-то Д. С. находил эту статью неподходящей для публичного чтенья по-русски, среди русской аудитории, а потому для второй своей лекции выбрал опять мою — о самодержавии.

Лекция прошла, судя по моей тогдашней записи, удачно, особенно удачно было заключительное слово Дм. С-ча. У меня не отмечено, в какой зале это происходило, но не в Orient, а вероятно, в обычной зале-бараке на Choisy, где тогда читалось большинство русских лекций. Два раза читал и Д. Ф., а как-то раз — Минский, со скандалом.

Минскому вообще не везло. На одном стихотворном благотворительном вечере он решился прочесть свое стихотворенье, написанное еще в России, должно быть, в то время, когда он старался удержаться в ленинской газете, отчасти написанное и так, по озорству. Даже просто как стихи — это была дрянь. Первая строчка:

«Пролетарии всех стран — соединяйтесь!»

И далее, по трафарету, тем же танцующим ритмом, над

которым мы издевались. Он — ничего, не обижался. Но публичное чтение вызвало решительный скандал. На лекции же его попросту началась драка, кто-то крикнул из задних рядов: «Г-н лектор, тут бьют!» И лектор, схватив со стола бумаги, удрал через заднюю дверь. Не забудем, что среди тогдашней русской публики много было солдат, матросов, и, если угодно, пролетариев, но коммунистами они не были и о марксизме понятия не имели.

Был ли Минский большевиком? Ничуть. Большевицкой России он не видал, неудавшийся его газетный марьяж с Лениным в 1905 году мало чему его выучил. А всё-таки к большевизму его как-то тянуло...

А что же наше сближенье с политическими эмигрантами, революционерами-народниками?

Относительно Савинкова — неприятный дивертисмент. Бунаков, придя, с сокрушеньем стал рассказывать вот об этих савинковских «личных делах». Бунаков был по природе добродушный всепримиритель, не всегда успешный, но старательный: уж очень огорчался, когда в его «хозяйстве» (в партии) начинались семейные истории, некрасивые нелады. А тут вышло дело особенное. Савинков был женат на дочери очень известного в России, старого писателя-народника, Глеба Успенского. (В юности, когда Д. С. народничеством увлекался, он даже к этому Глебу Успенскому специально ездил, чуть ли не в новгородскую губернию).

Савинков женат был давно, жена его, с двумя детьми, сыном и дочерью, мирно жила в Петербурге, их не беспокоили (правительство, ведь, было не большевицкое!) Но в последний год, когда Савинков бежал из тюрьмы и поселился в Париже, и близкой «работы» для него не предвиделось, он решил выписать семью к себе. Жена с детьми приехала, и они поселились в небольшой квартирке на rue La Fontaine, в доме как раз против нашего, окна в окна, через пустырь, который тогда отделял улицу Théophile Gautier от параллельной La Fontaine. Оттуда из пустыря, только и слышно было, что пели петухи.

Всё шло по-хорошему, пока Савинков вдруг не влюбился. И обернулось это весьма серьезно. Наивный в своем добродушии Бунаков, давно к тому же знавший и любивший Веру Глебовну, жену С-ва, стал умолять друга оставить новую любовь, сохранить семью. И пришел нас просить его поддержать.

Напрасно мы с Д. Ф. уверяли его, что лучше никому в такие дела не входить, Б. настаивал. Сказал, что Сав. сам придет говорить с нами об этом.

Мы Веру Гл. знали. У нее было измученное, трагическое лицо, со следами прежней красоты. Конечно, ее было жалко, но всё же эти интимные дела нас не касались.

Сав., однако, пришел, и разговоры начались. Пишу об этом ради одного обстоятельства, которое отчасти рисует образ этого человека.

Слушая долго, молча, его разговор с Д. Ф. (Д. С-ча не было), я, наконец, заметила, — без упрека, равнодушно: «Однако, я вижу, вы довольно слабый человек». Он побледнел как смерть, так что Д. Ф. испугался, вызвал его в другую комнату, где — рассказывал он мне потом — стал его успокаивать, уверять, что я сказала такие слова не думая, случайно, и т. д. А после — Д. Ф. меня же стал упрекать в неосторожности и в незнании чужой психологии.

Но я Савинкова давно перестала бояться, история была мне противна, раскаянья я не почувствовала. И с глубоким недоверием отнеслась к сообщению Бунакова, когда, через два дня, он пришел, радостный, объявить, что друг от новой любви отказался, жену не покидает.

Прошло некоторое время. Савинков пригласил нас всех к себе, чтобы прочесть нам свои «воспоминания» о Каляеве (член «боевой организации», исполнитель «дела» вел. кн. Сергея, друг ближайшего участника в этом «деле» — Савинкова).

Факты, приводимые в «воспоминаниях» — потрясающи. А как это было написано! Не то, что неумело, пусть бы! Но с оскорбительным, для фактов и для памяти этого человека, безвкусием, с пошлой претенциозностью, с подражанием — неизвестному кому. Пшибышевскому, что ли. Я знала, что Д. С. и Д. Ф. это видят, и, превратившись в литературного критика, всю правду автору серьезно высказала. Он так же серьезно меня выслушал, без всякой обиды, — что меня даже удивило; но мы не знали тогда, что этот человек обладал одной способностью... не умею ее назвать: не «мимикрией», ибо это была не чистая, голая подражательность, а скорее способностью схватывать на лету и усвоять всё, что он только мог сделать своим и что могло, думал он, ему пригодиться. Суть моей критики была такая: «если хотите писать — пишите п р о щ е, до последней возможности просто, думая лишь о том, ч т о вы хотите сказать, а не к а к вы это скажете».

Не всем можно было дать такой совет, но ему — следовало.

7.

Как ни близка была наша связь с Россией, — мы, в начале третьего парижского года, серьезно стали подумывать о возвращении. Отчасти и потому, может быть, что связь была так близка: каждый по-своему — мы чувствовали, что в России творится неладное, и тосковали.

Первая Дума, когда интеллигенция в Думу, было, поверила, — оказалась тотчас разогнанной; вторую тоже скоро разогнали; третья была уж откровенно-комедийной. Сестра моя Татьяна писала об усилении репрессий. Она ж рассказывала, что в литературных и политических кругах происходят какие-то нелепые и кощунственные сборища, вообще какой-то болезненный хаос.

Нас задерживало в Париже кое-что внешнее — и кое-что внутреннее. Внешнее — это, во-первых, намеченная французская лекция Дм. С-ча в Ecole des Hautes Etudes. (О ней, когда она состоялась, у меня записано только, что Дм. С. читал очень хорошо, а председательствовал V. Bach). Во-вторых — задерживал нас «Павел I», его перевод и предполагавшееся французское издание (по-русски он еще не вышел, да Д. С. хотел и напечатать его раньше в русских журналах). Кроме того, появились разные соблазнители, уверявшие Дм. С-ча, что возможна постановка драмы на какой-нибудь парижской сцене, и устраивавшие для того наши свиданья с будто бы полезными людьми. Д. С. и сам не очень-то в это верил, но так как в России ни о чем подобном нечего было и мечтать, то, когда перевод был готов, не отказывался читать отрывки в тех или других местах. Между прочим, не знаю, как — но именно благодаря вопросу о «Павле», кто-то нас познакомил с Léon Blum'ом. Кажется, Блюм тогда и депутатом еще не был, а какую связь имел он с театром — неизвестно. Было лишь известно, что он очень богат и где-то имеет фабрику шелковых лент.

Мне помнится только наш у него завтрак. Пышная вилла, кажется — недалеко от парка Monceau (точно не знаю). Великолепно сервированный стол, цветы, хрусталь, куча незнакомых нам французов. Жена (которая была у него в тот год), изящно одетая и всё-таки незаметная. Я бы наверно помнила, о чем шли разговоры, если бы они были интересны, или если бы сам Блюм меня заинтересовал. Но даже характерная наружность его показалась мне ничтожной. Его кот был интереснее. Громадный ангорский, он появился при конце завтрака,

тотчас же властно вскочил на стол и стал медленно проходиться между хрустальными рюмками с такой ловкостью, что ни до одного стакана не дотронулся, ни одна рюмка не зазвенела. Мне почему-то подумалось, что если б Леон Блюм родился котом, он наверно с такой же ласковой ловкостью прохаживался бы по чужим столам.

А внутренняя задержка в Париже — это наши друзья-революционеры. Дм. Серг. не сомневался, что революция в России будет, что сделают ее, может быть, вот эти самые революционеры-народники, но что им не хватает религиозного, христианского самосознанья, хотя по существу они к христианству близки. Бунаков, пожалуй, к христианству и был по природе склонен (или к христианской морали), несмотря на свое еврейство. В Савинкове же, как и в других, начиная с Веры Фигнер, ни малейшего христианства пока не замечалось. Мы с В. Фигнер, когда она приходила к нам, ни о чем «божественном» и не заикались. Но вот явится к Дм. С-чу Савинков, скажет с пышностью, что ему — «либо ко Христу, либо в тартарары», и Д. С. верит, идет, глядишь, к нему вечером один, что-то ему долго рассказывает, на что-то в нем, на какое-то просветление, надеется...

Конечно, и Дм. С-чу было неприятно (хотя не очень в С-ве разочаровало), когда в один прекрасный вечер явилась Вера Глебовна, жена, с особенно измученным лицом и сказала, что больше не может, уезжает с детьми в Россию, оставляя «его» новой жене, с которой он и не думал порывать. Нас с Д. Ф. это ничуть не удивило. Но казалось (мне, по крайней мере), что это просто эпизод дурного тона, и если слабость, то именно в известном отношении, в любовном, — где все бывают слабы. В революционную же силу воли Савинкова и я тогда верила. Вообще он мне казался человеком интересным и значительным, интереснее Бунакова. Д. Ф. симпатизировал больше Бунакову, а С-ва как-то сторонился. Впрочем, все мы тогда воображали, что можем им в чем-то идейно помочь, и когда они нас уговаривали еще остаться, не уезжать, мы на эти уговоры поддавались и время отъезда откладывали.

Я могла бы нарисовать несколько портретов других тогдашних революционеров-эмигрантов, как Книжник-Ветров (считался анархистом) или старушка Ков-ская, «экс» (участвовавшая в экспроприациях) — да мало ли еще кто. Но это не так интересно. Отмечу только, что мы бывали у «вдов» казненных, — они жили тогда вместе, мирно и как-то благородно. Прелестна была одна, не вдова, а невеста не казненного, но

погибшего на каторге Сазонова (убийцы Плеве), Мария Прокофьева. Хрупкая, нежная, тихоня, — «чистейшей прелести чистейший образец», как мы ее называли. Она тоже была в Сибири, — «по царскому делу», — и оттуда бежала. У нее глаза смотрели как-то «по-нездешнему». Напомнили мне глаза Марии Добролюбовой, сестры того старинного, яростного «декадента», который вдруг, всего «совлекшись», скрылся в русском море сектантства. Та Мария тоже была революционерка, после тюрьмы заболела и рано умерла.

Мог ли Дм. С., и как, идейно помочь революционерам — это остается под вопросом. Но что я помогла Савинкову, его писаньям, своей резкой критикой его дебюта — это скоро выяснилось. Он на-лету схватил мои внешние советы и принялся, им следуя, писать роман. С самого начала это было уже сделано иначе и лучше, нежели его «воспоминанья». Скажу кратко: писал он, конечно, себя, свою революционную жизнь, а идея всего романа — взята из тезисов Дм. С-ча к его лекции «О насилии» (текст тезисов недавно нашелся здесь). Герой романа, несмотря на давящую тяжесть крови, которую проливает, не погиб, пока проливал ее не ради себя, а «во имя» чего-то высшего. И тотчас погиб, духовно и физически, когда убил на дуэли какого-то офицера ради личного интереса, для себя. Роман читался нам по частям, и автор чудесно понимал и воспринимал всякое замечанье. Заглавие, довольно нелепое, я ему переменила, назвав роман «Конь бледный» (с эпиграфом из апокалипсиса). А псевдоним, тоже неинтересный, предложила заменить одним из своих, под которым недавно написала статью в «Полярной звезде» (журнал, уже прекратившийся). Всё это он с радостью принял. Роман мы увезли в Россию и напечатали его в «Русской мысли». Так родился писатель В. Ропшин... к радости многих злых критиков, но к своей собственной, главным образом*).

З. Н. Гиппиус.

---

*) Дальнейшую судьбу этого «писателя» (да и человека) я отмечу впоследствии. Здесь скажу только, что он пытался после подражать себе же — романисту. Написал «Конь вороной» (так был, очевидно, ушиблен первым «Конем»), но это было уже слабо и ненужно.

16 НОЯБРЯ

16 ноября 1941 года германские войска, развернув против Западного фронта 13 танковых, 33 пехотных и 5 мото-пехотных дивизий, начали второе генеральное наступление на Москву. Противник имел целью, путем охвата и одновременного глубокого обхода флангов фронта, выйти нам в тыл и окружить и занять Москву. Он имел задачу занять Тулу, Каширу, Рязань и Колонну — на юге, далее занять Клин, Солнечногорск, Рогачев, Яхрому, Дмитров — на севере и потом ударить на Москву с трех сторон и занять ее.

Из Оперативной сводки Советского Информбюро от 13 декабря 1941 г.

День 16 ноября был морозный. Над полями и перелесками Подмосковья вился тонкий, сухой ветер, стряхивая с берез иней, наращивая голубые наструги вдоль проволочных заграждений, заваливая сыпучим, игольчатым снегом противотанковые рвы и берега Ламы. По прифронтовой дороге Клин-Волоколамск, прикрытой правым флангом 16-й армии ген.-лейтенанта Рокоссовского, текла, шипя, поземка, и овеянные мелкой снежной пылью, двигались к передовым позициям войска. В серой рассветной дымке шла тяжелоногая пехота: волочила на лямках поставленные на лыжи станковые пулеметы, горбилась под тяжестью круглых минометных плит, длинных противотанковых ружей. Тянулись обозы, скрипя полозьями. Пыхтели, гремели цепями на колесах полуторки-газушки; в радиаторах закипала вода. Щелкали копытами, засекаясь, кони: пробегал на рысях эскадрон. Люди на дороге смотрели кавалеристам в след и, с трудом раздирая иззябшие губы, говорили: «Доваторцы...»

— Отдохнем, что ли, Михалыч?

Юхнов остановился на пригорке и, оглянувшись на меня, приподнял жердину, другим концом лежавшую на моем плече.

На жердине, на толстых лохматых веревках, висели два небольших, но тяжелых, плотно сколоченных ящика. Поставив ящики на снег, Юхнов отвернул полу шинели, достал кисет и, повернувшись к ветру спиной, скрутил цыгарку. Присел на ящик и прищурился маленькими медвежьими глазками на большое село, лежавшее внизу, под косогором, в красноватом свете раннего, только-только вылезавшего солнца. По дороге, расчищенной от сугробов, стекали к селу люди, лошади, повозки, производя тот особенный, негромко рокочущий шум, который всегда сопутствует передвигающимся войсковым частям.

— Братья-славяне! Глянь-ка, Михалыч, какое тут шествует войско!

Из ложбинки подымалась упряжка мулов, тянувшая пушку, за ней другая, третья... Мулы шли понуро, черные спины их дымились легким паром, длинные, острые уши торчали одеревенелые, покрытые белым инеем. Обмерзшие колеса пушек не крутились, заморенные мулы с трудом брали горку. Орудийная прислуга хваталась за колеса, пособляя мулам, переругивалась на гортанном, клокочущем языке. Так горцы на Кавказе протаскивают на руках по обрывистым, каменистым дорогам арбы.

— Теряева слобода?

Верхом на подседланном рыжем конишке, командир батареи остановился и, обращаясь к Юхнову, показал плеткой в сторону разбитого, наполовину выгоревшего села. На молодом командире была ватная телогрейка с отложным воротником; химическим карандашем на воротнике были начерчены фиолетовые квадратики — лейтенантские «кубари». Из-под шапки-ушанки, надетой набекрень, свисал кудрявый обиндивевший чуб; опушенные белым брови и ресницы, казалось, были наклеены на широком, медно-красном, точно ошпаренном лице.

— Она самая, — ответил Юхнов и посмотрел с любопытством на лейтенанта. — Где это вы таких братьев-славян набрали? Армяне, что ли?

— Азербайджанцы. На персидской границе, говорят, стояли. А вы — курсанты? Поди, табачком богаты?

Юхнов достал кисет. Лейтенант, сутулясь в седле, набил и запалил короткую трубочку.

— Мне их третьего дня на марше дали. По-русски ни-бени-ме, а пушки... видишь, мортиры горные. Где же тут, под Волоколамском, горы? Ну, бывайте здоровы!

Мохнатый конишка шарахнулся от плетки, махнул куцо

обрезанным хвостом и, кидая снежные ошметки из-под копыт, поскакал под откос, куда сползала на мулах батарея. Провожая глазами коротко-стволые, зевластые мортиры, Юхнов засмеялся:

— Вот тебе и резервы, Михалыч... воюй, как знаешь! Последние... оскребыши! Помнишь, военпред на московской фабричке говорил: «докатимся до точки». Куда уж дальше? До того докатились, что горную артиллерию от персидской границы к Москве стянули... а какая от нее тут польза?

— Неужели ты думаешь, что еще отступим? Такие морозы ударили, такие снега... может, вымерзнут фрицы, как тараканы?

Цыгарка Юхнова вспыхнула синим огоньком и погасла. Бросив окурок в снег, он поднялся, натянул на уши пилотку, распяленную на крутолобой, как чугунное ядро, голове; зимнего обмундирования — шапок, валенок, полушубков — нам еще не выдали.

Юхнов был высок, кряжист. Ноги его тяжело переступали по снегу; ветер заметал следы. Он старался шагать ровно, чтобы ящики не качались на жердине, не сползали на меня. Ночью нас с Юхновым разбудили, выдали буханку хлеба, два ящика тола, моток детонирующего шнура и моток бикфордова, коробку капсюлей и велели итти в монастырь Иосифа Волоцкого, в полутора километрах от Теряевой слободы, заминировать там электростанцию и взорвать, «если будет необходимо».

По крутому спуску, среди фыркающих грузовиков, скрипа полозьев, говора, понукания, матерной ругани, мы подошли к селу. Теряева слобода, где в октябре стоял штаб Рокоссовского, была разрушена бомбардировками. В утреннем морозном тумане, наполовину занесенные снегом, то оголенные ветром, чернели пожарища. Деревянные избы выгорели, остались только печи с их неожиданно-странно высокими трубами. В розово-янтарном свете солнца трубы торчали, словно воздетые к небу руки.

Тонная бомба развалила белый, пузатый собор, стоявший на взгорье посередине Стрелецкой улицы. Одна стена упала. В зубчатом проломе зияло нутро церкви: дощатый помост на козлах, лохмотья бумажных плакатов, кумачевые лозунги. Сбочь дороги, в канаве, лежал припушенный снегом кусок стены. От написанного на нем, жидко замазанного известкой, образа какого-то угодника осталась лишь длинная борода, лба же не было, как не было и ног. В руках он держал исковырянную осколками грамоту.

— Бьют, так бьют! — проговорил со смехом Юхнов. — Даже и угодники летят вверх тормашками!

— Что это за Бог? — раздраженно отозвался я. — Даже своих святых не может оградить от бомбы!

— Бог, видать, тоже драпанул, ото всего отступился. Живите, сыны человеческие, как знаете.

Юхнов приостановился — переменить плечо. Злыми медвежьими глазками он посмотрел на двигавшиеся по улице войска. Месяц назад, в октябре, поля Подмосковья были усыпаны тысячами бойцов, отбившихся от частей, побросавших оружие, обродяжившихся. Теперь же, в ноябре, люди, машины, орудия текли по дорогам, как по каналам среди снеговых сугробов, — всё к фронту, к фронту. Будто там, на фронте, образовалась пустота, гигантский резервуар, вакуум, начавший всасывать — с ветром и свистом — войска. Невидимая помпа, тяжело дыша, выкачивала новые и новые пополнения, теперь уже из глубин России. Вслед бронзовым, тонколицым азербайджанцам, по Стрелецкой улице шла пехота — казахи, киргизы, буряты с бесстрастными желтыми лицами и косыми, запухшими в трахоме глазами.

Юхнов покачал головой:

— В Покровском вчера меня баба спрашивала: «Татар на позиции гонют... русских-то мужиков, должно, всех уж перебили?» — Русской пехоты, отвечаю, много на Волоколамском шоссе стоит — сибирские дивизии прибыли. «И под Волоколамском, говорит, выбьют, на семя и то не останется!» Понимаешь, Михалыч, убежденно так сказала! Бабы знают, у них чутье звериное. Кончится наш народ в этой войне... конец России!

— Опять затянул похоронную! Не ты ли говорил, что народ, как феникс, горит да не сгорает?

— Оно так, конечно. Большевики сгорят, а народ подымется из пепла. Только... какое-то время и народу, всей России, в пепле полежать придется.

— У чьих же ног?

Юхнов помолчал.

— У немецких, Михалыч.

— Что же делать теперь прикажешь? К немцу, что ли, подаваться?

— Может, и к немцу.

— Ну, видать будет... Пока что, давай, подымай жердину.

Подымая комель жердины, Юхнов бросил через плечо:

«Видать будет», это, братец ты мой, не тактика...

В центре слободы, на мосту, под которым верещала речушка Сестра, — мелкая, в булыжниках, белых камнях, она пересекала село и впадала в Ламу, — мы увидели Шурку-Интенданта, курсанта нашей роты, бывшего до войны студентом московского Архитектурного института. Шурка охранял заминированный мост. С винтовкой за спиной, со штыком в кожаном узком чехле на поясе, он стоял у перил, на опрокинутом ящике из-под взрывчатки, и весело переругивался с группой бойцов, остановившихся на мосту и скаливших на Шурку зубы.

— Нету, всё раздал, даже и самому не осталось! — выкрикивал Шурка.

Подойдя ближе, мы тоже расхохотались. На дуле винтовки, чтобы в ствол не набивало снегу, у Шурки был натянут тонкий желтенький презерватив; обычно бойцы затыкали дула тряпочками или бумажками. В октябре, в Яропольце, Шурка забрался в аптеку, — старый еврей-аптекарь, эвакуируясь, заколотил окна и двери досками, — и отыскал среди медикаментов коробку с презервативами. Притащив находку в роту, он объявил, что рота зачислена на «резиновое довольствие» и выдал каждому из нас по полдюжины. Фамилия «Яковлев» с того дня осталась только в ротных списках: курсанты звали его — «Шурка-Интендант».

— Ха-а, вот еще Божьи странники! — крикнул Шурка, только мы подошли к мосту, добавив к «Божьим странникам» непечатное словцо; матерщина у него была вроде смазки для разговора.

— Ты, вижу, совсем иссобачился, — засмеялся я. — Как она, жизнь?

— Живем... ни во святых, ни в окаянных. А вы куда?

— В монастырь... под угодников мину подкладывать! А у тебя из жратвы ничего не найдется? Нам дали буханку хлеба — вот и питайся!

Шурка потер перчаткой круглое, светловолосое, опаленное огненными ветрами лицо.

— Валяйте в избу, там Детка куриц теребит.

В переулке, поодаль от моста, чудом уцелела темная бревенчатая избушка. Углы ее подгнили, одна стена падала и была подперта рогатиной, врытой в землю. Крыша ввалилась, обнажив печную трубу, к которой наверху была примазана глиной черная, треснутая, с выбитым дном, чугунка. Неровно, клубами, валил дым, отлетал от избы, подхваченный ветром, то, на-

против, прибитый ветром, расстилался, змеился по щелеватой, ощерившейся дранками крыше.

Мы поставили ящики на завалинку. Юхнов шагнул в сени и, не обметая снега, налипшего на сапоги, рванул скобу тяжелой, обитой войлоком и соломенными жгутами двери. Клуб морозного пара вкатился в избу, но его вышибло встречным напором тепла, кислой вони. Метелица закружилась в избе: белый и черный пух, лежавший горкой на полу, взметнулся к потолку, точно столб подчерненного сажей снега. Юхнов отшатнулся и остановился на пороге. Воздушным потоком, казалось, будет вынесено всё, что только было в избе — вынесено и поглощено той невидимой помпой, которая, шипя и свистя, качала и качала, стремясь наполнить бездонную, страшную пустоту, неизвестно где и как образовавшуюся, которую чувствовали, однако, не только люди, двигавшиеся по прифронтовым подмосковным дорогам, но и глубине России.

— Двери закрывайте! Кто там, черти-дьяволы! — послышался сквозь метель басовитый, ломающийся голос Детки. Всю избу выстудите!

Пушинки, как хлопья снега, медленно падали, оседая на пол, где, средь немытой посуды, стоял медный самовар, тусклый и помятый от полувекового употребления, на скамейки, тянувшиеся по стенам, широкую, занимавшую полизбы русскую печку. Ноги по-щиколотки в пуху, стоял у печки Детка, держа в одной руке, за ножку, недощипанную курицу.

— Юхнов, Коряков... какими ветрами?

— Теми самыми, какими и всех носит, — притворил я дверь. — К тебе вот, за курами!

По пуховой пороше, не снимая с плеч вещевых мешков, мы прошли в передний угол. У стола, разложив на подоконнике и на скамейке промасленные тряпички и части разобранного затвора, чистил винтовку молодой солдат с шишковатым, стриженым под нолевку черепом. На печке, сидел, свесив ноги, солдат постарше. У трубы сушились портянки, стираная рубаха рукавами вниз.

— Кур у меня пол-но! — сказал Детка. — Мы с Шуркой только курятиной и питаемся. Поделили должности — ему на посту стоять, а мне по курятникам лазить. Вот ты, Коряков, скажи: приходишь ты в пустой двор и видишь — десяток кур дремлют на жердине. Как бы ты стал действовать?

— Подкрался бы на цыпочках и первую с краю палкой по голове.

— Неправильно! Первым делом, бей петуха! Курица —

дура, она без петуха ни шагу. Притаится и будет сидеть на насесте, пока всех их по-порядку не перебьешь. На всё — своя тактика!

Стриженый солдат брал на тряпочку кирпичной пыли и ожесточенно тер по заржавевшей магазинной коробке.

— А у гусей взаимная выручка хорошо организована, — сказал он, не подымая головы. — Одново разу я пристрелил гуся на улице, подхожу, чтобы забрать. А остальные гуси — поперед меня, окружили убитого, хлопают крыльями, кричат, хотят поднять и унести товарища. Кто клювом толкает, кто крыло под него подсовывает... Удивительное дело, какая у них сплоченность, у гусей!

— То-то и оно, — сердито проговорил солдат на печке. — Гуси, и те за свою нацию держатся! А мы... подлая наша русская нация, расползлась, как навозная жижа! Вот и пусть заберет нас немец... Под немцем не станешь баловать — я немца знаю, я три года у него в плену сидел. Он всем нам подкрутит гаечки!

Мы с Юхновым переглянулись. Из-за печной трубы, в полутьме, высовывалось крупное одутловатое лицо с желтыми глазами и серебристой щеточкой усов. Солдат кашлял: грудь его прожгло морозами.

— Ты понимаешь ли, что говоришь? — щелкнул затвором стриженый. Обернувшись к нам молодым скуластым лицом, он добавил: — Вечно недовольный гражданин! Мы с ним из одной деревни, он мне вроде дяди приходится. Усвятье, Смоленской области, — никогда не бывали? Первеющий кузнец на всю округу...

И — к печке:

— Кабы не был ты мне родня, пристрелил бы я тебя на месте, как немецкого агитатора.

— Пристрели-ил! — засмеялся старик и закашлялся. — Тебе и стрелять-то нечем... винтовку ржа съела! Да и на тебе самом зараза — оловянная чума

Детка, ощипав курицу, взял темную, почерневшую от времени и свечной копоти деревянную икону, положил ее ликом вниз на скамейку и принялся кромсать на кусочки мясо, варить похлебку.

— Оловянная чума... отроду такой не слыхивал.

Кузнец повернулся к Детке:

— Не слыхивал? Глянь на него, вот он чистит винтовку. Прогнал шомпол по стволу — тряпочка красная. Потому у железа такая ржавь — красная! А у меди, наоборот, зеленая. У

олова — белая. Каждый металл заболевает по-разному, и на олове, — например, оловянной монете, — появляется белый, рыхлый порошок, который быстро съедает всю монету. Это и называется — оловянная чума! К нам в Усвятье каждое лето инженер-химик приезжал на дачу, — ученая голова! Он металлы лечил, как, скажи, человека лечат...

Юхнов тронул меня за рукав:

— Будет тебе на огонь-то пучиться, Михалыч! Пойдем....

В печке плясал оранжевый огонь. Детка с треском ломал лучину и подкладывал к чугунку, в котором пузырилась закипавшая вода. Отвалившись вещевым мешком на бревенчатую стену, я невидящими глазами смотрел в печку и чувствовал, как во мне самом то вздымались пляшущие языки огня, то ползла сухая снежная поземка. Горные мортиры на мулах.... «Докатимся до точки»... Россия... или Русланд? Оловянная чума... У каждого металла своя ржавь... — а какая ржавь у человека? Все мы чем-то больны — я, Юхнов, Детка, Шурка-Интендант, «молодые люди сталинской эпохи»... Почему во мне, — только останусь один или просто задумаюсь, — начинает что-то безмолвно плакать, подвывать протяжно и жалобно, вроде ветра в трубе? Будто у меня — дупло в груди, вакуум, пустота, нет внутренней крепости, всегда какая-то утечка, точно меня внутри выдувает ветром... «Ни во святых, ни в окаянных»... Заколдованный пляской огня, я прислушивался, как билось, опадая и набухая, сердце, и казалось, что-то щелкало внутри, — тик-так, тик-так, точно в будильнике, который, отщелкав минуты, щелкнет вдруг по-новому, громко, зазвонит, и то будет утро, миг пробуждения, понимания, ясности, начало нового дня.

— Пошли...

По Стрелецкой улице — широкой и вымощенной булыжником — мы вышли на берег пруда, отделявшего слободу от монастыря. Было время, когда в монастырь, на поклон мощам преп. Иосифа Волоцкого, съезжались толпы богомольцев, — в Теряевой слободе тогда шумела ярмарка. Наезжал веселый, горластый народ — перекупщики, мазы, прасолы. В конце улицы, ближе к монастырю, еще стояли, средь воронок, вырытых фугасками, низкие толстостенные лабазы красного кирпича, и хотя слобода давным-давно ничем не торговала, от замшелых стен — в морозном воздухе — веяло тонкими запахами пеньки и льна, конопляного масла, кожи.

Мороз прокалил воздух до синей искорки. Пруды, — три пруда, подковой лежавшие у монастырской стены и разделен-

ные плотинами, по одной из которых проходило шоссе Клин-Волоколамск, а по другой проселок, — были одеты сизым голым льдом. На окраинцах лед белел пузырями. Поземистый ветер ударялся о лед и свистал камышами. Сквозь морозный туман мы увидели главы колокольни и собора; в первых лучах утра блестели золотом кресты.

— Морозит?

Под откосом плотины, на подветренной стороне, сидел на чурбаке Михаил Попов, тоже курсант нашей роты. Рыжеватый, с острым, как у лисы, лицом, он был в белой заячьей шапке.

— Морозит, — отозвался Юхнов. — Тебе, видать, и мороз нипочем... в такой шапке! Где раздобыл такую?

— У мужика за пачку махорки выменял. Проходил тут один мужик вчера — от немцев вырвался, через фронт перебрался. Говорит, что немцы вот-вот наступать начнут.

— Откуда он знает? — раздраженно спросил Юхнов. Немцы что, на военный совет его приглашали?

Попов вопросительно, ищуще посмотрел на Юхнова.

— Причем тут военный совет? Посмотри, земля высохла, промерзла, затвердела. Между тем, снегу не так уж много. Что это означает? А то, что танки, автомобили и даже мотоциклы могут двигаться не только по большакам, но и по проселочным дорогам, даже просто по полям. Если наступать, то только сегодня-завтра... послезавтра будет поздно. Пойдут метели, большие снега...

— Начнут наступать — отступим!

Из-под лохматой шапки на нас смотрели серые — настороженные, пытливые — глаза. В Попове меня всегда — еще летом, в военном училище, когда нам случалось ночами стоять вдвоем на посту, охранять водокачку или склад боеприпасов, или ходить патрулем по лесной дороге, — смущала какая-то подколодная скрытность, загадочность. Порою, в его разговорах чувствовались пораженческие нотки, но он — в отличие от Юхнова — никогда не говорил прямо, что «война проиграна», «пришел конец России». Я подозревал в нем «сексота» — доносчика, информатора.

— Отступим и вся недолга! — повторил Юхнов с ожесточением. — Земли у нас — шестая часть мира! Отступим к Таймыру и образуем Таймырскую советскую социалистическую республику...

— Никола! — прервал я. И — к Попову: — А на той плотине кто стоит?

— Пашка Люхов.

— Большие тут у тебя фугасы заложены?

— Три мешка толу в порошке, мин бумажных-пятикилограммовых десятка два.

— Ты не взрывай, пока мы из монастыря не прибежим, — засмеялся я. — Не оставляй нас на той стороне. Вплавь нам не добраться, а по берегу такой пруд на коне за полдня не обскачешь.

Юхнов сердито глянул на меня и, не прощаясь с Поповым, поднял жердину и зашагал по горбатой плотине. По сторонам на льду играл синими переливами свет утра.

Вдоль древней стены грубой каменной кладки мы подошли к монастырским воротам. Широкие, кованного железа ворота были распахнуты настежь. Виднелся вымощенный булыжником двор, серый от крупной, зернистой изморози, по сторонам белокаменные здания — бывшие службы монастыря, а посередине высилась громада собора, восьмиярусная колокольня, наклонившаяся точно колокольня Пизы. У широких, слегка заметенных снегом ступеней стояла зеркально-черная эмка, а на паперти — полковник с медными пушечками крест-на-крест в петличках, с парабеллумом в длинной деревянной кобуре, старик в порыжелом, обтершемся бобриковом пальто и девочка лет четырнадцати в синем пальтишке, озябшая, с заиндевевшими кудерьками волос, выбившимися из-под вязаного берета.

— Колокола шестнадцатого века, — показал старик на кружевные ярусы колокольни, и следуя движению его руки, полковник поднял было лицо кверху. Но, увидев нас, он остановился и строго крикнул с паперти:

— Кто такие?

Юхнов приставил ногу:

— Курсанты 11-й роты Московского военно-инженерного училища. По приказу подполковника Буркова — заминировать в монастыре электростанцию и взорвать «в случае необходимости».

Полковник захохотал, циркулем расставил ноги.

— Бурков... Я — полковник Гонтаренко, начальник артиллерии 16-й армии. Ко мне!

Мы опустили ящики с толом на землю и поднялись на паперть. Полковник расстегнул хрустнувшую целлулоидом планшетку и ткнул пальцем в зеленую, испещренную красными и синими стрелками и кружками, оперативную карту-двухверстку. Рука у него была шестипалая.

— У меня тут двадцать артиллерийских полков стоит. Здесь вот, видишь? Здесь... и здесь!

Полковник был пьян, от него несло острым отравным зельем, не знаю, денатуратом ли, политурой, но чем-то пахнущим падалью. В тоске я смотрел не на карту, а на желтый костяной отросток, криво приросший к большому пальцу полковника. Издалека, из густого тумана, доносились до меня пьяные выкрики:

— В слу-учае необход-имости... Паникеры! Не бойцы вы, а па-ни-ке-ры! Кто командует нашей армией? Я спрашиваю, кто командует?

Юхнов вытянул руки по швам:

— Генерал-лейтенант Рокоссовский.

— Правильно. Так вот, слушайте, что я вам скажу. На войне надо верить в генерала — верить так, как люди раньше в Бога верили! Верно я говорю, папаша?

Старик повел плечами:

— Рябинин моя фамилия.

Невидимый будильник где-то во мне, внутри, опять начал щелкать: тик-так, тик-так... или то в сердце открылась рана, кровь сочилась и капала? Полковник говорил: «Командующий армией обратился к войскам с приказом: ни шагу назад! На озерах у Истры — последняя линия обороны перед Москвой, от нее ни шагу!» Двадцать артиллерийских полков... — видели мы твою артиллерию! Мулы и мортиры с персидской границы... Приказ генерала... Но что генералу делать на войне, кроме как отдавать приказы? Приказы, воззвания, плакаты, лозунги... — бумажным мусором не завалить пустоту души. Но — как заполнить дупло в груди? На что солдату внутренне опереться? Опереться, стоять и — выстоять!

— Товарищ полковник, мы ковер нашли... в кабинете у директора детдома. Пригодится вам в землянку.

На крыльцо белого двухэтажного дома, рядом с собором, вышли лейтенант в новенькой шинели, перетянутый по плечам скрипучими ремнями, и шофер-солдат. Пригнувшись, шофер тащил тяжелый свернутый ковер; у лейтенанта в руках были два старинных пистолета и деревянная шкатулка узорчатой резьбы. Полковник повертел в руках шкатулку, щелкнул курком кремневого пистолета и, простившись со стариком, потрепав по щеке девочку, полез в машину. Шофер привязал ковер сбоку, к закрылке. Машина тронулась. Полковник высунулся из окна:

— Двадцать артиллерийских полков... Никакой необходимости!

Юхнов посмотрел, как эмка выкатилась с монастырского двора, и круглые медвежьи глазки его запрыгали от смеха:

— Нет, ты слышал, Михалыч? Верить в него, как в Бога! Понимает ли он, что это значит — верить? Верить в Бога, ведь это — как птица, взлетая, верит в свои крылья! Вера не здесь, — Юхнов постучал пальцем по голове, — а здесь... в кишках! Верить надо кожей, кишками...

— Почему же, собственно, кишками?

У старика был тихий, приятный голос. Подняв на него глаза, я увидел за ним — в просвете между собором и покосившейся колокольней — розовое, совершенно чистое небо.

— Кишками? — Юхнов запнулся, лоб вспух буграми. — Нутром, то-есть, а не головой, не разумом.

— Но вера не противоположна разуму, — возразил старик.

Потомок олонецкого начетчика-старовера, Юхнов охотно ввязался бы в спор о том, что́ есть вера, но взгляд его упал на ящики со взрывчаткой, и он резко спросил старика:

— А вы, соб-ственно, кто такой будете?

— Учитель музыки.

В монастыре Иосифа Волоцкого, оказалось, до войны был детский дом. Тут жило тысячи полторы детей, подобранных на улицах в 1932-33 гг., когда — после голода на Кубани и Украине, после массовых высылок «кулаков» и «врагов колхозного строя» в полярную тундру и пески Туркестана — по всей стране опять прокатилась волна беспризорничества. В октябре, когда немцы пошли от Белого к Волоколамску, детский дом второпях эвакуировали. Дмитрий Федорович Рябинин, учитель музыки, был оставлен затем, чтобы собрать девочек-воспитанниц, работавших летом, во время школьных каникул, по окрестным деревням, трикотажным артелям и ткацким фабрикам, — собрать и тронуться вместе с ними вслед всему детдому на Урал. Многие деревни, однако, были уже под немцами, и первая девочка, которую удалось найти, была Тоня Панина, стоявшая с нами на паперти. Всё лето и осень она проработала на прядильной фабрике близ Волоколамска. На рассвете сегодня ее на дороге обогнала машина полковника Гонтаренко. Полковник, видать, не был злым человеком: остановился, спросил, куда идет, и — подвез до монастыря.

— Электростанцию взрывать! Опять, стало быть, отступать собираетесь?

— Никто отступать не собирается! — огрызнулся Юхнов.

— Вы же слышали — двадцать артиллерийских полков перед нами. И новая сила идет — разве не видели на дороге?

В душе у Юхнова тоже вилась снежная поземка. Метель замела дороги: куда итти? Не было уверенности: по той-ли тропке, по которой надо, идем? Только Юхнов был постарше меня и потверже характером: у меня внутри что-то безмолвно плакало, в нем же росла угрюмость, раздраженность и — решимость. «Крутолобый кержак»... — я завидовал его «кишкам», его «нутру» олонецкого раскольника-старовера.

— Послушай, как тебя зовут... Тоня? — обратился я к девочке. — Тоня, возьми вот эту курицу и свари, пока мы тут одно дело будем делать. Если найдется, добавь картошечки.

Тоня пошла варить обед, старик Рябинин показал нам электростанцию — кирпичное строеньице в дальнем углу монастырского двора. Не успели мы, однако, перетащить туда взрывчатку, как в воротах послышались громкие голоса, конский топот, металлический перестук оружия и снаряжения. Передом на игреневом иноходце ехал коренастый, скуловатый командир в белом полушубке и лохматой крестьянской папахе; правой рукой он держал повод, а левая висела на перевязи.

— Доватор! — шепнул я Юхнову.

Командир 2-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майор Л. М. Доватор пользовался в те дни легендарной славой: поздней осенью 1941 года его казаки — «доваторцы» — совершили глубокий рейд в немецком тылу, в районе Смоленска. Теперь штаб корпуса стоял в селе Степанчикове, где наша рота закладывала минные поля.

— Иноходец под ним тысячный, — сказал Юхнов.

Конь был рыжий, но грива и хвост седые. Живыми карими глазами Доватор окинул двор, шатровые башни по углам и, сопровождаемый штабными офицерами, медленно объехал собор и за собором — кладбище, где под могильными плитами лежали архимандриты и иноки. Бросив повод на луку седла, генерал поводил рукою, давал указания, и только он машистой иноходью выехал из ворот, появилось роты две солдат, которые принялись пробивать пушечные амбразуры в древней, с выкрошившимся кирпичем, стене, укреплять ворота, устраивать пулеметные гнезда на башнях, оборудовать позиции для зенитной батареи, рыть узкие — зигзагом — щели, чтобы спасаться от бомбежки.

Командир роты в стеганой телогрейке, с лицом еще серым от летнего загара, пояснил:

Приказано строить укрепленный узел обороны. Кавалерийский полк будет сидеть тут в тылу врага, делать вылазки, налеты на штабы, коммуникации, и опять запираться в крепости.

Крупные, как картечины, глазки Юхнова потемнели. Не отвечая, он повернулся и скрылся в полутьме электростанции, за чугунным маховым колесом. Минут пятнадцать-двадцать мы работали молча: привязывали толовые шашки — желтые, как куски ядрового мыла — к генератору, маховику, распределительному щиту, соединяли заряды детонирующими гексогеновым шнуром, передающим взрыв на семь километров в одну секунду, делали зажигательные трубки, обжимая капсюли, за неимением щипцов-обжимов, просто зубами. Наконец, Юхнов прервал молчание:

— Михалыч, какого ты мнения о Попове?

— По-моему, он сексот.

— Сексот?

— Когда-бы я ни оставался с ним наедине, он всегда пытался вынюхать, нет ли во мне симпатии к немцам, не жду ли я их, как освободителей, не собираюсь ли я к ним, при удобном моменте, переметнуться.

— Но ведь и я говорил тебе, что нам — народу, всей России — придется в пепле, у немца в ногах, поваляться. По-твоему, я тоже... сексот?

— Пустые слова... Порой, вспоминается мне твоя выставка, картина «Отец и сын». Вот русские люди — крепкие, как лесные корни! Борода у отца, как деготь, и у сына — вороная борода. Глаза у обоих тяжелые, строгие, точно каменные. Такого сына убей, на костре сожги, живьем в землю закапывай, он не отступится от отцовской веры. Не отступишься и ты — ни к большевикам, ни к немцам. Ты озлоблен, на людей кидаешься, как собака: директора Союзплодоовощи на Ярославском шоссе за малым не избил, а сейчас вот ни за что, ни про что на старика-музыканта окрысился... В тебе нутро бунтует, кишки взбудоражены. Ты не хитришь, не скрытничаешь, как Попов. Тому только и дело, чтобы ниточку из человека потянуть, выпытать всю подноготную да в Особый отдел донести.

— Странно, мне никогда не приходило в голову, что Попов служит сексотом в НКВД. Какого он социального происхождения? В сексоты обычно вербуют «бывших людей» — кулаков, торговцев, родственников «врагов народа». Тебе не кажется, что Попов просто-напросто ищет единомышленника... компаньона в «нырики»?

Заминировав электростанцию, мы замкнули ее, написали на дверях: «Опасно — мины» и пошли обедать. Было уже за полдень. Красное, в синеватой окалине, солнце двигалось низко по горизонту, над слоистыми, как снеговые наструги, облаками. На дорогах, за стенами монастыря, слышалось, ползли обозы и дул, посвистывая, северо-восточный ветер, но тут, в затишке, было безветренно, мирно, и по кустам можжевельника, над могилами, порхали — непотревоженные — красногрудые, зобастые снегири.

Учитель музыки жил рядом с собором, в полуподвале белого двухэтажного дома, на котором, как на торговом лабазе, висела жестяная вывеска: «Волоколамский историко-краеведческий музей». Тоня, отслоняясь от раскаленной плиты, снимала ложкой грязную пенку, накипавшую в чугуне. Она была совсем девочка: на простеньком лице еще не вырезались губы, грудь едва жрорисовывалась под ситцевым, в брусничных пятнышках, платьицем. В дверях, ведших в другую комнату, стоял старик Рябинин, худой и остролицый.

— Проходите, пожалуйста, в мою комнату. Тоня, как там у тебя... подвигается?

— Курица старая — не уваришь...

Толстые, полутораметровые стены. Потолок сводчатый, низкий, как в боярских палатах допетровской Руси. Вместо резьбы и живописных узоров, однако, в серый цемент потолка были вделаны железные крючья: при монахах тут, верно, была кладовая. В квадратные оконца, на уровне с землею, виднелся угол крепостной стены, заросший репейником, и башня, похожая на киргизский шатер.

— Никола! — воскликнул я. — Глянь, тут целая библиотека!

Книжные полки тянулись по стенам низкой и полутемной комнаты. Книги лежали горками на подоконнике и письменном столе у окошка. В углу стояла узкая железная кровать, застланная серым одеялом. К спинке кровати голубенькой ленточкой была подвязана иконка, и старик Рябинин, перехватив мой — брошенный на иконку — удивленный взгляд, заслонил ее собою, а потом, как бы невзначай, набросил на спинку кровати свое потрепанное, порыжелое пальто.

— Чем другим, а книгами мы в монастыре богаты, — отозвался Рябинин. — Не знаю, известно ли вам, что монастырь был основан в 1469 году, при содействии Волоколамского князя Бориса Васильевича, и основатель его, Иосиф Волоцкий, сам был одним из замечательных древне-русских писателей.

— Автор «Просветителя», — вставил я.

— Именно! — обрадовался Рябинин. — А вы с трудами Иосифа Волоцкого знакомы?

— По курсу древне-русской литературы в институте проходили.

— Иосиф же положил и начало громадной библиотеке. Он сам переписал Евангелие, Триодь постную, Богородничник, Псалтырь, Каноник. В библиотеке и по сию пору хранятся книги, писанные рукою Нила Сорского, рукописи Иоанна Дамаскина, митрополита Даниила. Когда-то сюда из столицы ученые приезжали для научно-исследовательской работы. Как литератор, вы, может быть, помните, что Степан Шевырев писал об Иосифовом монастыре в своей «Истории русской словесности».

— Не припоминаю, — смутился я.

Рябинин подошел к полке и, достав нужную книгу, — некогда знаменитый курс лекций С. П. Шевырева в Московском университете (1856 г.), — отыскал страницу:

«В 18-ти верстах от Волоколамска красуется обитель Иосифова, огражденная башнями и стенами, как все древние наши обители. В нижнем соборном храме своем она хранит гробницу своего основателя. Когда вы подъезжаете к ней по Клинской дороге, от села Шестакова, которое некогда ей принадлежало, за десять верст уже виднеются ее белые и величественные столпостены. Три пруда, обширные, как озера, к ней прилегают: один из них носит название Гурьевского, потому, вероятно, что рыт при славном Архимандрите Гурии, первом основателе Епархии Казанской; другой перед самой обителью не носит названия и, вероятно, вырыт при самом Иосифе. В народе до сих пор есть предание, что Иосиф рыл эти пруды руками народа и платил всякому рабочему по 25 копеек ассигнациями в день. Когда народ выразил ему неудовольствие за эту плату, тогда Иосиф вынес народу огромный ворох меди и велел брать из него каждому, загребая сколько угодно. Но сколько люди ни загребали, все выходило не более 25 копеек ассигнациями у каждого. Тогда все рабочие признали эту плату законною и более не требовали.

. . . В прудах в светлые дни отражаются стены, башни и храмы монастыря с красивою колокольнею, которая легкостью и стройностью зодчества напоминает колокольню Пизы. Ризница монастыря хранит два посоха, одежду и вериги Иосифовы. Библиотека имела 705 рукописей, из которых 236 обитель

уступила ученым Троицкой лавры. Налево стоит густой сосновый бор, вероятно, развалина того леса, середи которого чудесный бурелом, повалив многовековые сосны, указал место, где быть обители Иосифовой. Бор скрывает в версте от обители ту пустыньку, куда уединялся Иосиф от братии для богомыслия и уединенной молитвы, по примеру всех пустынных отходников Востока и древней Руси».

— Не угодно ли собор осмотреть, пока курица ваша варится, — предложил Рябинин. — В соборе — музей. Антирелигиозный, правда, но всё же музей, и потому многое там осталось нетронутым, как было в давние-давние времена... до революции! Даже и кресты не сняты!..

Громко стуча подкованными солдатскими сапогами по белым плитам паперти, мы вошли в светлый и мертвый храм. Купол был полон солнца. Полуденные лучи косо падали на золото резных, витых царских врат. На колоннах, подпиравших своды храма, стояли в голубых одеждах, с пергаментами в руках, святители и праведники Православной Церкви.

Нерешительно, с оглядкой на Юхнова, я снял пилотку с головы. Вспомнилось, как горластой толпой, в шапках, мы — школьники, студенты — вваливались в соборы, скажем, в собор Василия Блаженного в Москве, где размещался Центральный антирелигиозный музей, и экскурсовод, приняв у входа группу, начинал, точно граммофонная пластинка, говорить заученные фразы о «религии — опиуме народа», «мракобесах-церковниках», «черноризной реакции». Не скажу, чтобы мы с жадностью прислушивались к речи экскурсовода-робота, но мы и не оскорблялись ею: просто-напросто разбредались по храму, тыкали пальцами в древние иконы, в шутку становились перед престолом и затягивали козлиным голосом:

Со святы-ыми упоко-ой...
Человек он был такой —
Любил выпить, закусить
И другую попросить!

В последние годы, перед войной, учась в ИФЛИ (Институт философии, литературы, истории) и работая в Ясной Поляне (музей-усадьба Льва Толстого), я начинал понимать, что церковь — существенный элемент нашей национальной жизни. «Партия Ленина-Сталина» в эти годы взяла новый курс: по кино-экранам проносился на боевом коне князь Алек-

сандр Невский, по страницам романов проходили Дмитрий Донской и Сергий Радонежский, все трое — первосвятители Русского Православия. Новый курс не противоречил моим размышлениям о церкви: русские святые представлялись мне не как «святые», а как государственные люди, оставившие глубокий след в истории России. Отдавая дань времени, одна моя приятельница, студентка исторического факультета, написала курсовую работу на тему: «Иосиф Волоцкий». В XVI веке, когда русское государство только складывалось, — писала она, — иосифлянская идея монастыря, основанного на дисциплине и регламентации, поддержка Иосифом царевой власти, власти-защитницы правоверия, более того, обожествление государства, всё это необычайно способствовало возвышению и укреплению Московской Руси. Такой подход к церкви был чисто внешний: церковь воспринималась, как часть русской культуры, государственности, — и только. Конечно, в последние годы я не тыкал пальцем в иконы, не паясничал перед престолом, как в годы детства, но холодно, рационалистически относился к церкви, как к исторической силе, которая сыграла свою роль и — отошла. Мистическая сторона церкви была для меня закрыта.

Впервые в жизни — в холодный, освистанный ледяными ветрами день 16 ноября 1941 года — вошел я в церковь нерешительно, робко, в неясном душевном смущении. Юхнов, только переступил порог, завладел стариком Рябининым: как профессионалы-знатоки, они переходили от иконы к иконе, которые принадлежали кисти Герасима Черного, иконописца XVI столетия. Почти в полусне, — в том странном состоянии, в котором, быть может, находится зародыш в матке матери, — я почему-то смотрел не на иконы, а на старика-музыканта. Белая, острая голова его, с седой бородкой клинышком, казалось, была отлита из серебра. Говорил он тихо, мягко, но, порою, твердо возражал, не соглашался. От него шла волна теплоты, участливости, готовности услужить, но — без услужливости, заискивания, раболепства. «Вера не противоположна разуму», — возразил он Юхнову. Он прав, вероятно, но прав и Юхнов, который не верит в разум, а верит в нутро, «кишки». Несчастье нашего поколения в том, что мы, воспитанные на принципах материалистической, марксистско-ленинской педагогики, придавали слишком большое значение «разуму» и пренебрегали «сентиментами»... Любовь? Половое влечение есть реальный факт и естественная потребность, — без черемухи!... Родина? Пустяки — пролетарии не имеют отечества!

Народ? Абстракция — движущей силой истории является борьба классов, и классовая солидарность крепче национального единства. Род отцов... — экая мистика, штучки-дрючки! Мы эмоционально нищи — обеднены! Правду сказал старик: оловянная чума съела. Пустота, дупло в груди... Потому-то и расползлись, какнавозная жижа! О-о-о! — протяжно, жалобно, как никогда громко, завыл ветер в моем дупле.

Посередине пустынного, в колоннах, храма я стоял молча, глядя на солнечные пятна на полу, и вдруг собор наполнился тысячеголовой толпою, замелькало множество восковых свечей, зажглись тяжелые — на цепях — лампады, вышли священники в золотых ризах, и дьякон взмахнул орарем:

С нами Бог,
Разумейте языцы,
И покоряйтеся,
Яко с нами Бог!...

Почти физически ощутил я присутствие молящейся толпы в храме. Вырастая на голову над толпой, стоял отец, сибирский пахарь и зверолов, — смоляная борода чернее рубахи, — а поближе к амвону стояла мать в платочке, с узелком в руке... Кругом — несчитанная наша коряковская родня. Тысячеголовая толпа, она вся мне была родная, — мой народ, по плоти, по крови, по нутру, по духу! Подняв глаза к узким, стрельчатым окнам, я увидел, как по бледно-голубому морозному небу неслись — свиваясь и развиваясь знаменами — облака, и весь я наполнился радостью, что и сто, и двести лет назад так же тут летели облака, и тот же ветер пел над главами собора, квадратными башнями монастыря.

Видение жизни, вернувшейся в монастырь, не оставляло меня и тогда, когда мы вышли из собора. Бойцы из корпуса Доватора долбили кирками мерзлую землю, таскали чурбаки и, в клубах кирпичной пыли, проламывали бойницы в крепостной стене, но внутреннему моему глазу предстояла иная картина: над прудами веселым летним утром плывет колокольный звон, от Теряевой слободы по плотинам валом валят богомольцы и затопляют монастырский двор, в толпе шныряют проворные служки, а из собора плывет ладанный дым и доносится зычный бас протодьякона...

— Какая прелесть, наши церковные песнопения! — сказал я за столом, на котором дымилась белая, разваренная курица. — В институте, для практики в старо-славянском языке, нам давали читать отрывки из служебных книг. «Благослови,

душе моя, Господи, и вся внутренняя моя имя святое Его...» — когда-когда это было сказано! Архаичен язык, а ведь в этой-то архаичности, пожалуй, и заключена необоримая сила. Ничто ей не преграда — ни время, ни пространство...

— Ни движение! — воскликнул Рябинин, смеясь. — Потому что, вдуматься по-настоящему, церковь представляет собою взрывчатую и полную динамизма силу.

Дружба наша со стариком Рябининым, — моя и Юхнова, — росла не по часам, а по минутам, и к концу обеда мы уже знали, что он бывший священник, даже автор какой-то работы по свято-отеческому преданию. Ему было немногим более шестидесяти. Биография его была типична для русского интеллигента, выросшего на рубеже двух столетий. В молодости, студентом- естественником Петербургского университета, он, как и все, увлекался марксизмом, преподавал в рабочих кружках, за малым не угодил в сибирскую ссылку. Борьба марксистов с народниками, однако, прбудила в русской интеллигенции интерес к философии, проблемам духовной культуры: марксизм не только преодолел народничество, но подготовил почву для преодоления марксизма. Начало XX века ознаменовалось переходом большинства русской интеллигенции от марксизма к идеализму — возвратом к религиозному содержанию русской культуры, к христианству, православию. Некоторые бывшие марксисты, как Сергей Булгаков, Сергей Дурылин и многие другие, среди них наш знакомый, стали священниками. Большевистская революция 1917 года была срывом культурно-религиозного ренессанса в России. Булгаков эмигрировал во Францию, Дурылин жил в нищете в Москве, подрабатывая случайными статейками по вопросам искусства, а некоторые, как Д. Ф. Рябинин, забрались в глушь, стали учителями, счетоводами, плотниками.

— Кстати, о языке молитв и песнопений, — сказал Рябинин. — Вы вспомнили псалом Давида, написанный три тысячи лет назад. А видели ли вы молитву митрополита Сергия, нынешнего местоблюстителя Патриаршего престола в Москве? Молитву, которую он написал этим летом, как только немцы вторглись в Россию. Мне ее один боец показал и дал переписать. Удивительным языком написана!

Рябинин взял с письменного стола и протянул мне тетрадку:

«Господи Боже сил, Боже спасения нашего, Боже творяй чудеса един. Призри в милости и щедротах на смиренныя рабы Твоя и человеколюбно услыши и помилуй нас: се бо врази наши

собрашася на ны, во еже погубити нас и разорити святыни наша. Помози нам Боже, Спасителю наш, и избави нас, славы ради имени Твоего, и да приложатся к нам словеса, реченная Моисеем к людем Израильским: дерзайте, стойте и узрите спасение от Господа, Господь бо поборет по нас. Ей, Господи Боже, Спасителю наш, крепосте и упование и заступление наше, не помяни беззаконий и неправд людей Твоих и не отвратися от нас гневом своим, но в милостях и щедротах Твоих посети смиренныя рабы Твоя, ко Твоему благоутробию припадающия: восстани в помощь нашу и подаждь воинству нашему о имени Твоем победити; а им же судил еси положити на брани души своя, тем прости согрешения их, и в день праведного воздаяния Твоего воздай венцы нетления. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и во веков. Аминь».

— Если хотите, перепишите, — сказал Рябинин.

В сознании мелькнуло: — Нет! Не желая, однако, обидеть старика, я сказал:

— После... Сейчас мне хотелось бы осмотреть другой ваш музей, историко-краеведческий. Ты пойдешь, Никола?

— После... Перепишу молитву и приду.

— Мне, к сожалению, сейчас некогда, — сказал Рябинин. — Тоня, возьми ключи и отомкни товарищу.

Тоня стояла у плиты и чистила кухонным ножом кочерыжку. На дверном косяке висела на гвозде связка ключей. Брякнув ключами и откусив хрустящую кочерыжку, Тоня весело оглянулась на меня:

— Студеная! Детдом уехал, капуста неубранная осталась...

Музей был на втором этаже в том же доме. Тоня, мелькая по-детски длинными коленями, взбежала по лестнице и отомкнула висячий замок. Она была мила в шали, накинутой на плечи, простеньком ситцевом платьице, белом с брусничными пятнышками. На короткой шее синели дешевенькие стеклянные корольки.

Первая зала была уставлена сохами, цепами, прялками; в стеклянных шкапах стояли чучела глухарей и тетерок, лесных голубей. У входа во вторую залу белела этикетка: «Гостиная XIX века». Пояснялось, что картины и мебель взяты из Яропольца, соседнего села, где находились две знаменитых усадьбы — генерал-фельдмаршала графа Чернышева, вошедшего с русскими войсками в Берлин в 1760 году, и Н. И. Гончаровой, матери жены Пушкина.

В окна просторной, светлой гостиной били косые лучи. По зеркальному, позлащенному солнцем паркету Тоня выбежала на середину залы и радостно-восторженными, полными детского счастья глазами повела по стенам. Будто сквозь золотистую сетку на нас глядели со стен величественные седовласые дамы в шелковых серо-жемчужных платьях, екатерининские вельможи в париках и камзолах, красавцы-гусары в красных мундирах с золотыми шнурами и белых лосинах, тонко обтягивавших ноги.

— Какие они все важные! — воскликнула Тоня. — А этот, гляньте-ка, шаль намотал на голову!...

Она подбежала к серому от пыли бюсту, стоявшему у дверей. На гипсовой голове был тюрбан, лицо широкоскулое, татарское. Тоня потрогала меловой нос и поглядела на пальцы.

— Пыли-то сколько! Вот я возьму тряпочку — всё перетру! И зеркала́ надо вытереть, вишь как они потускнели... — показала она на овальные, заржавленные зеркала.

— А ты знаешь, кто этот широкоскулый, в тюрбане? — показал я на бюст.

Тоня кинула взгляд на этикетку:

— Гетман Дорошенко.

— Ты «Полтаву» Пушкина читала?

Когда-бы старый Дорошенко,
Иль Самойлович молодой,
Иль наш Палей иль Гордиенко
Владели силой войсковой,
Тогда-б в снегах чужбины дальней
Не погибали казаки!

— Дорошенко одно время жил у Чернышевых в Яропольце. Тут, — повел я рукой по стенам, — история наша, русская старина со всеми ее преданиями и особенностями быта. Монастырь, собор... — всё это наше, наше! Не знаю, как высказать, сколь дорого мне всё это, — как родной дом может быть дорог человеку! В старину люди жили по Божьим заповедям: «Чти отца и матерь твою», «Не пожелай дома ближнего своего», они стеной стояли, ограждая свой дом, гнездо, родину. А мы... оловянная чума нас съела! Расползлись... Тоня...

Девочка растерянно смотрела на меня, не понимая, о чем я говорил с таким волнением.

— Тоня, ты Богу молишься? — вдруг спросил я.

— Клавка молилась, так и я молилась... Подруга у меня

была, Клавкой звали, отсюда же, из детдома. Мы с ней на прядильной фабрике работали. Немцы Волоколамск бомбили, всё мимо нас летали. Клавка, как услышит «в-виу, в-виу», начинает шептать: «Святый Боже, святый крепкий, помилуй нас». Сперва я за ней повторяла, а потом и сама стала молиться.

— О чем же ты молишься?

— Рассказываю Ему, что придет в голову... прошу что нибудь. Не разбомбило бы нас, отпустили бы нас с фабрики обратно в детдом, — Ваську мне хотелось повидать, братишку младшенького, — тятенька приехала бы да маманька...

— Они — где? Ты их помнишь?

— Нет, не помню. В детдоме мы — сироты. Только работницы на фабрике говорили, что, может, тятенька и маменька не умерли, а живут в лесах и могут притти за нами, если хорошенько попросить Бога.

— А почему ты одна вернулась? Потеряла Клаву?

— Клавку разбомбило...

— Как же она так, не убереглась? И Бог не уберег ее... не помиловал! Характер у него злой, что ли? У меня сестренка есть в Москве, Даша, ей при бомбежке осколком в глаз ударило, а подруга у нее была, Валя Лукьянова, той весь живот разворотило. Бог, а с людьми обращается не по-божески...

— Ему не управиться, может быть? Ведь Он старенький, Бог... вы Его видели на иконе? Может, надо, чтобы Ему люди помогли?

Помолчали. В овальном, тускло блестевшем со стены зеркале я увидел свое лицо, сильно похудевшее за два месяца, проведенные на фронте, ссохшееся, с ввалившимися, бессонно горящими глазами.

— А вы... молитесь? — робко спросила девочка.

— Нет.

— Потому что Бог злой?

— Не только. Видишь ли... как тебе объяснить? Вот мы на фронте, курсанты из Москвы. Нас сто двадцать человек — рота. В роте у меня есть товарищи. Мы куском хлеба делимся, порою, спим под одной шинелью, во всем выручаем друг друга... по-братски. И вот, представь, они не веруют в Бога, не молятся... могу ли я молиться? Быть может, я даже и чувствую Бога, Его руку на мне, но я не хочу Ему молиться, не хочу о чем-нибудь Его просить, больше того — сбрасываю с себя Его руку, только, чтобы не изменять дружбе, братству, жить той самой жизнью, какой живут товарищи, во всем, до конца — до конца, разделять их судьбу. Понимаешь, верность...

— Ой! — вскрикнула Тоня и побледнела лицом.

На монастырском дворе затрещали зенитные пулеметы. Высверливая пропеллером воздух, за окном пикировал — казалось, прямо на крышу музея — немецкий бомбардировщик. Обнявши Тоню за плечи, я притиснул ее к себе — в простенке. Раздался удар, потрясший землю. В треске и звоне разбиваемого стекла, в «гостиную XIX века» ворвался острый, как бритва, ветер. Портреты дамы, одетой в тонкий шелк, с желтоватыми, яично-выпуклыми грудями, и красавца-гусара, затянутого в лосины, сорвались со своих мест и упали рядом на полу, средь битого стекла и штукатурки.

— В подвал! — крикнул я. — Бежим в подвал!

Тоня кинулась, прыгая через золоченные рамы портретов, осколки гипсового гетмана, в залу с сохами и самопрялками, оттуда — вниз по лестнице. Прямо от лестницы был проем, без двери, на монастырский двор, направо — дверь в полуподвал старика Рябинина. Девочка не успела взяться за скобу, как снова завыла косо-летящая фугаска.

— Па-адай! — заорал я и метнулся в угол возле выхода наружу.

Ослепительно-белый сверкнул огонь. Всё кругом затрещало, свернулось, сгорело, как над костром берестинка. В углу, втянув голову в плечи, я стоял, оглушенный, как бы вынесенный воздушной волной в другой мир и нечувствительный ко всему окружающему. Не знаю, как долог был этот момент отрешенности и одиночества, — полного одиночества человека, предстоящего страшной, необоримой силе, — быть может, не более полминуты. Тотчас же я почувствовал, как на моем теле стянуло кожу, — острая, перехватившая дыхание тошнота. Только потом я увидел, что коридор полон пыли, пахнущего селитрой дыма. Пыль оседала. На стене, на моей серой ворсистой шинели висели бело-кровяные комочки мозга, по ступеням лестницы и полу расплескалась кровь. Швырнутая воздушная волной вглубь коридора, под лестницу, Тоня лежала ничком без головы. Торчали хрящи шеи, белая кость позвоночника. Ситцевое платьице заголилось на подогнутом колене.

— Тоня!

Крик мой был заглушен новым взрывом на дворе, за собором. Пробежав через кухню, я плюнулся на пол в комнате старика-учителя. Рябинин и Юхнов лежали на усеянном битым стеклом полу — у стены под окнами. Я подполз к Рябинину и прижался к нему животом, обнимая поцарапанными руками.

— Где Тоня? — глухо спросил он, уткнувшись лицом в стену.

Я промолчал. На дворе следовали один за другим взрывы, и я, затаив дыхание, ждал последнего неминуемого удара, в то же время прислушиваясь, однако, не только к взрывам, но и к будильнику, всё время, теперь уже с новой, какою-то грозною силой, щелкавшему во мне. Каменные стены подвала дрожали.

— Где Тоня, я спрашиваю! — повернулся Рябинин всем телом.

Выцветшие старческие глаза блестели горячечно-маслянистым блеском. Опираясь руками, старик стал подыматься, но на мгновенье опять припал: снова завыла фугаска. Бомба скользнула вдоль стены и упала за окнами подвала. В окна, через наши головы, полетели камни, комки мерзлой земли. В комнате всё сорвалось с места — стол, стулья, картины, книги, крошечные частицы метели, опоясавшей в те дни Россию. Тотчас же после взрыва старик Рябинин поднялся на ноги и, будто подхваченный завихрениями, был вынесен из комнаты силой воздушного потока.

Взрывы стихли. Мы с Юхновым поднялись; у него лицо вспухло, глаза под крутым лбом сидели глубоко, но выпукло. Молча мы вышли из подвала. В коридоре я пошарил глазами, но Тони не нашел. На дворе смеркалось. За стенами монастыря слышалось большое движение: отступали войска. «Доваторцы», превращавшие монастырь в «узел обороны», построились неровными рядами и ушли; многие из них остались лежать на монастырском дворе в лужах крови. Тоня лежала у дверей на одеяле, прикрытая простыней.

Юхнов проговорил над девочкой:

...Выходила тоненькая-тоненькая,
Тоней называлась потому...

«Клавку разбомбило...» — послышался мне тихий голос Тони. И сразу же робкий вопрос: «А вы Богу молитесь?» Быть может, они уже встретились, Клава и Тоня? — щелкнуло вдруг во мне. Там, в загробной жизни... В загробной жизни? Да, в загробной жизни! Мы, люди нового времени, не верим в загробную жизнь, потому, что нас не потрясает видение гроба. Материализм, как чума, произвел ужасающие опустошения. Духовные проявления сводя к категориям чисто физическим, к обыкновеннейшей сублимации, он лишил человека живого, единственно плодотворного, трансцедентального начала. Исчезла любовь, доброта, вообще чувствительность — даже при

созерцании природы или произведений искусства. Духовные кастраты, эмоционально нищие люди, мы не думаем о смерти, о тайне смерти. И только теперь, сами очутившись на краю смерти, начинаем об этой тайне догадываться.

На покатом взвозе, у широких дверей приземистого складского помещения, появился старик Рябинин с киркой и лопатой на плече.

— Давай, Никола, поможем вырыть могилу, — сказал я.

Юхнов толкнул меня локтем:

— Бурков приехал!

Широкий в плечах, медвежковатый подполковник — начальник инженерного отдела 16-й армии — крикнул от ворот:

— Ко мне!

Мы подбежали.

— Электростанция заминирована?

— Так точно, товарищ подполковник.

— Взорвать!

Бурков повел глазами по двору и остановился на колокольне, наклонной и взбегавшей вверх кружевными ярусами.

— Колокольню тоже взорвать!

— Взрывчатки нет, товарищ подполковник, — ответил Юхнов.

— Найти! Как ваша фамилия... Юхнов? Вы отвечаете!

Подполковник выбежал за ворота и сел в машину.

— Кто на плотинах? — крикнул он из машины.

— Курсанты Попов и Люхов, — ответил Юхнов.

— Зачем же взрывать колокольню? — спросил я Юхнова, когда подполковник уехал.

— Боятся, стало быть, что немцы устроят тут наблюдательный пункт.

— Приказы, приказы... Полковник Гонтаренко: «Никакого отступления — впереди двадцать артиллерийских полков». Генерал Доватор: «Засядем в монастыре в тылу врага и будем делать вылазки». Подполковник Бурков: «Взорвать колокольню!» И никому не придет в голову, что полки вооружены горными мортирами, что за монастырскими стенами не укрыться, потому что сверху раздавят немецкие бомбардировщики, что никакого наблюдательного пункта немцам на колокольне не нужно, так как не на прудах же задержатся наши войска и установят оборону... Приказывают, чтобы что-то приказывать, а дело идет своим ходом, и никому не дано видеть этого таинственного хода мировых вещей. Откуда же нам достать взрывчатку, Никола?

— Пойду на дорогу. Может быть, кто везет тол или мины в обозе. А ты... взрывай пока электростанцию!

Неторопливо и осмотрительно проверил я заряды, зажигательные трубки, цепь детонирующего шнура. Вместе с тем, однако, нельзя пренебрегать и приказами, — пронеслось в голове. — Немцы за четыре месяца прошли от Восточной Пруссии до Москвы, но правда ли то, что нет силы, которая бы их остановила? Где? На Истринских озерах, канале Москва-Волга, даже тут, на прудах... — опорные пункты надежды! На войне приказы, по большей части, кажутся абсурдными и невыполнимыми. Но кто может сказать, что приказ невыполним, пока не отданы все силы на исполнение приказа? Невыполнимых приказов нет, и долг солдата на фронте — стоять до последнего, не щадя жизни, со всем спокойствием переступая порог смерти. Таинственен ход мировых вещей, таинственна мировая драма... То, что разыгрывается на полях Подмосковья, является лишь мимолетным актом этой вечной, не имеющей конца драмы, — все мы вовлечены в нее, и каждый из нас должен играть свою роль, пока не придет время сойти со сцены. Надо уметь принимать всё: болезнь, рану, смерть. Война не есть проявление злой воли Бога, но величайший урок смирения, бескорыстия, жертвенности.

До блеска наточенным перочинным ножом я обрезал на зажигательной трубке, привязанной к дверному косяку у входа в электростанцию, кончик бикфордова шнура. К пороховому сердечку, обнажившемуся на длинном кривом срезе, приложил спичечную головку и чиркнул по ней коробком. Шнур быстро зашипел, загорелся, стреляя искрами. Тридцать сантиметров бикфордова шнура — тридцать секунд... Только я забежал за угол соседнего здания, — раздался взрыв. Электростанция была превращена в развалины.

Юхнов пригнал на монастырский двор подводу, груженную продолговатыми деревянными минами ЯМ-5, ящик минный пятикилограммовый. Ездовой, стариковатый солдат в обледенелой, горбившейся шинели, складывал у церковной паперти мины и твердил:

— Ты, мил человек, расписку мне напиши на военное имущество... Правду сказать, я рад-радешенек от этого добра избавиться, — вишь, как кобыла боками носит, заморилась, куда там такую кладь везти! — а всё же расписку твою, с полным именем, я как-никак обязан предоставить по начальству.

— Напишу, напишу, — отвечал Юхнов. — Давай, Михалыч, делай зажигательную трубку!

— Жалко колокольню, Никола! Помнишь, еще Шевырев писал: «легкостью и стройностью зодчества она напоминает колокольню Пизы»... И ни к чему, совсем ни к чему ее взрывать!

— И жалко, и ни к чему!... — раздраженно ответил Юхнов. — Только я с немцами оставаться не собираюсь, а под трибунал тоже итти не хочу... Делай трубку!

Мы перетащили мины в колокольню. Кольцом обложили изнутри стену. Оставшиеся мины расставили по ступенькам лестницы. Достаточно было взорвать одну мину, — остальные взорвутся и без шнура, по детонации.

— Трубка?

— Готова... Я положил ее там, на ступеньках паперти.

— Неси скорее...

На двор залетали с визгом мины. За стенами монастыря, на опушке леса, сухо трещали автоматы. В сумерках, только я вышел наружу, мелькнула белая заячья шапка. Кто-то юркнул по лестнице вниз, в подвальную церковь под собором.

— Попов! — крикнул я. — Это вы, Попов?

Никто мне не ответил.

— Трубку! — послышалось из колокольни.

Юхнов вставил капсюль в мину и поджег шнур.

— Бежим!

Позади ухнул взрыв. На бегу я оглянулся. Колокольня, подсеченная у основания, сместилась всеми восемью ярусами чуть в сторону, на малую долю секунды повисла в воздухе и упала огромным холмом битого кирпича, в клубах ржавой пыли. На кладбище за собором, среди кустов можжевельника, Рябинин долбил киркой мерзлую землю. На труп Тони, лежавший рядом с могилкой, на плечи старика-учителя, на наши пилотки оседала кирпичная пыль. В зеленоватом вечернем небе, с наличников под главами собора, на нас смотрели строгие лики святых.

В воротах монастыря показались три-четыре немецких солдата. Один из них пустил нам вдогонку длинную очередь из автомата. Мы просунулись в пролом, пробитый доваторцами в старой, мшистой крелостной стене и кинулись, подобрав полы шинелей, к плотине.

— Ты знаешь, я видел в монастыре Попова... нырнул в подвал под собором!

— Пусть бы его там кирпичами завалило! — оскалился Юхнов.

На плотине издыхал, корчился в упряжке мул; из живота, разодранного осколком мины, вывалились кишки, — кровь дымилась на морозе. Под косогором полыхал костром трехтонный грузовик «ЗИС-5», опрокинутый и подожженный, повидимому, потому, что из-за него на плотине образовалась пробка. По темно-сизому, в багровых отсветах, льду перебегали редкие солдаты.

— Пашка, ты почему до сих пор не взорвал плотину? — выкрикнул, задыхаясь, Юхнов.

Пашка Люхов тревожно смотрел в сторону нижней плотины, где Стрелецкая улица Теряевой слободы переходила в шоссе Клин-Волоколамск.

— Приказ был, чтобы мне взрывать сразу же, как будет взорвана та плотина.

— Взрывай, не жди Попова, — кинул Юхнов и побежал вдоль пруда.

По берегу, освещенному пожарами, взметывая снег и комочки земли, били немецкие пулеметчики. На окраине Теряевой слободы наша пехота, числом не более полуроты, залегла в обороне. Оборона на прудах была слабой опорой для надежды, что тут удастся остановить неприятеля. Но, пробегая под пулеметным огнем по берегу пруда, вырытого Иосифом Волоцким, я знал, что война — таинственная драма, и верил, что бывает чудо на войне, непонятные, необъяснимые повороты. Плохой или хороший, солдат на переднем крае ни что иное, как инструмент чуда. «Может, надо, чтобы люди помогали Богу», — сказала Тоня, полная детски-наивной веры. Быть верным отчему дому и отчей вере... — опереться и стоять! «Дерзайте, стойте и узрите спасение от Господа, Господь бо поборет по нас...»

Юхнов был первым у плотины. Не успел я добежать, он нашел уже и запалил зажигательную трубку. Вслед за ним я прыгнул в глубокую, вывороченную фугаской воронку. На мгновение нас ослепила огромная, в полнеба, вспышка, осветившая на темном небе купола собора и стены монастыря. Припав лицом к скату воронки, мы слушали, как в вышине обломился и рассыпался брызгами столб воды и начали тяжело шлепаться комья земли, щебень, щепки. Тотчас же земля дрогнула от другого взрыва. В проломах разрушенных фугасами плотин ходуном ходила хлынувшая справа и слева вода.

Михаил Коряков.

С. И. ГЕССЕН, КАК ФИЛОСОФ

Сергей Иосифович Гессен, скончавшийся (на 63 году жизни) летом 1950 г., обладал бесспорно выдающимся философским дарованием — хотя сделал он в философии значительно меньше того, что мог бы сделать. Как огромное число русских творческих людей, он интересовался слишком многими вещами, в известном смысле разбрасывался, терял себя в специальных этюдах (особенно в области педагогики), а свести к единству свои размышления и построения уже не смог — последние 10 лет жизни он провел в Польше сначала под немецкой оккупацией, потом под оккупацией коммунистической...

Впрочем и в своих специальных работах Гессен всегда оставался философом, — у него вообще было тяготение к «прикладной философии», т. е. к применению общих принципов философии к отдельным сферам жизни и творчества. Так, будучи по образованию юристом, Гессен напечатал ряд превосходных этюдов о либерализме и о «проблемах правового социализма» (все эти статьи печатались в «Современных Записках»). Исключительная эрудиция в этих вопросах, тщательные анализы, развитые им в указанных статьях, имеют за собой везде определенные философские принципы. Достаточно например указать на замечательное учение Гессена о «многофункциональности личности», которое мы находим в одной из статей о правовом социализме (Совр. Зап., XXX, 927). В литературных этюдах, посвященных творчеству Достоевского[1], Гессен развивал очень много своих собственных построений в области этики. Но с особой силой вкус к «прикладной философии» сказался у Гессена в его педагогических работах. «Как философа», — пишет он в предисловии к большой книге по педагогике[2] — «меня привлекала возможность явить в этой книге практическую мощь философии, показать, что самые отвлеченные философские воп-

---

[1] Статьи эти печатались в «Соврем. Записках», а одна статья была напечатана в журнале «Путь».

[2] «Основы педагогики» (Берлин, 1923), стр. 8.

росы имеют практическое жизненное значение». В этих словах очень ясно выражено характерное для Гессена стремление связать «отвлеченные» философские вопросы с жизнью, — и оттого, оставаясь всегда философом, он так подробно входил в детали педагогического дела, стремясь и там усмотреть действие общих философских начал. Самый замечательный и яркий пример особого дарования Гессена в области «прикладной философии» являет его совершенно классический, единственный в мировой литературе и в то же время философски чрезвычайно интересный разбор педагогических идей Монтессори[3].

Чисто философских работ у Гессена было немного, и для характеристики его философского творчества надо брать все его работы — и его большую книгу по педагогике, и его статьи по юридическим и социальным вопросам, и его литературные статьи. Нельзя, однако, не пожалеть о том, что Гессен так мало писал по философии — широкий дар синтеза, большой дар в систематике понятий, сама идея «прикладной» философии — всё это в известной мере больше обещает чем дает. Тем не менее философское наследство, оставленное Гессеном, ёё таки значительно и ценно.

***

По своим основным взглядам Гессен примыкал к той форме трансцендентализма, которую развивал Риккерт и в которой так сильно сказалось влияние Фихте. Но Гессен всё же лишь примыкал к Риккерту, — по ряду вопросов первостепенной важности он выходил без колебаний за пределы чистого риккертианства. Конечно, не случайно тяготение Гессена к Риккерту, главная сила которого лежит не в общей теории познания, а в его замечательной книге по теории исторического знания. Риккерт (как и Дильтей) принципиально отрывает историческое знание от естествознания. Если в изучении природы, говорит Риккерт, образование понятий имеет в виду заменить многообразие реальности системой понятий (в которых исчезает всё индивидуальное и особое, что фактически находится в бытии), то в историческом знании задачей является как раз остановить внимание на индивидуальном и неповторимом. И если в естествознании на первый план выдвигается общее в вещах, то для исторического знания критерием при

[3] Там же, стр. 98-108.

изучении материала является момент ценности. Гессен целиком усвоил эту основную мысль Риккерта и с большим умением развил ее. В интересной статье «Крушение утопизма»[4] Гессен, повторяя Риккерта, развивает очень важное в его историософских построениях понятие «предания», как живой и творческой связи с прошлым. По любимому выражению Гессена, в прошлом уже «просвечивает» будущее, — и в этой его мысли нетрудно увидеть влияние Гегеля, который вообще очень ясно выступает в той же статье об утопизме: если «прошлое реально передается лишь в живых актах творчества», то всё же «сохранить предание — это значит уйти от него в творчество». «Единство предания и задания (т. е. творчества в данном случае В. З.) в последнем счете покоится на диалектическом единстве утверждения и отрицания[5].

Но «предание невозможно там, где нет задания», утверждает Гессен[6], — и в этом положении с полной ясностью выступает основное его учение о трансцендентальном «смысле» всего «ценного». Гессен, развивая основные положения Риккерта, защищал то учение о личности, согласно которому всё в ней ценное определяется тем, что она приобщается к высшим, надиндивидуальным ценностям. «Личность обретает себя» — писал Гессен — «только через работу над сверхличными задачами... без пронизанности наших действий сверхличными целями, они не продолжались бы одно в другом, не образовали бы целостного и непрерывного единства»[7]. «Могущество индивидуальности» — утверждал Гессен[8] — коренится не в ней самой, не в природе мощи ее психофизического организма, но в тех духовных ценностях, которыми проникается тело и душа человека в процессе его образования». Нельзя отрицать некоторой доли правды в этих словах, но нельзя и не заметить здесь тенденции имперсонализма — Гессен так и не сумел, может быть скорее не успел привести в равновесие учение о личном и сверхличном в человеческой индивидуальности. Кстати тут же отметить, что первая философская работа Гессена была посвящена трудному вопросу об «индивидуальной причинности». Суть проблемы здесь в том, что в понятии причинности

---

[4] «Совр. Записки», XIX (1924).

[5] Там же, стр. 285, 294. См. также «Основы педагогики», стр. 9.

[6] «Основы педагогики, стр. 31.

[7] Там же, стр. 67.

[8] Там же, стр. 365.

как бы «само собой» мыслится, что если в бытии вновь повторится «причина», со всеми привходящими условиями, то повторится и следствие. А это значит, что понятие причинности как бы исключает неповторимость, строгую индивидуальность в бытии, — и тогда замысел Риккерта об иноприродности исторического бытия (в отношении к миру) падает сам собой. На эту трудную для анализа, но очень ответственную для философии истории тему и написал свою первую философскую работу Гессен[9]. Но как раз ни в чем и не сказалось с такой силой дурное влияние Гегеля у него, как именно в всецелом подчинении темы личности трансцендентализму, т. е. в тенденции имперсонализма. Отметим тут же, что связывание подлинной индивидуальности с ее «укорененностью» в сверхличных ценностях Гессен переносит и на народ в целом. Но как в отношении к «коллективной личности», так и в отношении к отдельной личности, «метафизичекое ядро» есть для Гессена пустое понятие — «непроницаемость» каждой личности всецело зависит от ее (особой, правда) укорененности в мире сверхличных ценностей[10].

Удивляться тут нечему — на почве трансцендентализма построение метафизики невозможно, если же оно всё же замышляется, то лишь на почве преодоления трансцендентализма[11]. В этом отношении весьма любопытны попытки Гессена построить систему основных понятий. Он признает известную правду в «плюрализме понятий», т. е. признает известную независимость отдельных групп понятий, — но стремится преодолеть этот плюрализм через уяснение единства в этой системе. Начало единства (и это и есть самое характерное для всякой диалектики) он видит лишь в принципе иерархизма, в уяснении иерархических соотношений понятий. Гессен говорит о «методе полноты»[12], об иерархии понятий развиваемой из начального единства их в «полноте». Тут Гессен стоит, можно сказать, на пороге метафизики, — но... «Абсолютное открывается лишь в относительном», «абсолютное может быть только интуитивно прочув-

---

[9] "Ueber die individuelle Kausalität".

[10] «Совр. Зап.», XXX (1927), стр. 383 (статья «Проблемы правового социализма»).

[11] См. об этом в моей книге «История русской философии», т. II, стр. 351.

[12] См. статью Гессена «Монизм и плюрализм в системе понятий», Труды Рус. Нар. Ун-та в Праге, т. I (1928).

ствовано в множественности культурных ценностей», «абсолютную первооснову познать невозможно[13]. Правда, в одной статье о Достоевском[14] Гессен пишет: «соприкосновение к мирам иным есть постоянный и основной феномен нашей жизни», к религии, как непосредственному общению с «абсолютной первоосновой» Гессен относился всегда со вниманием и уважением, — но всё это философски его не затрагивало, не оплодотворяло. У него даже есть некоторая склонность к антисубстанциализму в духе Когена (с его отрицанием всякого Vorsein), — в одном месте он говорит о том, что «предмет построяется знанием»[15]. Подлинной бесконечностью обладает у Гессена (как уже у Фихте, да и во всем неофихтианстве) «безжалостная ненасытность долга»[16]. Добавим к этому, что эта бесконечность — безлична; а ведь личность в человеке определяется не ее природой[17], а лишь «укорененностью» в сверхличных, т. е. безличных ценностях, к которым в одном месте, с настоящим пафосом, Гессен применяет слова Платона о «безбрежном океане красоты».

Но в то же время Гессен с неподдельным пафосом развивает идею свободы в человеке, — впрочем для него свобода не «факт», а лишь задание. Мало того, свободные действия («свободные» потому, что непредвиденные в силу своей безусловной новизны... свобода есть творчество нового) не нарушают, оказывается, законов природы, они есть только «оттенок (!) наших действий».

Так тонкий и глубокий ум Гессена запутался в сетях трансцендентализма! Всей своей личностью защищая идею творчества, Гессен, поверив в трансцендентализм, т. е. отвергнув «запредельное» бытие, пошел путем имперсонализма и на этом пути у него свобода оказалась не последней тайной индивидуальности, а лишь трансцендентальной «функцией», проявляющейся в личности, но не связанной с метафизикой личности (ибо в личности и нет метафизического ядра). Правда, в одном месте Гессен высказывает (робко и не аргументируя) одно из глубоких его убеждений, что «Абсолютное

---

[13] «Основы педагогики», стр. 319.

[14] «Трагедия добра в 'Братьях Карамазовых'» («Совр. Зап.», XXXV, 1928).

[15] «Основы педагогики», стр. 227.

[16] Там же, стр. 183.

[17] Гессен говорит даже о «природной безличности человека» (там же, стр. 77).

не есть только последняя ступень развития, но сразу и его конец и н а ч а л о»[18]. Иначе как в смысле Vorsein, метафизически понятого Абсолюта, последнее слово нельзя истолковать: «к Нему (Абсолюту) можно притти, потому что оно у ж е е с т ь в начале», — но тут же гегельянская закваска заставляет Гессена добавить, что Абсолютное «нуждается в нашей свободе, без которой оно не раскрылось бы во всей своей полноте».

Где же подлинный с у б ъ е к т свободы? Акты свободы совершаются в личности, через них осуществляется личность («укореняясь в сверхличных ценностях»), но нельзя же эту самотворимую личность считать с у б ъ е к т о м свободы! Тут мы имеем дело с типичной запутанностью, проникающей весь немецкий идеализм, — и не один Гессен не смог вырваться из его цепких объятий...

***

Философское творчество Гессена — и в немногих чисто философских работах, и в его замечательных опытах «прикладной философии» (педагогика, социально-правовые темы, вопросы этики) — отмечено подлинным патетизмом. Философская восприимчивость соединялась у него с настоящим философским эросом, с живой устремленностью к Абсолюту, а трезвость ума, чрезвычайное умение систематизировать выдвигаемые им понятия могли бы дать плоды исключительной ценности. Но философскому дарованию Гессена не дано было развернуться в полноте — и внешние неблагоприятные обстоятельства жизни и внутренняя скованность мысли бесплодным и обеспложивающим трансцендентализмом помешали этому. Но в историю русской философской мысли Гессен вошел, как один из наиболее одаренных ее представителей.

Прот. В. Зеньковский.

---

[18] «Совр. Записки», XXXI (1927 г.), стр. 354 (статья «Проблемы правового социализма»).

ПАМЯТИ С. И. ГЕССЕНА

Сергей Иосифович приехал в Гейдельберг тремя, а может быть и четырьмя семестрами позднее меня. Немецким языком он владел еще слабо и искал русского студента-философа хорошо говорящего по-немецки, отчасти для перевода ему лекций, а отчасти для научных бесед на немецком языке. Кто-то назвал ему мою фамилию и он зашел спросить, согласен ли я заниматься с ним. После часовой беседы, я охотно согласился. С. И. сразу же заинтересовал меня. Он был еще очень молод, невелик ростом, но хорошо сложен, худ и неловок в движениях.

Одет он был на русский интеллигентский лад, по-стариковски: черный, неуклюжий пиджак, может быть с отцовского плеча, и высокий крахмальный воротник. Для меня, москвича, в нем было что-то слегка чужое, петербургское, и в говоре и в манере держать себя. Но всё это сразу же отошло на второй план, как только мы заговорили о философии.

Среди учившихся вместе со мною в Гейдельберге студентов-философов было не мало высоко талантливых людей. Целых семь человек из них заняло впоследствии философские кафедры и создали себе, как ученые, крупное имя, но ни в ком из них не было того интеллектуального восторга, который меня сразу же поразил в С. И. Думая, он весь сиял, с его лица не сходила улыбка привета самому процессу мышления и удивления перед ним. Лучшие минуты С. И. были те, когда он вдруг замолкал, как бы прислушиваясь к зарождению новой логической комбинации. В эти минуты он был трогателен, как ребенок с погремушкой.

Когда я познакомился с. С. И., он, конечно, не имел никакого готового миросозерцания, но всё же в нем уже чувствовалась некоторая направленность философской мысли. Думаю, что если бы Гессен родился лет на 30-40 раньше, и не попал бы под влияние нео-кантианства, он вероятно стал бы позитивистом-агностиком. Религиозной темы, или хотя бы только метафизической тоски в нем тогда не чувствовалось, но умен он был изумительно, при чем определенно критическим и даже скептическим умом.

В годы нашего студенчества мы оба были убежденными нео-кантианцами, почитателями и приверженцами наших учителей Виндельбанда и Риккерта. Но наше отношение к Канту и его последователям было с самого начала весьма разное. Исходя из признания Канта, что он «должен был устранить знание, дабы очистить место для веры», я с самого начала искал путей к религиозно-мистическому дополнению трансцедентальной философии. Кантианцем я в сущности никогда не был. Гессен же им бесспорно был уже потому, что он был убежденнейшим риккертианцем. Его посвященная проблеме индивидуальной причинности докторская диссертация считалась во Фрейбурге «лучшею работою Риккерта».

Возвращались мы с Сережей в Россию, он в Петербург, я в Москву не с пустыми руками и даже не только с планами и проектами в головах, а с очень выгодным контрактом, заключенным между редакторской коллегией международного историософского журнала «Логос» и крупным немецким издательством. Подписание аналогичного контракта с флорентийским издательством, в котором «Логос» должен был выходить на итальянском, французском и испанском языках, было почти уже решенным делом. Нам оставалось закончить начатое дело выпуском «Логоса» еще и на русском языке.

Содержание разноязычных национальных изданий нового журнала нами мыслилось отнюдь не тождественным. Сверх-национальная тема должна была разрешаться в разных национальных планах. Немцам русская философия должна была быть преподнесена иначе, чем французам и итальянцам, и от итальянцев нам нужно было заимствовать иные черты и начала, чем от немцев.

Этот сложный план международного «Логоса» вырабатывался нами совместно, но душею всей этой затеи был бесспорно С. И. Идея воплощения вечного Логоса философии в многоязычном журнале увлекала его своею новизною и красотою. Мне кажется, что она представлялась ему чем-то вроде трансцендентального Троицыного дня.

Никогда не забуду с каким просветленным, нервно подергивающимся лицом приходил С. И. на наши частые редакционные совещания, с какою радостью клал перед собою туго набитый портфель и, пожимая всем руки, провозглашал полюбившийся ему вариант известного изречения времен Французской революции: «Философия объявлена в опасности, мы заседаем непрерывно».

Первое «Учредительное собрание» редакционной коллегии

с ее московскими друзьями происходило на квартире П. П. Муратова, автора известных очерков об Италии и редактора журнала «София». Собралась только молодежь. Сережа с вдохновением раскрывал «идею Логоса», удивляя всех своею верою в его нужность и возможность его быстрого осуществления.

Хотя Сережа был всего только трансценденталистом, наделенным весьма критическим умом, в каждом его слове слышалась, быть может и несколько беспредметная, но всё же крепкая вера в наше начинание. Я не удивился бы, если бы он свое вступление закончил словами старца Зосимы: «Сие и буде, буде».

Слушая моего друга соратника, я не менее созванных нами москвичей удивлялся его оптимизму. Он как-то не замечал того холодка в отношении к нам, который мне чувствовался и в словах италофилов Муратова и Гривцова и в размышлениях любимого ученика Лопатина, Огнева, и даже в предостережениях бесконечно талантливого и блестяще парадоксального А. К. Топоркова.

При типично диалектическом уме, С. И. и по своему характеру был диалектиком: верил в возможность слияния противоречий между людьми и их точками зрения. Было в милом молодом Сереже некое порхание, какие-то диалектические качели над страшною бездною жизни.

Четыре года редактировали мы с С. И. «Логос» и ни разу не только всерьез не поссорились с ним, но даже и не перебросились друг с другом неприязненным словом, или хотя бы лишь полемическим письмом. Работать с С. И. было очень легко: во-первых, потому, что он никогда не отказывался от работы, а брал главную тяжесть на себя, а во-вторых, потому, что не лишенный некоторой хорохористости он был очень отходчив и добр самою настоящею добротою.

Дома, как в семье своего отца, так впоследствии и в своей собственной семье (Сережа был женат на дочери известного в Москве психиатра Минора), он как-то не расцветал, иной раз даже тускнел, словно прикрученный фитиль; зато на заседаниях, докладах и в особенности в гостях, он распространял вокруг себя атмосферу подлинной «симпозиональности». Еще недавно мне о профессорской деятельности С. И. с восторгом рассказывал его знакомый по Томску, добрый швейцарец, захваченный большевизмом в Сибири, а ныне благополучно учительствующий в Швейцарии. Обожаемый своими студентами, С. И. был очевидно и духовным центром Томского философского факультета.

Наше последнее свидание с Сережей в Росси связано в памяти с послеобеденною прогулкою по осеннему Царскосельскому парку.

Читая недавно стихи Кленовского, этого изумительного певца призрачных, но и бессмертных, «летийских теней», я с бесконечною болью вспоминал преждевременно отошедшего к ним Сережу, показывавшего нам Царское Село, в котором он тогда жил, и с гордостью петербуржца и с влюбленностью пушкиноведа.

«Двоился лебедь ангелом в пруду,
Цвела сирень, цвела неповторимо,
И вековыми липами хранима
Играла муза девочкой в саду.
И лицеист на бронзовой скамье,
Фуражку сняв, в расстегнутом мундире
Ей улыбался, и казалось: в мире
Уютно, как в аксаковской семье».

Эмигрантская жизнь С. И. сложилась не легко. Сначала Берлин, без настоящей работы, затем в продолжении трех лет профессорствование в Русскомъ Высшем Педагогическом Институте в Праге, а в 1939 г. переезд в Варшаву, случайное. почти чудесное спасение от гитлеровского налета на столицу Польши, страшная, трагическая смерть родных и очень близких людей в нацистских концлагерях и в результате всего совершенно подорванное здоровье. Как всё это можно было пережить? Но С. И. пережил и даже не потерял присущей ему бодрости. Его письмо из Польши, полученное мною в 1946 году, было полно планов всевозможных работ и даже радости, что мы снова можем переписываться.

Вплоть до 1939 года постоянно встречаясь с С. И. то в Праге, то в Дрездене (он нередко по несколько дней гащивал у нас, наслаждаясь удобной квартирой, вкусной едой, а главное, миром и покоем, которых у него не было) и постоянно, по старой привычке, ночами беседуя с ним о «последних вопросах», я вынес впечатление, что Сережа постепенно начал преодолевать тот трансцендентальный формализм, тонким исследователем и блестящим защитником которого он начал свою жизнь.

Этот безусловно подготовлявшийся в нем поворот лишь намечен в некоторых опубликованных им статьях, осознанного же поворота на новый путь и в них еще нет. Остается надеяться, что в оставшихся после него работах внимательному взору можно будет найти подтверждение моих надежд.

Федор Степун.

С. И. ШТЕЙН

29 января этого года в Нью-Йорке скончался профессор Семен Ильич Штейн, один из самых блестящих и острых представителей русской школы историков-медиэвистов. Его имя было мало известно вне узкого круга специалистов. Он не писал популярных работ; да и специальные были облечены в чрезвычайно строгую и трудную, почти математическую форму. С. И. отдал математике, как и философии, много сил и времени, и это не могло не отразиться и на стиле его исторических трудов. Они не многочисленны, эти труды, но написанные на немецком, французском и английском языках, вошли в европейскую науку, поставили острые проблемы, вызвали полемику и обеспечили русскому ученому, если не вечную, то долгую научную память.

С. И. родился в Одессе в 1887 году, учился в Петербурге и был пасынком известного политического деятеля и журналиста И. В. Гессена, в семье которого, одном из лучших культурных центров Петербурга, он мог встретить весь цвет тогдашней, предвоенной интеллигенции. Но и среди нее С. И. выделялся и ясным умом, и остроумием и широкой культурностью.

В Петербургский университет он пришел уже почти сложившимся ученым, после двухлетних работ в германских университетах (Гейдельберг и Фрейбург). Но «германистом» в историческом смысле Штейн никогда не был. В Германии он примкнул к той оппозиционной школе (Белов, Зелигер, Допш), которая вела критическую войну против традиций национально-романтической немецкой историографии, еще владевшей умами не только в этой стране, но и во Франции, в Англии и в России.

В Петербурге Штейн попал в круг медиэвистов-учеников И. М. Гревса, романиста по убеждениям, замечательного воспитателя, который с редкой объективностью взращивал самые противоположные научные дарования. В скрупулезной критической работе над источниками, но и в широкой гуманистической атмосфере старого Петербурга прошла молодость многообещающего ученого.

Его карьера оборвалась так же внезапно, как и культура императорской России. Петербургский приват-доцент оказался в Германии, работал больше по издательству «Слова» (русский отдел Ульштейна), хоть и не бросал своей научной работы. Уже в Петербурге он сосредоточился на социально-юридическом анализе памятников Каролингского средневековья. В Германии С. И. напечатал ряд статей о значении термина "Romanus" в памятниках франкского права. Отрицая национальный характер этого термина, Штейн выдержал нападение одного из видных представителей историко-юридической школы, У. Штуца, но не сдался: его самозащита была напечатана в журнале Зелигера.

Расцвет научной продуктивности С. И. совпал с самыми тяжелыми годами для Европы и еврейства, к которому он принадлежал по крови (не по религии и не по культуре). В 1937 г. он с женой оставил гитлеровскую Германию и нашел дружеский прием во Франции. Здесь он не только получил стипендию от Национального Центра Научных Изысканий, но и лестное поручение подготовить новое издание капитуляриев франкских королей. С. И. с головой бросился в новую для него область палеографических работ над рукописями, приобрел здесь большие знания и убедился в недоброкачественности изданий Monumenta Germaniae, считавшихся классическими.

К сожалению, чем дальше шла работа, тем меньше было надежды на осуществление издания. Увлеченный своей критикой, С. И. пришел к убеждению, что все капитулярии, приписываемые Карлу Великому, подложны, и что автором подлога является тот самый Гинкмар, арх. Реймский, которому приписываются знаменитые лже-исидоровы декреталии. Его "Etude critique des Capitulaires Francs" был напечатан в журнале "Le Moyen Age", 1941, 1, редактор которого Левиллен, один из немногих, отнесся с сочувствием к радикальным теориям русского ученого.

Не ограничившись капитуляриями, Штейн перешел к изучению «Салической Правды», древнейшего свода законов франкской эпохи, с тем же отрицательным результатом: Lex Salica, в его глазах, оказалась тоже подлогом, вышедшим из-под пера Гинкмара. Выдающийся французский историк Марк Блок, ознакомившись в рукописи с этой работой, не мог согласиться с ее отрицательными выводами, но отнесся с величайшим уважением к методу работы автора, признав особенно ценным в ней индивидуальное изучение рукописных сборников, как целого, а не их разорванных частей.

Переписка двух ученых происходила уже в подполье, во время гитлеровской оккупации Франции. М. Блок вскоре был убит наци, Штейну, вместе с его женой, удалось спастись, после мук лагерей, после долгого укрывания во французской деревне. В освобожденной Франции он мог, наконец, вернуться к своему любимому труду. В 1946 г. он приехал в Соединенные Штаты с командировкой от французского Научного Центра и, к несчастью, предпочел остаться в Новом Свете. Но здесь все его попытки устроиться в каком-либо научном учреждении остались безуспешными. Он стучался во все двери, проявил огромную энергию в борьбе с образовавшейся вокруг него пустотой. Журнал "Speculum" напечатал его работу "Lex Salica", но это всё, чего он мог добиться в этой стране.

Его последняя работа об эйнгардовом жизнеописании Карла Великого напечатана не была. Автор доказывал и его подложность. Несомненно, разрушительный характер его критики, при всем блеске его научной техники, не мог способствовать его академической популярности. Редкое дарование, тонкий ум, большая эрудиция казались затрачены на чистое отрицание. Последние годы С. И. жил на положении безработного, в большой нужде и одиночестве. Но за личной драмой эмигрантской жизни скрывалась большая и значительная драма научного призвания, не нашедшего творческого приложения своим силам.

Г. Федотов.

ПОРАЖЕНИЕ ХРУЩЕВА

В СССР, на фронте борьбы советского правительства с крестьянством, происходят крупные перемены. Советское правительство отказалось от планов принудительного сселения крестьян этой весною из мелких деревень в большие центры «укрупненных» колхозов. Политике, инициатором и руководителем которой был Хрущев, член Политбюро и один из секретарей ЦК коммунистической партии, нанесен сильный удар.

Хрущев был инициатором и главным руководителем большой кампании по укрупнению колхозов путем слияния мелких колхозов со смежными*. Эта кампания, начатая с весны 1950 г., в основных частях СССР теперь заканчивается. По данным, которые опубликовал Бенедиктов, министр земледелия СССР, из 252 тыс. колхозов, которые имелись во всей стране на 1 января 1950 г., «более двух третей» подвергнуто «укрупнению» и из них создано 60 тыс. новых «укрупненных» колхозов. Неукрупненными в 1951 г. вошло около 63 тыс. колхозов, из которых часть была укрупнена в начале 1951 г., часть же остается неукрупненной. Общее количество колхозов по всему СССР стабилизуется на цифре, приближающейся к 100 тыс. Укрупнение проводится в пропорции приблизительно 1 к 3. (Эта статья Бенедиктова напечатана 3 марта 1951 г. в газете «Социалистическое Земледелие», официальном органе министерства земледелия).

О хозяйственных результатах проведенной реформы по опыту одного года судить, конечно, трудно. Но из советских же данных ясно, что реформа натолкнулась на значительные трудности. Несмотря на огромное количество сельско-хозяйственых машин, брошенных в деревню, полевые работы проходили с большим запозданием. Ряд признаков говорит за то, что укрупнение вредно отразилось на животноводстве. Тревожные симптомы обнаружились на фронте сдачи продуктов государству.

Причиной всех этих неполадок было отрицательное отно-

---

* См. мою статью «Новый поход против деревни в СССР» в кн. 24-ой «Нового Журнала».

шение крестьянства к новой реформе, которая ломала все отношения в деревне. Наученное горьким опытом своей борьбы в течение трех с половиной десятилетий советской диктатуры, когда крестьянские восстания подавлялись самым беспощадным образом, на этот раз крестьянство, поскольку позволяют судить приходящие из-за железного занавеса известия, не выступало с активным протестом. Но практикой пассивного сопротивления был полон весь минувший год. Советская печать, по своему обычаю, систематически все эти случаи замалчивала, — и только по отрывочным замечаниям, которые иногда всё же проскальзывают, видно, что наблюдатели за жизнью деревни и знают об этих настроениях крестьянства, и считаются с ними.

С этой точки зрения весьма характерны очерки молодого писателя Сергея Антонова «Поддубенские частушки», напечатанные в минувшем сентябре в наиболее распространенном московском еженедельнике «Огонек». Автор, называющий себя землеустроителем, рассказывает, как он минувшим летом работал в одном из подмосковных сел, вырабатывая план севооборота для укрупненного колхоза. В рассказе явственно проступает желание автора сгладить все острые углы и изобразить жизнь деревни розовыми красками, — и тем не менее автор не может скрыть, что деревня укрупнение колхозов приняла с недоброжелательством и сопротивлением. Особенно характерна та сценка, где крестьянки, несмотря на угрозы председателя колхоза, отказываются разбирать птицеферму, перенесение которой на новое место стало необходимым из-за укрупнения.

В этой обстановке уже осенью прошлого года среди коммунистов возникли расхождения по вопросу о том, какую политику вести в деревне дальше. Одни считали необходимым, не считаясь с настроением крестьян-колхозников, продолжать и дальше ломку отношений в деревне, ставя прямой задачей полную их урбанизацию: превращение колхозов в фабрики зерна, превращение колхозников в рабочих и т. д. Другие были за временную приостановку *социального* наступления на деревню и за сосредоточение всех усилий на закреплении достигнутых результатов, путем дальнейшего увеличения числа сельскохозяйственных машин в деревне, с одной стороны, и усиленного насаждения там коммунистических групп, с другой.

Осенью победили сторонники первой линии поведения, — и 22 ноября 1950 г. в московских «Известиях» появилась руководящая статья, которая все прорехи минувшего сельско-

хозяйственного года объясняла тем, что реформа укрупнения колхозов не была доведена до конца:

> «Объединение мелких коллективных хозяйств, — стояло в этой статье, — составляет только часть намеченной работы по организационно-хозяйственному укрупнению колхозов. Теперь в укрупненных колхозах предстоит создать единые хозяйственные и культурные центры, провести землеустроительные работы. Преимущества объединенных колхозов в полной мере скажутся только в результате этих реформ».

«Известия» предлагали всем представителям советской власти на местах немедленно же приступить к подготовительным мероприятиям, — с тем, чтобы с началом весны стало возможным развернуть широкую деятельность по сселению крестьян в новые укрупненные центры.

Эта статья показывала, что вопрос о сселении крестьян поставлен на очередь в качестве ближайшего, неотложного, — и действительно в ближайшие месяцы развертывается и кампания подготовки к весенним операциям по сселению крестьян, и борьба вокруг этой политики. Эта борьба, конечно, проходит глубоко за кулисами партийно-полицейского аппарата правящей в стране коммунистической партии, но внимательный анализ газетных сообщений позволяет наметить основные ее линии.

В центре всей кампании подготовки к селению ставится Московская область. Так как инициатором и вдохновителем всей политики укрупнения был Хрущев, который совмещал в своей особе функции секретаря и ЦК, и Московского комитета партии, то эта роль Московской области вполне естественна: в начале 1950 г. именно она сыграла инициативную роль во всей кампании укрупнения колхозов и повела за собою все другие области и республики. Теперь Хрущев возлагал на нее же ведущую роль и в кампании сселения. По «Московской Правде», которая является лейб-органом Хрущева, можно проследить его работу в этом направлении.

20-22 декабря 1950 г. шли заседания пленума МК. После большой речи Хрущева (она напечатана в выдержках только в той же «Моск. Правде» от февраля 1951 г.) этот пленум принял большую резолюцию о сселении, в которой говорилось, что

> «сселение мелких, разбросанных деревень является одним из важнейших условий быстрого развития общественного

хозяйства, дальнейшего подъема культуры и улучшения благосостояния колхозников». («М. Пр.» от 6 янв. 1951 г.).

Передовая статья в этом номере «Моск. Правды», посвященная итогам пленума Моск. Ком., в восторженных тонах говорит об огромных успехах, достигнутых в деревне укрупнением колхозов. Но это — только начало, говорит передовая:

«Главное впереди: колхозное Подмосковье вступает в полосу больших строительных работ... Вопросы колхозного строительства должны быть в центре внимания райкомов и горкомов партии, исполкомов местных советов, каждой колхозной партийной организации, специалистов сельского хозяйства... Размах предстоящих работ огромен... Коренная перестройка села... не отдаленная перспектива. Это насущная задача сегодняшнего дня».

По «Московской Правде» за январь и февраль видно, что подготовительные работы проводятся в Московской области действительно бешеными темпами. Проводится серия партийных конференций и собраний для обсуждения этого вопроса, устраиваются специальные совещания с архитекторами и техниками, обсуждаются вопросы планировки новых поселков, расположения приусадебных участков и пр. Хрущев лично руководит этой кампанией, еженедельно выступая с большими речами на собраниях и совещаниях. В «Моск. Правде» за эти недели трудно найти номер, в котором не шла бы речь о сселении колхозов.

Подводя итоги за январь, начальник Московского областного управления колхозного строительства Колесников 1 февраля выступает в «Моск. Правде» с сообщением, что из 1.541 колхоза, существовавших тогда в области, в свыше чем 700 были уже разработаны проекты землеустройства, а в более чем 600 составлены планы строительства. И всё же Хрущеву кажется, что работа идет слишком медленно. Он беспощадно зажимает пресс партийного аппарата. Слетает ряд ответственных партийных работников, — включая непосредственного помощника Хрущева, второго секретаря Московского Обкома Морсина.

В этих темпах работа ведется до начала марта. Проблема «колхозного строительства» (под этим псевдонимом фигурирует сселение) стоит в центре всей работы, — и это несмотря на то, что как раз на эти месяцы (декабрь-февраль) приходятся две больших избирательных кампании по выборам — в местные советы и в Верховный Совет РСФСР.

Переломным моментом явился день 4 марта. В этот день в газетах «Правда», «Социалистическое Земледелие» и «Московская Правда» появилась большая статья Хрущева: «О строительстве и благоустройстве в колхозах». Для большей авторитетности статья подписана с титулом: «Н. С. Хрущев, секретарь ЦК и МК ВКП(б)». Эта статья представляет из себя доклад, который был сделан Хрущевым за полтора месяца перед тем, 18 января, на совещании по благоустройству в колхозах (в «Правде» она напечатана со значительными сокращениями против «Моск. Правды», но сокращения эти принципиального значения не имеют).

Это выступление Хрущева представляет большой интерес и по своему содержанию. Достаточно сказать, что в этой статье Хрущев высказывается за ограничение приусадебных участков при домах колхозников размерами 0. 10-0. 15 гектара с тем, чтобы остальная часть земли для личного пользования отводилась на общих полях. Далее Хрущев высказывается против постройки отдельных домов для каждого колхозника, допуская возможность создания домов многоквартирных. Он, наконец, решительно против наименования новых поселков «агрогородами», так как это название может возбудить у крестьян чрезмерные надежды:

> «Название город, — пишет Хрущев, — ко многому обязывает. Раз город, то здесь всё должно отвечать требованиям городской культуры».

Хрущев рекомендует подойти к делу скромнее и не будить у колхозников чрезмерных ожиданий...

Но еще больший интерес, чем это содержание статьи Хрущева, представляет история борьбы, которая вокруг нее развернулась: статья была напечатана 4 марта, а уже на следующий день, 5 марта, во всех газетах, где она была опубликована, появилась следующая заметка:

> «От редакции.
> Исправление ошибки.
>
> По недосмотру редакции при печатании во вчерашнем номере «Правды» статьи т. Н. С. Хрущева «О строительстве и благоустройстве в колхозах» выпало примечание от редакции, где говорилось, что статья Н. С. Хрущева печатается в дискуссионном порядке. Настоящим сообщением эта ошибка исправляется».

Для каждого, кто знаком с советскими условиями, ясно, что ни о каком «недосмотре редакции» здесь не может быть и речи,

не говоря уже о том, что «недосмотр», проявленный одновременно т р е м я редакциями, вещь вообще, даже чисто физически, невозможная. «Исправление ошибки» является бесспорным доказательством того, что за кулисами партийного аппарата вокруг статьи Хрущева развернулась острая политическая борьба, которая привела к небывалому в истории коммунистической практики последних двенадцати лет событию: к открытой дезавуации члена Политбюро и секретаря ЦК партии, — и притом к дезавуации, произведенной в резкой, даже грубой форме. Это был удар и по Хрущеву лично, и по политике, которую он пытался проводить.

Газеты последующих недель подкрепляют и уточняют этот вывод. Особенно характерна в этом отношении «Московская Правда»: как указано выше, в январе-феврале эта газета вела изо дня в день подготовительную кампанию к сселению, — начиная с 5 марта вся проблема вообще исчезает с ее страниц. На 6 марта было назначено и состоялось совещание инженеров и архитекторов по вопросам колхозного строительства. На этом совещании участвовали крупнейшие советские архитекторы, во главе с такими китами, как Иофан. Раньше под отчеты о таких совещаниях «Московская Правда» отводила чуть ли не целые полосы, — теперь она печатает краткую заметку в 23 строки. Дальше в газете вообще нет упоминаний ни о сселениях, ни о колхозном благоустройстве (в моем распоряжении газета до конца марта)... Как ножем отрезало!

Одновременно почти исчезает с газетных столбцов и имя Хрущева. Раньше он был самым многоречивым членом Политбюро. За январь-февраль, судя по «Моск. Правде» им произнесено на разных собраниях минимум 10 больших речей. Он был непременным участником всех торжественных похорон, всех парадных приемов. В марте газета не регистрирует ни одной его речи, ни одного открытого появления. Его имя, правда, упоминается среди членов Политбюро, присутствовавших на заседаниях Верховного Совета, — но его нет на похоронах Владимирского (а на похоронах Вавилова, в январе с. г., Хрущев произнес речь), нет даже на московской городской конференции, которая открылась 31 марта (а в январе-феврале он выступал на районных конференциях)... Все такие мелочи в Москве имеют большое значение!

Знакомство с общими методами работы советского и коммунистического аппарата дает нам возможность почти с полной точностью разобраться в значении всех этих фактов.

Политика Хрущева в области укрупнения колхозов с са-

мого начала пользовалась далеко не общими симпатиями и в самой коммунистической партии. Новый поход против крестьян пугал многих, — и глухое недовольство, с которым деревня встречала это укрупнение, только усиливало тревогу в рядах коммунистов. Особенных размеров эта тревога достигла минувшей зимой, когда вопрос о сселении стал вопросом ближайшего будущего. Центр нажимал на провинцию, требуя ускоренной подготовки к весеннему походу, — а провинция тянула, местами доводя дело до своеобразных форм пассивного сопротивления. В этом отношении весьма характерно письмо, напечатанное в «Правде» от 20 декабря об упорном нежелании членов Калининградского обкома принимать участие в обсуждении вопроса о колхозах. Если «Правда» отметила этот факт, то лишь потому, что он не является исключением, а характерен для настроений партийного офицерства во многих местах*.

Очень характерно, что этими настроениями оппозиции хрущевским планам, судя по всему, был заражен и аппарат Управления Пропаганды и Агитации ЦК партии. Во всяком случае по центральной «Правде», которая редактируется руководителями этого Управления, можно проследить, как целый ряд провинциальных и даже республиканских решений в области сселения, о которых сообщала местная печать, в «Правде» не находили своего отражения. Даже решение декабрьского пленума МК, которое цитировано выше и в котором с такой силой подчеркнуто всё значение весенней операции сселения, в «Правде» (от 25 декабря) передано без подчеркивания всей его ударности.

В особенности характерно полное отсутствие даже простых упоминаний о сселении в руководящих статьях «Правды». Той статье «Известий» от 22 ноября, которая первой дала лозунг немедленно же готовиться к большой операции по сселениям, в «Правде» соответствует статья о необходимости напречь все усилия для расширения производства зерна и о роли, которую в этом деле будут играть технически подготовленные кадры колхозников (№ от 1 декабря). На обсуждение вопроса о сселениях декабрьским пленумом МК та же «Правда» ответила передовой, центральной идеей которой была та же мысль о кадрах:

«Правильная организация подготовки массовых колхозных кадров — вернейшее условие дальнейшего подъема со-

* Значение этого эпизода в Калининградском обкоме впервые отметил Е. Невзоров в № 1 мюнхенского «Голоса Народа» за 1951 г.

циалистического хозяйства нашей родины» («Правда» от 23 декабря).

При систематическом сопоставлении параллельных высказываний на соответствующие темы редакций «Правды» и «Московской Правды» трудно отделаться от мысли, что между ними ведется скрытая полемика и в то время, как орган Хрущева на первый план выдвигает социальные задачи преобразования колхозной деревни, центральная «Правда» старается вернуть увлекающихся москвичей на почву реальной действительности, призывает заботиться о технике сельского производства, об обучении человеческих кадров, концентрировать внимание на конкретных проблемах приближающейся посевной кампании.

Этот спор двух линий подводит нас вплотную к моменту появления в печати статьи Хрущева о «благоустройстве колхозов». Конечно, совсем не случаен тот факт, что накануне публикации этой статьи Хрущева «Социалистическое Земледелие» напечатало большую статью Бенедиктова, министра сельского хозяйства СССР и члена ЦК, которая целиком посвящена той же теме, что и статья Хрущева, но трактует ее в совершенно иной плоскости. Ее заголовок дает представление об ее содержании: «Использовать все резервы для нового подъема социалистического сельского хозяйства». О принудительном сселении колхозников и о благоустройстве в ней нет ни слова, — вся она говорит о больных вопросах, связанных с предстоящей посевной кампанией. Статья Бенедиктова противостоит статье Хрущева, — как две программные статьи двух группировок, которые ведут борьбу за направление сельскохозяйственной политики страны.

Они, несомненно, и были такими программными статьями, написанными для споров в инстанции, которая имела полномочия решать вопрос. Дело в том, что они появились в печати 3-4 марта, — а 6 марта в Москве открылась сессия Верховного Совета. Но по давно уже заведенной традиции открытию сессии Верховного Совета предшествуют закрытые совещания съехавшихся депутатов (т. наз. совещания коммунистической фракции), а также совещания членов ЦК. Прежде сессии Верховного Совета всегда предшествовали заседания пленума ЦК, но за последне время ряды ЦК так поредели, что официальных пленумов, судя по ряду указаний, не устраивают (во всяком случае о таковых не публикуют официальных сообщений), заменяя их частными совещаниями. Ни заседания фракции, ни совещания членов ЦК не имеют никаких формальных прав по

партийному уставу ВКП, — но с настроениями, которые на этих собраниях выявляются, Политбюро всегда считается.

Можно быть уверенным, что такие совещания состоялись и на этот раз и что на них шел спор прежде всего о ближайших задачах в области колхозной политики. Спор этот, несомненно, шел в плоскостях, намеченных статьями Хрущева и Бенедиктова, и «исправление ошибки», одновременно напечатанное в трех провинившихся газетах, сигнализует нам о результатах этих споров...

Точка зрения Хрущева не получила поддержки, — и Политбюро признало нужным его публично дезавуировать. По поводу статьи Бенедиктова такого заявления напечатано не было. Его точка зрения, очевидно, в основном победила. Помимо всего прочего об этом свидетельствует руководящая статья в номере «Правды» от 5 марта, — в том самом, где был дезавуирован Хрущев. Эта передовая статья озаглавлена: «Науку и передовой опыт в колхозное производство», — и по своим основным идеям примыкает к статье Бенедиктова, и к тем статьям «Правды» от декабря-января, в которых, как отмечено выше, звучали ноты скрытой полемики с Хрущевым.

Всё это делает несомненным факт поражения, понесенного Хрущевым. Вопрос о сселении колхозников исчез со страниц советской печати, — даже со страниц «Моск. Правды». Во всяком случае этой весной Хрущев не будет вводить благоустройство в колхозах не только по всей стране, но даже и в одном «колхозном Подмосковье». И Хрущев лично переживает трудное время: как сообщает эриваньский «Коммунист», 20 марта с. г. Арутюнов, секретарь коммунистической партии Советской Армении, выступая на очередном съезде этой партии, говорил о фантастических планах сселения, с которыми носятся некоторые из видных деятелей партии. «Правда», давая обстоятельный отчет об этом съезде, конечно, не повторила этого выпада, откровенно направленного прямо против Хрущева. Но факт выступления Арутюнова (который считается весьма ловким придворным) является в высшей степени характерным: по обычаям, которые господствуют теперь в коммунистической среде, бить принято только лежачих, — или тех, кто лишь ждет последнего толчка, чтобы упасть. Арутюнов явно уже относит Хрущева к одной из этих категорий. Вполне возможно, что в этом вопросе Арутюнов прав, — хотя решающее слово всё еще не сказано: его скажет сам Сталин, который теперь в Москве и, следовательно, будет сам решать вопрос, — а он теперь более бережливо относится к людям из своего бли-

жайшего штаба, чем то было лет 12-15 тому назад. На этот раз дело зашло слишком далеко, чтобы оно могло пройти бесследно для главных действующих лиц, — и вопрос только в том, в какой мере оно их заденет? Насколько широк будет тот круг руководящих деятелей, которые будут признаны ответственными? Нападение «Правды» на Большой Московский Театр за «колхозную» оперу «От всего сердца», несомненно, стоит в связи с этой большой борьбой вокруг колхозной политики, — а внезапное закрытие «Культуры и жизни», органа Управления Пропаганды и Агитации ЦК, явно связано с судьбой этой оперы. Из этого следует, что перемены в личном составе захватят и это Управление, руководители которого, являющиеся одновременно и политическими руководителями «Правды», с политикой Хрущева совсем не солидаризировались...

Во всяком случае было бы большой ошибкой думать, что хрущевские планы вообще окончательно похоронены, — что чаша принудительного сселения минует советское крестьянство: эти планы настолько соответствуют самым характерным особенностям правоверного сталинизма, что сталинская политика, — в этом можно быть уверенным, — в той или иной форме к ним еще вернется. Вернее всего сегодняшний отказ от политики Хрущева является повторением маневра, к которому Сталин прибег весной 1930 г., когда своей статьей «Головокружение от успехов» (2 марта) остановил лобовую атаку против крестьянства. История и движущие силы того маневра известны: лобовая атака поставила тогда крестьян на дыбы, деревня была охвачена пожаром малых восстаний, которые вот-вот могли слиться в обще-народное движение*. Едва ли не еще более угрожающим с точки зрения Сталина были тогда настроения в среде работников партийного и советского аппарата, который начинал давать перебои. Остановив лобовую атаку на крестьянство и объявив ответственными за нее людей, только выполнявших его прямые распоряжения, Сталин сумел вывернуться из тяжелого положения: крестьяне ему поверили и местные восстания улеглись; колеблющиеся из аппарата были выброшены, на опасных стыках гайки были наново закручены, — и через некоторое время все отмененные

* Из очень осведомленного источника мне передавали, что сводка ОГПУ, полученная Сталиным в день написания статьи «Головокружение от успехов», давала действительно рекордную цифру крестьянских восстаний, а именно свыше 1.300.

мероприятия был проведены в жизнь. В 1932 г. Сталин о «головокружении» уж не говорил, — хотя в стране погибло от голода не то 5, не то 8-9 миллионов человек.

Очень похоже, что теперь Сталин в какой-то мере повторяет свой маневр марта 1930 г. Но если так, то следует думать, что и причины, сделавшие этот маневр необходимым в 1930 г., в какой-то мере и форме имеются налицо и теперь. Иными словами: следует думать, что деревня теперь в высшей степени неспокойна и что в аппарате диктатуры наблюдаются перебои...

Б. Николаевский.

ЗАМЕТКИ О ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ В СССР

Почти всю жизнь в СССР мне так или иначе приходилось соприкасаться с учащейся молодежью. Я прошел сам всю советскую учебную лестницу, начиная от школы первой ступени и кончая так называемой аспирантурой. Свыше десяти лет я имел дело со студентами ВУЗ'ов и Техникумов, сначала в качестве учащегося, а затем — как преподаватель. В результате накопилось значительное количество «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет», некоторые из которых могут представить известный интерес.

За эти годы в СССР мне неоднократно доводилось слышать в официальных речах и читать в казенной печати следующее глубокомысленное изречение: «У нас создался новый, невиданный еще в мире тип высшей школы; наше советское студенчество не имеет ничего общего с буржуазным студенчеством дореволюционной России и капиталистических стран». Это утверждение в значительной мере соответствует действительности. В самом деле, у советского студента и в учебном, и в бытовом, и в общественном отношении весьма мало точек соприкосновения с его дореволюционным или заграничным коллегой. Прежде всего, значительная часть советских студентов поступает в то или иное учебное заведение не потому, что оно соответствует их научным интересам и жизненным планам, а в результате командировок и «направлений» от партийных, комсомольских, профессиональных и прочих «общественных организаций». Эти командировки обычно совпадают с очередными кампаниями, распределяются «по разверстке», и получающие их люди в лучшем случае хотят вообще учиться, часто не имея возможности выбрать определенное учебное заведение или специальность. Но даже и те из студентов, которые сознательно выбрали учебную дорогу, попав в стены ВУЗ'а, лишаются в дальнейшем всякой инициативы.

Так как занятия на всех курсах и факультетах происходят, как правило, одновременно, то у студента фактически нет возможности прослушать какую-либо интересующую его лекцию сверх расписания. Популярность или непопулярность профессоров поэтому не играет никакой роли. Впрочем, у этих по-

следних остается очень мало возможности для проявления своей индивидуальности и еще меньше для высказывания собственных взглядов. Программа всех лекций, в весьма детальной форме, утверждается заранее и не должна ни в чем уклоняться от официальной точки зрения на вопрос, каким бы отвлеченным и далеким от политики этот вопрос ни был. Иногда такие лекции производят поистине жуткое впечатление. Чувствуется, что говорящий борется с самим собой, что его мысль не совпадает со словами, которые он выдавливает из себя — словно человек, приносящий по приговору суда извинения своему заклятому врагу. Понятно, что в таких условиях очень трудно возбудить в слушателях энтузиазм или хотя бы живой интерес.

Среди многих сцен этого рода мне вспоминается случай, когда на лекции по сравнительному языкознанию один профессор, несомненный и убежденный индо-европеист, долго и монотонно излагал нелепую теорию Марра о самостоятельном происхождении всех европейских языков, которые «вопреки взглядам буржуазных лингвистов отнюдь не развились из какого-то первоначального праязыка, а, напротив, должны будут слиться вместе после окончательной победы социализма во всем мире». Зрелище было настолько удручающим, что один из моих близких друзей, довольно легкомысленный парень, не выдержал и послал лектору анонимную записку следующего содержания:

«Изнемогая от мучения
Под страшной пыткой палачей,
На акт постыдный отречения
Уже согласен Галилей».

Признаться, я ожидал весьма печальных последствий; но ничего не произошло. О записке, повидимому, знали только трое: ее автор, я и, конечно, несчастный профессор, дальше которого она не пошла. Каждый, кто знаком с советскими порядками, легко может себе представить, какую бурю могла бы вызвать подобная «вылазка классового врага», если бы о ней стало известно бдительному начальству. Следствия, допросы, исключения и аресты посыпались бы как из рога изобилия.

Я упоминаю об этом эпизоде потому, что он представляется мне в некотором роде характерным. У меня есть все основания полагать, что критическое отношение к преподносимой «науке», как и ко всему советскому строю, развито среди советского студенчества в неизмеримо большей степени,

чем это заметно на поверхности. Проявления такой критики немедленно же затушевываются, сглаживаются, маскируются, как распрямляющаяся трава уничтожает оставленные на ней следы. Если власть наводняет ВУЗ'ы своими сексотами и доносчиками, то тысячи добровольцев ежедневно и ежечасно противодействуют их «плодотворной работе», часто сами рискуя весьма многим. Разумеется, ВУЗ'ы здесь не представляют собой какого-либо исключения: это — лишь одно звено в той своеобразной кампании «пассивного сопротивления», которую уже много лет проводит наш народ.

Интересно в связи с этим упомянуть о так называемом коммунистическом воспитании «через предмет». В дополнение ко всякого рода «марксистско-ленинским дисциплинам», отнимающим не менее четверти времени у любого курса, предполагается, что все прочие преподаватели должны ежедневно проводить угодную режиму пропаганду, так или иначе пристегивая ее к своему предмету. Действительно, учебники и учебные пособия переполнены цитатами из различных «вождей», наглядными примерами из области «соцстроительства» и «успехов сталинских пятилеток»; научные теории и взгляды от Гераклита и Аристотеля до Макса Планка и Джинса (с его «реакционной» гипотезой тепловой смерти вселенной) безаппеляционно разделены на «идеалистические», «льющие воду на мельницу поповщины и мракобесия», «служащие интересам господствующих классов» — с одной стороны, и «прогрессивные», «материалистические», для которых можно подобрать то или иное оправдание в трудах Маркса, Ленина и Сталина — с другой. Всё это сопровождается, мягко выражаясь, изобилием petitio principii и необходимые цитаты часто вставляются по классическому рецепту старого солдата, варившего суп из топора. Например, в учебнике педагогики, по которому я учился, было сказано, что Маркс в такой-то статье называет «Новую Рейнскую Газету» «газетным ребенком» и в связи с этим «делает ряд ценных замечаний о детской психологии». Дальше шли многословные рассуждения автора по педагогическим вопросам, основанные на чисто полемических выпадах и остротах Маркса, не имеющих, разумеется, никакого отношения к педагогике. Даже учебники иностранных языков большей частью пользуются в качестве материала не литературой того народа, язык которого изучается, а бледными переводами из тех же «вождей», навязшими в зубах статьями об ударных бригадах, счастливой колхозной жизни и неизбежном Днепрострое, сдабривая всё это ради, так сказать, couleur locale, заметками о междуна-

родной пролетарской солидарности, экономическом кризисе и забастовках в капиталистических странах.

Однако, преподаватели и лекторы при устном изложении материала в общем избегают советской пропаганды, кроме тех ее моментов, которые определенно указаны в программе. Недаром в «Правде» появилась статья министра просвещения РСФСР А. Вознесенского с требованием «решительно преодолеть объективизм и аполитичность, которые характеризуют еще работу наших учителей». Это относилось к средней школе, но та же самая преступная «аполитичность» всегда наблюдалась и в ВУЗ'ах, несмотря на то, что на каждом педагогическом совещании, в бесконечных статьях специальной и общей прессы и в многочисленных «методических» инструкциях с ней кончали «раз и навсегда». «Профессорско-преподавательский состав в своей массе», употребляя советское выражение, остается к таким призывам глух и безразличен. Только наиболее ретивые из молодых, «красных» профессоров, как правило наименее квалифицированные, стараются восполнить недостаток специальных познаний и эрудиции щедрыми ссылками на «основоположников» и «корифеев» марксизма. Студенты, особенно на старших курсах, относятся к подобным потугам со скрытой, но всё же заметной для опытного глаза иронией.

Но если преподаватели специальных предметов, как правило, инертны в политическом отношении, с тем большим усердием ежедневно и ежечасно «накачивают идеологию» сотрудники так называемых кафедр общественных дисциплин, существующих в каждом советском учебном заведении. От ветеринарного техникума и театрального училища до университета и химико-технологического института повсеместно в СССР изучаются «истмат» и «диамат» (исторический и диалектический материализм), штудируется «классический труд» по истории партии («Краткий курс истории ВКП») и несравненная «сталинская конституция», ведутся принудительные по существу кружки обсуждения текущей политики с обязательной «проработкой» статей из «Правды», «Известий» и «Комсомольской Правды» или кружки по изучению тех или иных отдельных произведений «корифеев», вроде «Материализма и эмпириокритицизма» Ленина или «Происхождения семьи, частной собственности и государства» Энгельса, выдаваемых за последнее слово науки.

Эта необходимость ежедневно усваивать огромное количество материала, не имеющего никакого, даже самого отдаленного, отношения ни к избранной специальности, ни к жиз-

ненным интересам, также весьма значительно отличает советского студента от его заграничных сотоварищей. Однако, дело не ограничивается одним изучением марксистской премудрости. Каждый студент в СССР должен еще обязательно участвовать в «общественной работе». Правда, это участие в громадном большинстве случаев ограничивается чистейшей формальностью: люди состоят председателями, секретарями или сборщиками членских взносов в местных ячейках насквозь казенных и мертвенно затхлых всесоюзных «добровольных обществ», вроде «Осоавиахима» или «Мопра», «оформляют» стенгазеты или малюют лозунги и лики вождей к различным дням «красного календаря». Совсем избежать «общественной нагрузки» нельзя, но обычно можно подобрать что-нибудь такое, что требует наименьшего конфликта с собственной совестью и не особенно много времени. Разумеется, при этом требуется проявить изрядную долю лавировки и лицемерия. Сказать, например, прямо, что не желаешь участвовать в работе «Союза воинствующих безбожников» — значило бы погубить себя; но можно отказаться, сославшись, предположим, на то, что и без того перегружен работой, так как собираешь взносы в профсоюз и, кроме того, принял «соцобязательство» чертить диаграммы для физического кабинета.

Вообще отношение к так называемой «общественной работе» весьма характерно для той угнетающей атмосферы вынужденного лицемерия и своеобразной двойной морали, которая существует во всех советских высших учебных заведениях, да и во всем советском обществе в целом. Можно с полной уверенностью сказать, что подавляющее большинство студентов относится к этой работе, как к ненужному, обременительному и неинтересному занятию. Понятно, что такую точку зрения редко высказывают открыто, но она считается столь несомненной, что при любом частном разговоре предполагается, как нечто само собой разумеющееся, что собеседник ее тоже придерживается. Те редкие оригиналы, которые проявляют энтузиазм или хотя бы какой-нибудь подлинный интерес к своим «нагрузкам», рассматриваются, как люди глупые или, по меньшей мере, весьма ограниченные и неразвитые. Обычно так оно и есть. Между тем на собраниях, в кружках, на унылых столбцах институтских «стенгазет» и в традиционных «договорах по соцсоревнованию» — всюду «общественная работа» превозносится, «ставится во главу угла», обсуждается с самым серьезным видом и даже с некоторым казенным восторгом.

Так называемый «актив» по существу не представляет

собой исключения из общего правила. Показное рвение, проявляемое активистами в «общественной жизни», слишком уж явно связано с личными карьерными мотивами и часто со стремлением отыграться на своих «нагрузках» за прорехи в учебных успехах. В любом учебном заведении мира есть, разумеется, более или менее успевающие слушатели, более или менее одаренные, прилежные или ленивые, «грызущие гранит науки» с увлечением или просто отбывающие повинность. Но несомненно нигде нет такого резкого различия в уровне общего развития среди учащихся одной и той же группы, как в Советском Союзе. Заграницей мне пришлось отчасти столкнуться со студенческими кругами. Вопреки моим ожиданиям, они не произвели на меня впечатления особого, невиданного у нас, блеска и эрудиции. Но мне сразу же бросилось в глаза отсутствие здесь одного довольно распространенного в СССР типа учащегося: человека ни по своим способностям, ни, тем более, по своим познаниям, ни в какой мере не соответствующего тому учебному заведению, в котором он находится. Достаточно сказать, что на последних курсах Ленинградского университета я встречал людей в буквальном смысле малограмотных. Бытовая речь этих советских «интеллигентов» пестрела самыми одиозными диалектизмами, а их кругозор был настолько ограничен, что они никогда не слыхали о существовании такого материка, как Австралия, а Лондон полагали находящимся в Америке.

С ортодоксально-советской точки зрения объяснение этому феномену таково: в отличие от заграницы высшая школа в СССР доступна широким трудящимся массам. Поэтому естественно, что некоторые из учащихся, вышедшие из глубинных слоев народа, еще не успели полностью «освоить культурное наследие» и приобрести необходимое общее развитие. В действительности дело обстоит далеко не так просто. Не говоря уже о том, что и заграницей есть немало студентов, вышедших «из глубинных слоев народа», как были они и в дореволюционной России, неучи отнюдь не всегда обладают истинно «пролетарским происхождением». В каждом советском ВУЗ'е есть значительное количество балласта, существующего милостью «высших инстанций» и собственной политической активности. Этот «социально ценный» элемент прекрасно отдает себе отчет в том, что одной наукой он продержаться не может и сознательно присовокупляет к ней полицейские и административные функции. Люди этого типа являются присяжными ораторами на всех собраниях, энергично

и шумливо проводят очередные «кампании», блюдут идеологию и разоблачают «происки классового врага» на профессорской кафедре и в студенческой среде. Это они суетятся с листочками, отмечая всех неявившихся во время первомайских и октябрьских демонстраций, «подрабатывают» резолюции, в которых «студенческие массы» благодарят партию и правительство за очередное благодеяние, вроде отмены стипендий и введения платы за обучение, и затем произносят сакраментальные заклинания: «Кто против? Нет. Воздержавшихся? Нет. Принято единогласно».

С грехом пополам окончив курс, они получают ответственные назначения, занимают руководящие административные посты, на которых с полным сознанием своего права командуют своими бывшими товарищами, так же как командовали ими в стенах институтов. Было бы наивно думать, однако, что эта советская элита пользуется покровительством лишь отдельных влиятельных лиц, разных высокопоставленных дядюшек и тетушек. Такого рода семейные связи имеют, конечно, большое значение, но главное всё-таки не в них. Сама государственная система сознательно и последовательно поддерживает и выдвигает этот характерный для СССР тип воинствующей бездарности. Власть прекрасно понимает, что никакое пролетарское происхождение не может служить гарантией политической благонадежности, если только человек чувствует, что твердо стоит на собственных ногах. Напротив, наука является своеобразной «пищей богов», и тот, кто хорошо усваивает эту пищу, не может очень скоро не осознать убожества официальной идеологии или, по крайней мере, не испытать весьма серьезных сомнений в ее непогрешимости. В этом отношении люди из подлинной народной среды часто оказываются еще опаснее так называемых «прочих», парализованных постоянным чувством страха из-за своего «социального происхождения». Правительству гораздо целесообразнее опираться в ВУЗ'ах, как и во всей советской жизни, на людей, которые в своей ежедневной практике постоянно получают напоминание о том, что всё их благополучие, настоящее и будущее, целиком связано с существованием режима.

Особенно резким отличием советского ВУЗ'а от соответствующих учреждений других стран является полное отсутствие в его стенах какой-либо подлинной идейной жизни. О работе преподавателей и профессоров я уже говорил. Каждый из них прекрасно знает, что среди его аудитории есть некто, затерянный среди других присутствующих, кто посажен сюда

не для науки, а со специальным заданием следить за «идеологической выдержанностью» лектора и немедленно сообщать «куда следует» о малейших «уклонах» или сомнительных местах. Я слышал о десятках «дел» против преподавателей, основанных на неосторожном слове, обмолвке или — чаще всего — на невежественном восприятии доносчиков, не сумевших толком разобраться в том, что они слышали. Известен, например, случай, когда Казанский университет во времена ежовщины вообще был вынужден на некоторое время приостановить занятия, так как подавляющее большинство профессоров и научных сотрудников было арестовано или отстранено от должности по доносам не в меру ретивых активистов.

Однако, наиболее тяжелое впечатление оставляет всё-таки отсутствие идейной жизни в самой студенческой среде. В начале тридцатых годов я познакомился в Ленинградском университете с молодой студенткой из Польши, дочерью польского коммуниста, по каким-то соображениям переведенного на жительство в СССР. Конечно, она была комсомолкой, но ее зеленая молодость и кратковременность ее пребывания в нашей «самой свободной» стране не позволили ей еще полностью овладеть великой сталинской наукой — держать язык за зубами. Иногда, особенно наедине, она проявляла излишнюю болтливость, совершенно чуждую советским гражданам.

— «Скучно у вас, — сказала она мне однажды. — Когда я училась в Варшаве, у нас были разные организации, дискуссии, споры, борьба. Конечно, в большинстве это были наши враги, но без них словно чего-то нехватает: не с кем ругаться, некому доказывать свою правоту. Вчера я выступала на студенческом собрании и, знаешь, мне почему-то вдруг представилось, что я говорю в пустом зале». Она помолчала несколько минут и затем добавила нечто такое, что я очень хорошо запомнил. «У меня появилось новое неприятное чувство, которого прежде не было... Пусть я говорю то же, что и раньше, но сейчас мне почему-то кажется, что это не мои мысли, не мои слова. Мне не из чего выбирать. Всё сделано за меня. Я тут совсем не при чем».

Действительно, советскому студенту не из чего выбирать. Истина дана раз и навсегда, точнее: вплоть до особого уведомления. Малейшее проявление самостоятельных взглядов беспощадно преследуется, употребляя выражение Маяковского, «с какой-то тупой полицейской слоновостью». Помню «дело» одного студента на первом курсе университета, осмелившегося «изобрести» собственную философию. Молодой па-

рень из глухой провинции, много читавший, но мало развитый и не сумевший толком переварить полученных знаний, он задумал примирить материализм с идеализмом в единой, как он выражался, стройной системе, где будет место и Марксу, и Гегелю, и Канту и Платону. Всё это было до крайности наивно и примитивно, но свидетельствовало о напряженной умственной работе, честном стремлении самому разобраться в сложных вопросах и дать ответ в соответствии с собственным разумением. «Философ» отнюдь не пропагандировал своей системы. Напротив, он даже тщательно скрывал ее и показал заветную тетрадь только некоторым ближайшим друзьям. Один из них «в порядке большевистской бдительности» выкрал записки и представил их в «соответствующую инстанцию». Для доморощенного мыслителя началась полоса тяжелых мытарств. Последовал вызов «на бюро», затем — в «спецотдел», где злополучная тетрадь уже фигурировала на столе, испещренная жирными пометками красным карандашем. После этого вопрос разбирался на закрытом комсомольском собрании и, наконец, виновный появился перед нами, простыми смертными, с публичным признанием своих идеологических грехов. В длинной покаянной речи он разбирал все свои еретические уклоны, объяснял их губительность и вредоносность и торжественно обязался вернуться к единственному источнику всяческой премудрости — диалектическому материализму с тем, чтобы никогда больше не пытаться загрязнить его хрустальной влаги мутными помоями буржуазного идеализма. В конце концов, этого «порожденного землей Российской собственного Платона», всё же исключили из комсомола и, употребляя ходячее студенческое выражение, «вышибли» из университета, так как выяснилось, что его философские загибы были не случайны, а уходили корнями в классовое происхождение; один из его ближайших родственников оказался кулаком, лишенным избирательных прав.

Подобные же истории просходили с людьми, увлекавшимися запретной поэзией Есенина или Гумилева, с теми, кто был замечен в неуместном энтузиазме по отношению к «буржуазным» научным теориям или проявлял недостаточное уважение к единственно-правильным марксистско-ленинским толкованиям научных фактов и гипотез. Нечего и говорить, что даже самый ничтожный намек на какую-нибудь независимость мысли в политической области преследовался с еще большей суровостью. Помню, как в день смерти Кирова, когда все ходили с лицемерно постными физиономиями и демонстративно взды-

хали, хотя громадному большинству, конечно, не было никакого дела до этого события, один студент, по прозвищу «трепло из Таганрога», по обыкновению шутил и громко разговаривал. Один из активных комсомольцев, разумеется, сейчас же призвал святотатца к порядку, сославшись на священную память усопшего вождя, но получил быстрый и весьма опрометчивый ответ:

— «Я тут не при чем: я его не убивал. Чего ты ко мне пристал?»

На следующую ночь веселый таганрожец был арестован ГПУ у себя дома, в студенческом общежитии. Больше мы о нем ничего не слышали.

Жизнь в Советском Союзе — сурово серая и жестоко однообразная, несмотря на всю свою истерическую крикливость и кампанейскую пестроту. Метко выразился один харьковский извозчик, старый, заслуженный «ванька», дежуривший у вокзала на разбитых дрожках.

— «Ну как, папаша, дела? Как жизнь?», — задал я ему традиционный вопрос. Я путешествовал по студенческому «литеру», впереди было много каникулярных дней, сияло солнце и мне хотелось быть приветливым.

Извозчик смерил меня укоризненным взглядом.

— «Да какая теперь, сынок, жизнь может быть?», — сказал он внушительно с наставительной, профессорской интонацией в голосе. — «Разве ты не знаешь? Не живем, а только переживаем. Вот как».

Уныло «переживает» весь наш народ, но, пожалуй, никто так бессовестно не ограблен духовно, как советская учащаяся молодежь. Идейные порывы и вдохновенные споры по поводу головоломных «вечных вопросов», молодое увлечение модными научными теориями и горячие прения до седьмого пота об очередных философских и литературных «измах», смелость мысли и бескомпромиссная чистота души — всё это закрыто для нее, отнято, захлестнуто мутной волной казенного лицемерия и тоталитарного полицейского надзора. Действительно, в Советском Союзе создан новый, еще невиданный в мире тип высшей школы!

В. Бондаренко.

РУССКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ ИЛИ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ АГРЕССИЯ?

1

Вопрос, поставленный в заголовке этой статьи, имеет сейчас не только историческое, но и актуальное значение. В попытках найти объяснение послевоенной советской политики, западный мир всё еще путается между двумя различными концепциями: то эта политика истолковывается как стремление коммунизма к мировому господству, то в ней видят не что иное, как возрождение «царского империализма». Смута в умах царит не только в общественном мнении, но и на верхах, где определяются основы западной политики по отношению к Советской России. Если в официальных заявлениях Трумана и Ачесона за последнее время обычно говорится о «коммунистическом империализме», то генерал Биделл Смит, бывший американский посол в Москве, ныне занимающий очень ответственный политический пост в Вашингтоне, очевидно, склоняется к теории вековечного русского империализма. Иногда оба мотива сочетаются в представлениях одного и того же государственного деятеля: так, президент Труман в одной из недавних своих речей (правда, это, повидимому, была импровизация) в числе предшественников Сталина-империалиста назвал не только Чингис-хана, но и Александра I-го!

Совершенно ясно, что от правильного ответа на обсуждаемый в этой статье вопрос зависит характер той политики, которую должны вести западные державы, чтобы преодолеть угрожающую им со стороны Кремля опасность. Эта политика будет одной, если бороться надо против «планетарных» замыслов коммунизма, и существенно другой, если приходится иметь дело с укорененными историческими традициями, которым во все времена и при всех режимах остается верна Россия. Понятно и то, какое огромное жизненное значение приобретает правильное решение этой проблемы для будущих судеб

русского народа. Попытка ее пересмотра является поэтому более, чем своевременной.

2

Дореволюционная Россия была империей и уже по этому одному не может быть освобождена от упреков в империализме. Как бы ни определять это понятие, — а в литературе вопроса можно найти много разнообразных определений, — для любого вида империализма характерно более или менее насильственное подчинение одного народа другому. Самое создание империи, которая есть не что иное, как многонациональное государство, объединенное под властью господствующего народа, — есть уже империалистический акт. Раз возникнув, империя обычно становится основой для новых империалистических поползновений. Ни в процессе своего создания, ни в дальнейшем своем развитии, Российская империя не составляла исключения из общего исторического правила.

Если бы указания на дореволюционный русский империализм ограничивались констатированием этого исторического факта, то спорить было бы не о чем. Но ведь в настоящее время речь идет не о том. Острие различных, модных сейчас в некоторых западных кругах, теорий заключается в утверждении, что на всем протяжении своей истории Россия была империалистической страной *par excellence*, своего рода — империей из империй. Если бы это было иначе, если бы старый русский империализм не отличался от империализма любой другой страны, ни количественно, ни качественно, то из него нельзя было бы вывести современную советскую агрессию, а только в этом и состоит назначение всех этих теорий. Ударение в них ставится именно на с п е ц и ф и ч н о с т и русского империализма. Тем самым Россия как бы противопоставляется всему остальному миру, и в первую очередь — миру западному. По этой линии и должна итти критика всех подобных утверждений в различных их вариациях.

3

Надо прежде всего отбросить со всей решительностью, как лишенное законных оснований, представление о том, что существуют народы о т п р и р о д ы воинственные или миролюбивые, империалистические или неимпериалистические. Едва ли в наши дни нужно доказывать теоретическую несо-

стоятельность этой своеобразной версии «расизма». Можно ограничиться небольшой, но достаточно красноречивой, исторической справкой. С конца 17-го и до середины 19-го века, французы довольно единодушно считались на континенте Европы самой воинственной и агрессивной нацией, а немцы большей частью изображались как миролюбивый и даже малоспособный к самозащите народ. Во второй половине 19-го века (точнее с 70-х его годов) была открыта извечная агрессивность немецкого народа, а французская воинственность отошла в область исторического предания. Во вне-европейском масштабе, в течение всего 19-го века природно-империалистической страной считалась Англия. Сейчас от этой былой английской славы мало что осталось, зато об американском империализме начинают говорить всё больше, и не только на страницах коммунистической печати. Совершенно очевидно, что в этих меняющихся оценках империалистической или неимпериалистической природы того или иного народа отражались фактические изменения в соотношении международных сил.

Вот почему вопрос о природе и судьбах русского империализма нельзя обсуждать иначе как в свете конкретных исторических данных. А при таком историческом подходе — первое, что бросается в глаза, это не исключительность русского развития, а, напротив, его параллелизм с развитием других европейских стран. Если даже и считать Киевскую Русь первой попыткой создания русской империи («империи Рюриковичей», по выражению Маркса), то и тогда придется признать ее довольно близким повторением, только с некоторым историческим запозданием, такой же попытки, сделанной на западе Каролингами. В обоих случаях мы наблюдаем один и тот же процесс создания государства на довольно элементарной политической основе, начиная с покорения близких по этническому составу групп и кончая захватом соседних территорий с иноплеменным населением. И в обоих случаях созданная «империя» оказывается недолговечной и распадается под соединенным давлением внутренних центробежных сил и враждебного внешнего давления (азиатские кочевники на востоке, арабы и норманны на западе). За этим следует период раннего феодализма в Западной Европе и (всё с тем же историческим запозданием) «удельной» раздробленности в России.

С возвышением Москвы и переходом к имперской экспансии большого масштаба прекращается и это историческое запоздание России. Образование Московского царства есть явление не только параллельное, но и одновременное с ростом

национальных государств на Западе Европы. Это — одна из глав в обще-европейской истории нового времени. Наши Василии и Иваны, собиравшие «русские земли» — современники Фердинанда и Изабеллы в Испании, Людовика XI-го во Франции, двух Генрихов и Елизаветы в Англии. По существу они преследуют те же цели, пользуются теми же методами и так же ищут для своей политики «идеологического оправдания». Напрасно польский историк Кухаржевский* видит в агрессивности, коварстве и лицемерии ранних московских царей что-то специфически русское. Не они одни из европейских правителей того времени (да и только ли того времени?) пускали в ход, по обстоятельствам, то силу, то хитрость, нарушали договоры или проявляли беспощадность к побежденному противнику. Для каждого примера их политического аморализма можно без труда подобрать западные параллели. И если они, в оправдание своей политики, ссылались подчас на фиктивные права или сомнительные исторические традиции, то таким же мифотворчеством усердно занимались и западные «легисты». Даже пресловутое московское мессианство имеет свою параллель в долго жившей на Западе идее восстановления Римской империи.

В сфере колониальной политики, русское движение на Восток, постепенное освоение северной Азии, происходило одновременно с европейской экспансией в новом мире, по ту сторону Атлантического океана. Ермак — современник Пизарро и Кортеса. Покорение Сибири тоже есть глава из общеевропейской истории. И там и здесь мы видим то же сочетание частной инициативы и государственного контроля, экономических и политических мотивов, мирной колонизации и насильственного завоевания.

Была, однако, в русской экспансии одна особенность, которая, как мне кажется, имела большое значение в генезисе преувеличенных западных представлений о якобы исключительном ее размахе. Как держава континентальная, никогда не обладавшая значительной морской силой, Россия не могла иметь разбросанных по всему свету заморских колоний, а распространялась по суше в смежные с нею области. Оптический эффект, производимый такого рода экспансией, много сильнее того, какой получается от колониальной экспансии английского типа. На карте мира глаз наблюдателя сразу видит сплошное пространство, закрашенное одной краской, тогда как нужно

* См. его книгу *The Origins of Modern Russia.*

некоторое умственное усилие (хотя бы в пределах подсчета квадратных миль), чтобы представить себе размеры Британской империи. Именно на этот эффект расчитывал Маркс, когда, накануне Крымской войны, пугая западный мир «русской опасностью», он подсчитывал, на сколько миль продвинулась русская граница в разных направлениях, начиная с петровского времени*. Если бы Маркс начал с Ивана Грозного, эффект получился бы еще более сильный. Но для правильной перспективы следовало бы одновременно подсчитать и увеличение территории Британской империи.

Если не считать ближайших соседей России, в западном мире страх перед «русской опасностью» появился довольно поздно — едва ли раньше середины восемнадцатого века. В его возникновении большую роль сыграл необычайно быстрый (в исторических темпах) рост России, как великой европейской державы. Успехи внешней политики Петра и Екатерины в глазах западного мира носили драматический, чтобы не сказать сенсационный, характер. Почти внезапно возник могущественный новый фактор, нарушавший сложившееся равновесие в европейских международных отношениях. Из великих держав первой встревожилась Франция. По мере того, как Россия осуществляла свои конкретные политические задачи, она ослабляла Турцию, ослабляла Польшу, ослабляла Швецию, то-есть разрушала тот самый «восточный барьер», на сооружение которого, в целях борьбы с Габсбургами, французская дипломатия потратила так много усилий. Англия обеспокоилась позднее — только тогда, когда на рубеже двух столетий английские и российские имперские интересы впервые начали приходить в столкновение. И здесь опять повторилось то, что раньше было в случае с Францией. Продвигаясь к берегам Черного моря и оттуда начиная оказывать давление на Турцию, укрепляясь на Кавказе и оттуда пытаясь распространить свое влияние в Персии, или двигаясь в Закаспийские области в направлении Средней Азии, Россия преследовала отдельные конкретные цели, не связанные никакой «общей идеей». Но с английской стороны эта экспансия в разных направлениях могла выглядеть, как систематическое наступление на Британскую колониальную империю.

По понятным психологическим причинам, западные страны

---

* Данные эти недавно воспроизвел Bertram D. Wolf в своей статье "Marx on the Truman Doctrine", напечатанной в журнале New Leader (9-III-1951).

могли преувеличивать размеры «русской опасности». Но в исторической перспективе русский империализм того времени не представляется явлением исключительным и беспримерным. Еще в первой половине 17-го века в стремлении к мировому господству серьезно подозревали Габсбургов. К концу того же века главным «врагом рода человеческого» оказался Людовик XIV-ый, старший современник Петра Великого. Современником Екатерины II-ой был Фридрих Великий, этот, по выражению канцлера Бестужева, «внезапный король Прусский», агрессивная политика которого вызвала к жизни европейскую коалицию — с участием России. Возвышение Пруссии не менее, чем возвышение Росии содействовало нарушению равновесия сил в Европе. И уж, конечно, Фридрих II-ой не в меньшей мере, чем Екатерина II-ая, был ответственен за самое драматическое событие в международной жизни того времени — раздел Польши. Нужно ли говорить, что ни один акт русской экспансии конца 18-го и начала 19-го века не произвел таких потрясений на европейском континенте, как экспансия Франции в наполеоновскую эпоху? Единственная (до Гитлера и Сталина) реальная попытка создать всеевропейскую империю была сделана не Россией, а Францией.

В 19-м веке одним из главных объектов русской политической экспансии был Ближний Восток. Но и здесь Россия была не единственным и не всегда главным агрессором. Ближний Восток потому и сделался нервным узлом дипломатических взаимоотношений между европейскими державами, что в этой области скрещивались и сталкивались империалистические интересы нескольких стран. Франция начала свое проникновение в Оттоманскую империю, сначала экономическое, а потом и политическое, задолго до появления России на Ближнем Востоке. Австрия стала проявлять активный политический интерес к Балканскому полуострову много раньше России. С конца 18-го века восточное Средиземноморье приобрело для Англии исключительное значение, как одно из существенных звеньев в системе имперских сообщений. Много позднее в игру вошли также Германия и Италия. И было бы большим извращением исторической истины утверждать, что только одна Россия вела на Ближнем Востоке агрессивную империалистическую политику, а другие державы только от этой политики защищались.

Такую же картину мы наблюдаем и в конце 19-го и начале 20-го века, в эпоху так называемого «неоимпериализма». С каким бы осуждением ни относиться к русской поли-

тике на Дальнем Востоке, приведшей к Русско-Японской войне 1904-1905 годов, нельзя упускать из виду, что политика эта была составной частью той общеевропейской империалистической экспансии, которая одно время грозила самому существованию Китая, как самостоятельного государства. Началась она задолго до конца 19-го столетия, причем в первоначальных ее стадиях Англия и Франция играли более активную роль, чем Россия. В 1890-х годах сигнал к нападению на Китай был дан Японией, а в последовавшей «драке из-за концессий» (“scramble for concessions”), наряду с Россией участвовали Англия, Франция и Германия. Не забудем также, что к тому же историческому периоду относится раздел между несколькими европейскими державами значительной части Африки — раздел, в котором Россия участия не принимала.

4

Из этого беглого обзора исторических фактов вытекает неоспоримый, по моему мнению, вывод, что дореволюционный русский империализм в существе своем не отличался от империализма других великих держав мира. Российская империя была одной из империй обычного в мировой истории типа, и ее политика была традиционной империалистической политикой. И самое возникновение этой империи, и дальнейшая ее экспансия не требуют поэтому для своего объяснения ссылок на «русское мессианство» или какие-либо своеобразные черты «русского национального духа».

Если принять правильность этого положения, то тем самым в сущности уже a priori решается вопрос, можно ли считать современную внешнюю политику советского правительства простым продолжением «царского империализма». Подобно тому, как советский государственный строй (или современное тоталитарное государство вообще) коренным образом отличается от национальных государств традиционного типа, всё равно будут ли то неограниченные монархии, конституционно-монархические режимы или республики, — так и внешняя политика такого тоталитарного государства есть нечто радикально и принципиально новое. Но так как, несмотря на ее очевидность, разница эта всё еще далеко не всеми осознана, то нельзя ограничиться одним априорным утверждением и приходится подвергнуть вопрос дальнейшему анализу.

Едва ли будет ошибочным предположить, что эта иллюзия тождества между двумя русскими политиками, дореволюционной и советской, создается одним очень простым обстоятельством: в обоих случаях объектом экспансии часто являются те же территориальные области. Почти для каждого империалистического акта или поползновения советского правительства можно без труда найти внешне убедительный исторический прецедент. Финляндия, Прибалтика, Польша, Бессарабия, Балканский полуостров, Константинополь, Босфор и Дарданеллы, Персия, Китайский Туркестан, Монголия, Манчжурия, Корея — страницы дипломатической истории царской России пестрят этими географическими названиями не в меньшей мере, чем газетные и журнальные статьи наших дней, и тем создают впечатление полной исторической преемственности.

Но если только не впадать в географический фатализм, допустимо ли придавать этому факту решающее значение в истолковании советской внешней политики? Ведь, в конце концов, дело сводится к тому, что Советский Союз занимает на земном шаре всё то же место, которое до него занимала Российская империя, и потому, при наличии экспансионистских тенденций, он в первую очередь проявляет их в тех же самых, смежных с его границами, областях, в которых проявляла их и Российская империя в периоды своей экспансии. Из этого еще никак нельзя заключить, что цели, методы и общий характер экспансии остались теми же самыми.

Часто — и справедливо — говорят о необычайном территориальном размахе и динамизме послевоенной советской внешней политики. Политика эта носит «планетарный» характер и с исключительной настойчивостью пытается одновременно осуществить ряд агрессивных целей в разных концах земного шара. Уже это одно резко отличает советскую политику от политики императорской России, которая, как правило, преследовала ограниченные цели и преследовала их в известной очереди. Петр очень быстро отказался от борьбы с Турцией, чтобы сосредоточиться на борьбе за Балтийское побережье. Екатерина удовлетворилась завоеванием Черноморского побережья и с легкостью сдала в архив знаменитый «греческий проект», компенсировав себя за счет Польши. На Венском Конгрессе Александр I-ый без особой борьбы отказался от своего первоначального польского проекта как только столкнулся с решительной оппозицией со стороны других держав, включая и собственныхъ его союзниковъ. Николай I-ый, в результате одного дипломатического давления, отказался от исключительных

преимуществ, полученных Россией от Турции по Ункиар-Скелессийскому договору. И после Крымской войны, и после Берлинского конгресса русская дипломатия немедленно сделала надлежащие выводы из понесенного ею поражения и, временно «положив ближне-восточный вопрос на лед», сосредоточилась на разрешении других конкретных задач — в Азии. Нечто подобное произошло и после Русско-Японской войны, когда, потерпев поражение на Дальнем Востоке, Россия пошла на раздел сфер влияния с Японией, заключила соглашение по средне-азиатским вопросам с Англией и лишь после того снова выдвинула свои ближне-восточные задачи, в достаточно умеренной и осторожной форме, пытаясь добиться удовлетворительного их решения путем дипломатических переговоров.

Я знаю, что в некоторых кругах, не только иностранных, но и русских, есть тенденция объяснять эту разницу большей военной и экономической мощью Советского Союза. Думаю, что мощь эту не надо преувеличивать, как не надо и преуменьшать, задним числом, силу императорской России. Во всяком случае, к некоторым периодам дореволюционной русской истории объяснение это неприменимо. Дело, конечно, не в абсолютных цифрах, а в том, какова была сила России сравнительно с силой других великих держав. Ни при Петре, ни при Екатерине, ни при Александре I-ом Россия не была слабым в военном отношении государством. Есть и другое объяснение, более основательное. Оно заключается в ссылке на то исключительно благоприятное международное положение, которое сложилось для советской власти к концу великой мировой войны. Всякое разрушение установившегося равновесия сил и крушение сложившихся политических образований создает соблазн для экспансии, и, конечно, тот почти всеобщий хаос, который принесла с собой последняя война, во много раз превосходил то, что имело место после любой из предыдущих войн — по крайней мере в новой истории. А это значит, что перед Сталиным открылись возможности, которых ни один из русских императоров никогда не имел.

И всё же это обстоятельство до конца динамизма советской политики объяснить не может. Разница между двумя политиками носит характер не количественный, а качественный. Дореволюционная русская политика не имела планетарного или хотя бы континентального размаха не только потому, что у русской дипломатии того времени руки были связаны необходимостью считаться с достаточно сильными соперниками, но еще — и главным образом — потому, что она, в отличие

от дипломатии советской, никаких планетарных задач себе не ставила. И не ставила их потому, что у ней не было никакого всеобъемлющего политического плана, за которым стояла бы какая либо общая идея, подобно тому, как за всеобъемлющим советским планом стоит идея мировой революции*.

Это мое утверждение расходится с возрожденной в наши дни теорией о присущем русскому народу мессианству. Оставим пока в стороне вопрос о народе и сосредоточимся на вопросе о роли мессианства в политике русского государства. В чем обычно видят проявление этого мессианства? Прежде всего в знаменитом учении о Москве-Третьем Риме. Вокруг этого вопроса накопилось много недоразумений. Идея Третьего Рима возникла в церковных кругах на религиозной почве и она имела действенное и практическое значение в процессе утверждения национальной самобытности и независимости русской церкви. До известной степени она вложилась и в создание идеологии русского самодержавия Но ни одному историку не удалось еще доказать, что она оказала какое-либо влияние на внешнюю политику московского государства. Московское правительство не только никогда не предъявляло своих прав на «византийское наследство», как предъявляло оно свои права на наследство «владимирское» или «киевское», но упорно от него отмахивалось даже тогда, когда западные державы, в собственных своих целях, старались Москву этим наследством соблазнить. Московские дипломаты были в достаточной мере реалистами, чтобы понять невозможность осуществления идеи Третьего Рима.

От Третьего Рима обычно делается большой скачек к панславизму 19-го века, и здесь опять этому спорадическому, неорганизованному движению придается значение, которого в реальности оно не имело. В большинстве случаев, панславизм оставался «умонастроением», питавшимся из различных идеологических источников, многие из которых не имели связи ни с религиозной идеей Третьего Рима, ни даже с романтической историософией раннего славянофильства. В различные моменты отдельных панславистов можно было встретить в диплома-

* Считаю нужным отметить, что с моей точки зрения безразлично, жива ли еще и сейчас идея мировой революции, в ее первоначальной интерпретации, или же она выродилась в идею мирового тоталитарного господства, ставшего самоцелью.

тических, военных или придворных кругах, но никогда панславизм не был официальной правительственной доктриной, ни в 19-ом веке, ни позже. Даже в самый разгар панславистской агитации, во время балканского кризиса 1870-х годов, правительство не только не отождествляло себя с панславизмом, но, наоборот, от него отгораживалось, а порой даже обрушивалось на него с карами (как на Ивана Аксакова после Берлинского конгресса). Известно также отрицательное отношение к панславизму Николая I-го.

Столь же необоснованно и утверждение о стремлении императорской России к всеевропейской гегемонии. Как бы ни относиться к идее Священного Союза, нельзя забывать, что, по замыслу Александра I-го, это была идея не русской гегемонии в Европе, а идея прочного и длительного международного соглашения. Более того, идея эта так и осталась идеей, в последующих событиях игравшей не бóльшую роль чем та, которая в наши дни выпала на долю Атлантической Хартии. Всё, что обычно приписывается Священному Союзу, на самом деле было политикой того четверного, а позднее, с привлечением Франции, пятерного союза, в котором Россия далеко не всегда играла руководящую роль. Так же преувеличена и роль идеологического момента во внешней политике Николая I-го. Его часто изображают как Дон-Кихота реакционно-монархической идеи, всегда готового ринуться в бой для борьбы с революцией и защиты своих европейских собратьев-монархов. В этом изображении много исторической стилизации, упускающей из виду наличие в политике Николая I-го определенных реальнополитических мотивов. Как указывал еще Нессельроде, помогая Австрии подавлять венгерское восстание, Николай думал прежде всего о Польше: император действовал как человек, который помогая соседу тушить пожар, заботится о сохранении собственного своего дома. Есть также серьезные основания полагать, что к моменту венгерской интервенции Николай I-й перестал бояться распространения революционной заразы по всей Европе (ведь это был уже 1849 год!) и руководился, главным образом, желанием обеспечить целость империи Габсбургов, для сохранения равновесия сил и, в первую очередь, в противовес Пруссии. Как видим, монархическая солидарность отходила при этом на задний план.

Что остается еще? Знаменитое «завещание Петра Великого»? Об этом документе снова вспомнили в наши дни, несмотря на то, что подложность его была уже давно и неодно-

кратно доказана*. Обычно доказывали ее с помощью текстуального анализа и путем изучения генезиса «завещания». Но и помимо того оно опорочено внутренней своей неправдоподобностью. Достаточно вспомнить эмпирический характер образа мышления и всей политики Петра, чтобы понять нелепость предположения, будто бы он, своевременно не позаботившийся даже о назначении себе преемника, мог составить план завоевания Европы на полстолетия или на столетие вперед.

Больше того, такого рода общий план противоречил бы всему характеру дореволюционной русской внешней политики, как обычной политики национальной (позднее многонациональной) державы, которая, в отличие от Советского Союза, не была ни «идеократией», ни революционно-тоталитарным государством.

5

Если, таким образом, во внешней политике русского самодержавия нельзя найти параллели к «марксизму-ленинизму-сталинизму», то не было в его распоряжении и ничего хотя бы отдаленно напоминающего Коминтерн и Коминформ. Разнице в целях соответствует столь же существенная разница в методах.

Дипломатическая техника царской России мало чем отличалась от техники других великих держав. В истории русской внешней политики мы встречаемся с применением тех же традиционных методов дипломатического воздействия или военного давления, которые знакомы нам по дипломатической истории западных стран. Подобно своим западным коллегам, царские дипломаты думали в терминах равновесия сил, раздела сфер влияния, территориальных компенсаций, политических союзов и военных коалиций, «исправления» стратегических границ, «мирного проникновения» и т. п. Ничего оригинального, никакого своего «нового слова» дореволюционная Россия в эту веками сложившуюся дипломатическую технику не внесла да и не пыталась внести.

Правда, временами — в моменты обострения ее отношений с той или иной западной державой — западные публицисты, а иногда и западные государственные деятели, обвиняли ее в «революционном», непринятом в приличном международ-

* См. новейшую сводку данных по этому вопросу в статье А. М. Петрункевич, напечатанной в кн. 23-й «Нового Журнала».

ном обществе, поведении, но было бы неосторожно принимать эти обвинения за чистую монету. Часто они проистекали из преувеличенного страха перед Россией, еще чаще были просто приемом политической борьбы, иногда — достаточно откровенной «военной пропагандой». Боюсь, что к этой категории надо отнести и те заявления Маркса, которые цитирует Bertram Wolfe в уже упомянутой мною статье. В этих заявлениях, сделанных им накануне Крымской войны, Маркс говорил о «сотнях русских агентов, странствующих по Турции и по балканским странам»; о стремлении России «объединить все ветви великой славянской расы под одним скипетром и сделать ее господствующей расой Европы»; об использовании русской дипломатией «восстаний, вызванных с помощью русского золота и русского влияния» и т. п. Думаю, что беспристрастному историку было бы трудно найти фактическое подтверждение всех этих утверждений. Еще труднее было бы ему доказать, что подобный образ действий был постоянной и специфической чертой царской дипломатии.

Конечно, временами и царская дипломатия прибегала к «иррегулярным» дипломатическим методам, но эти методы оставались, даже в сознании самих дипломатов, уклонениями от нормы и никогда не возводились в систему внешне-политических действий. В этом отношении дипломатия императорской России тоже не была каким-то исключением. В тот самый период, когда Маркс обвинял Россию в устройстве восстаний в пределах Оттоманской империи, англичане пытались оказывать поддержку вооруженной борьбе кавказских горцев против русского владычества. В разные времена и в разных дозах едва ли не все государства применяли такие методы, как посылка заграницу секретных агентов, подкуп иностранной прессы и иностранных политических деятелей или закулисное влияние на иностранные политические партии. Достаточно прочесть блестящие главы о секретной дипломатии 18-го века в первом томе знаменитого труда Сореля о Европе и Французской революции, чтобы раз навсегда оставить мысль о русском приоритете в этой области. Не было, конечно, такого приоритета и в 19-м веке.

Те современные нам западные писатели, которые из подбора соответствующих фактов находят возможным делать вывод о тождестве дипломатии царской и дипломатии советской, пользуются в сущности тем же самым приемом, с помощью которого апологеты советской внешней политики стараются доказать, что она ничем не отличается от политики западного мира. «Вы го-

ворите, что Россия вмешивается во внутренние дела восточноевропейских стран, а разве Америка и Англия не вмешиваются во внутренние дела Греции и Ирана? Вы протестуете против коммунистической пропаганды, которую Россия ведет за своими пределами, а разве Америка не ведет своей пропаганды заграницей? Вы упрекаете Россию в создании марионеточных правительств, а что сделала Америка в Корее?» В обоих случаях основной порок рассуждений заключается в том, что внешне схожие факты, вырванные из историко-политического контекста, употребляются таким образом, что затушевывается коренная принципиальная разница между двумя различными системами.

На самом деле мы имеем здесь классический пример того правила, по которому на известной ступени разница в количестве переходит в разницу в качестве. Более того, то, что в одном случае считается отклонением от нормы, в другом — сознательно и последовательно возводится в норму. В основном дипломатия старой России оставалась в пределах общей для всех западных держав дипломатической традиции. Советская дипломатия определенно выходит из этой традиции, ей враждебна и с ней несовместима. Она сознательно эту традицию нарушает, а в минуты откровенности даже принципиально эти нарушения оправдывает. Как и дипломатия фашистских государств, советская дипломатия есть дипломатия гражданской войны. Ее дух, ее цели, ее методы были выработаны партией Ленина и Сталина в процессе борьбы за власть в своей стране и со своим народом, а когда представилась к тому возможность — были перенесены в сферу международных отношений*.

Вот почему деятельность Коминтерна или Коминформа нельзя ставить на одну доску с любыми проявлениями вмешательства во внутренние дела иностранных государств, примеры которого можно найти как в настоящем, так и в прошлом. Это совсем не «одно и то же», а явления качественно различного порядка. С Коминтерном и Коминформом, с коммунистическими «пятыми колоннами», в историю мира вошло нечто принципиально новое, и тот, кто этого до конца не осознал, ничего во внешней политике советского правительства по-настоящему понять не может.

Нечего поэтому, для объяснения тех трудностей, которые

---

* Такую же преемственность можно установить и между внутренней и внешней политикой немецких национал-социалистов.

за последние годы испытывают западные правительства в своих переговорах с советскими дипломатами, ссылаться на показания иностранных путешественников о Московской Руси или на впечатления маркиза де-Кюстин от России Николая I-го. При всей их внешней эффектности эти сопоставления создают лишь иллюзию исторической преемственности. Для объяснения поведения советских дипломатов совершенно достаточно обратиться к истории большевистской партии. Советские дипломаты ведут себя так, как они себя ведут, не потому, что они русские, а потому, что они коммунисты — потому, что у них свои особые цели, ничего общего с целями царской России не имеющие, и потому, что в их руках имеются новые технические средства, которых их дореволюционные предшественники не имели.

В конце концов, у царской дипломатии был общий язык с дипломатией западной, и западным державам всегда можно было добиться соглашения с дореволюционной Россией на путях традиционного дипломатического сговора. В истории русской дипломатии нельзя найти параллелей к Вышинскому или Малику. Правда, в минуту раздраженія Теодор Рузвельт как-то написал, что ни одному русскому дипломату нельзя верить, потому что «русские всегда лгут» — и, конечно, эта цитата сейчас тоже пущена в оборот. Кажется, еще Талейран сказал, что язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли. Не сомневаюсь, что иные дипломаты императорской России подчас действовали согласно этому изречению. Но не сомневаюсь и в том, что лгали они не больше и не меньше, чем дипломаты любой западной страны — не переходя установленных традицией пределов. Совершенно другое дело — сверхъестественная ложь Вышинских и Маликов. Ее никак не выведешь ни из общедипломатической, ни из русской национальной традиции.

6

В статье, написанной под непосредственным впечатлением чехословацкого переворота 1948 года*, я уже говорил о своеобразной советской концепции «безопасности». Если я позволяю себе сейчас вернуться к этому вопросу, то лишь потому, что он имеет существенное значение для моей основной темы.

В традиционном представлении, которое полностью раз-

* См. кн. 18-ую «Нового Журнала».

делялось дореволюционной русской дипломатией, внешняя безопасность государства могла быть обеспечена путем применения таких мер, как заключение политических или военных соглашений, «исправление» стратегичесикх границ, в крайних случаях и при наличии к тому возможности — установление в пограничных странах сферы влияния или протектората. С этой традиционной точки зрения, национальная безопасность России, как государства, была с лихвой обеспечена теми отношениями, которые после войны установились между Советским Союзом и Чехословакией. Чехословакия была включена в сферу советского влияния, подписала все те политические и экономические соглашения, которые потребовало от нее советское правительство, и «добровольно» уступила Советскому Союзу территорию Карпатской Руси, тем самым дав России непосредственный доступ к Венгрии и существенно «исправив» русскую стратегическую границу. В своем стремлении сохранить «дружбу» с Советским Союзом, руководители чехословацкого государства вынуждены были пойти и дальше — по пути согласования своей политики с советскими пожеланиями. Во внутренней политике, коммунистам была уделена такая доля влияния в правительстве, которая не соответствовала их удельному весу в стране*. Во внешней политике, прямое запрещение из Москвы заставило чехословацкое правительство отказаться от участия в плане Маршалла, на которое оно перед тем уже согласилось. До известной степени, Чехословакия оказалась под советским протекторатом еще до февральского переворота 1948 года.

Если этот переворот Сталину всё-таки понадобился (я считаю излишним доказывать, что совершен он был по указке и при активном содействии Москвы), то лишь потому, что всё прежде достигнутое оказалось недостаточным с точки зрения специфической советской концепции «безопасности». В отличие от традиционной концепции, в концепции советской имеется в виду не территориальная безопасность государства, а политическая безопасность господствующего режима. Чехословакия Бенеша и Масарика продолжала оставаться опасной для советского режима, потому что,

* Часто указывают, что на выборах коммунисты получили больше голосов, чем какая-либо другая партия. Но они всё-таки оказались в меньшинстве, и не будь советского давления, ничто не могло бы помешать Бенешу создать коалиционное правительство из антикоммунистических партий.

даже в условиях, созданных в ней в послевоенные годы, она продолжала сохранять некоторую долю демократической свободы во внутренней своей жизни и некоторую свободу сношений с западным миром. А в глазах советских властителей нет ничего более для них опасного, чем соседство свободы. В этом страхе перед свободой и заключается основной смысл советской теории безопасности. Созданный в России тоталитарный режим, никогда, ни при каких условиях, не будет чувствовать себя вполне безопасным — до тех пор пока такой же режим, под псевдонимом «торжества социализма», не будет установлен во всем мире. Это остается конечной целью и программой-максимум. Непосредственная же задача состоит в том, чтобы «обезопасить» близлежащие страны, попавшие в сферу советского влияния. И для этого традиционные методы оказываются недостаточными. Нужно пересоздать всю внутреннюю жизнь соседних стран по образу и подобию советского режима. От установления в них «народной демократии» неизбежен переход к полной их советизации.

По самому существу своему, советская политика «безопасности» носит агрессивный характер. Подобно тому, как в гитлеровской концепции «жизненное пространство» для Германии оборачивалось кладбищем для других народов, безопасность для советского режима несет в себе смертельную опасность для свободы и самостоятельности других стран. А так как по сталинской концепции полной безопасности не может быть до тех пор, пока советский режим не утвердится во всем мире, то политика эта не имеет и территориальных пределов: удушив свободу в одной стране, приходится заботиться об искоренении той же опасности и в странах, с ней соприкасающихся.

Радикальное различие между этой политикой и той традиционной политикой безопасности, которой придерживалась царская Россия, — самоочевидно. Николай I-ый мог предпочитать консервативные немецкие монархии конституционным монархиям Франции и Англии, как и Александр III-й мог колебаться, заключать ли ему союз с республиканской Францией. Но никогда ни одному русскому императору и ни одному русскому дипломату не могла прийти в голову мысль, что для обеспечения национальной безопасности России необходимо торжество самодержавия во всем мире — или хотя бы в соседних с Россией государствах.

7

До сих пор я оставался в пределах обсуждения русской государственной политики дореволюционного времени, но в тех теориях, критике которых эта статья посвящена, русский империализм часто связывается с той или иной особенностью русского «народного духа». Так, для Кухаржевского русский народ является народом-кочевником, который, не умея создать на своей земле достаточно богатую и прочную культуру, движим постоянным стремлением к распространению на новые «пастбища» и к овладению богатствами, накопленными другими, оседлыми, народами. Более обычна, однако, ссылка на пресловутое русское мессианство.

Надо признать, что для своих утверждений о русском мессианстве иностранные писатели могут находить опору в высказываниях русских мыслителей от славянофилов до Бердяева включительно. В моих глазах это не придает им большей убедительности. Ничего, кроме наличия мессианских течений в русской мысли ссылки эти не доказывают. Но ведь мессианство было не в одной России. На протяжении мировой истории, от библейских времен до современной нам эпохи, можно найти много его примеров, в разных странах и в разные периоды. Тем, кто видит в мессианстве вековую движущую силу русской экспансии, надо доказать не наличие мессианских течений в России, а их распространенность в широких кругах русского народа. Думаю, что на основании исторических фактов доказать это невозможно.

Я уже говорил о том, что идея Третьего Рима не была действенным фактором во внешней политике московского государства. Еще меньше данных имеется для того, чтобы утверждать, что она проникла в народные массы Московской Руси. Русский фольклор знает «Святую Русь», но не знает «Москвы-Третьего Рима». Русский народ сохранял память о Царьграде, но не связывал с ним никаких политических устремлений. Нет никаких оснований предполагать, чтобы он когда либо думал о «византийском наследстве». Иногда, как, например, во время балканского кризиса 1870-х годов, в народе пробуждалось некоторое чувство общности с единокровными и единоверными «славянскими братьями», но от этого еще далеко до восприятия панславизма как политической доктрины или программы. О существовании в России народного панславизма говорить не приходится.

Да и среди образованного русского общества мессианские

течения никогда не были господствующими. Вспомним горькое признание славянофила Аксакова о том, что среди провинциальной русской интеллигенции николаевского времени он встретил много горячих поклонников западника Белинского, но не встретил своих единомышленников. Знаменитая книга Данилевского, эта, по чьему-то выражению, «Библия панславизма», имела кратковременный успех в царствование Александра III-го, но к началу 20-го века была уже основательно забыта: я не помню, чтобы в мои студенческие годы я когда либо слышал разговоры или хотя бы простое упоминание о ней. К тому времени панславизм сделался почти исключительным достоянием некоторых правых и националистических групп и в широких кругах интеллигенции не вызывал к себе особого интереса. Даже взрыв славянских симпатий во время Балканской войны 1912 года не повел к сколько-нибудь значительному его распространению.

Не только мессианство и панславизм, но и вообще империализм остался чужд большинству русской культурной элиты новейшего времени. Если в 18-ом веке и в первой четверти 19-го века гордость внешне-политическими успехами России и славой русского оружия была характерной чертой для многих выдающихся представителей русской культуры, если еще Пушкин мог быть одновременно «певцом империи и свободы» (Г. П. Федотов), то после Пушкина это настроение неуклонно шло на убыль, уступая место равнодушию к русской великодержавности. Вопреки хулителям русской интеллигенции, это вовсе не означало ослабления в ней национального чувства и патриотизма. Вместе с Лермонтовым, она могла бы сказать, что ее любовь к родине не питают —

Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья...

Можно по-разному объяснять и расценивать это отсутствие «имперского сознания», но самый факт отрицать нельзя. Как не задуматься, например, над тем, что в русской исторической литературе нет ни одного сколько-нибудь значительного труда, посвященного истории создания и развития русской империи? Русская историография не имеет ни своего Сили (Seeley), ни своего Трейчке, так же как в русской художественной литературе не найти ни Киплинга, ни Д'Аннунцио, а среди русских проповедников национализма — хоть одного писателя калибра Барреса или Морраса. Очень характерно

также и то, что в России не удалось создать либерально-националистического течения. Попытки, сделанные в этом направлении П. Б. Струве и князем Г. Н. Трубецким, остались, в сущности, без отклика*. Из русских либералов империалистом иногда называют П. Н. Милюкова, но весь его империализм сводился к тому, что в 1917 году он не хотел отказаться от русских прав на Константинополь и проливы, обеспеченных России по договору ее с западными союзниками. Мало кто помнит, что тот же Милюков, во время предвоенного кризиса, летом 1914 года, настаивал на локализации австро-сербского конфликта и готов был примириться с предоставлением Сербии собственной ее судьбе, лишь бы только избежать обще-европейской войны. Но даже и умеренный империализм П. Н. Милюкова оказался не ко двору в первые месяцы революции, когда русская общественность и русский народ сделались хозяевами положения. Напрасно было бы видеть в программе мира без аннексий и контрибуций одну «революционную выдумку»**. У ней были свои корни в дореволюционном пацифизме и антиимпериализме русской интеллигенции. А то, что этот лозунг нашел такой горячий отклик со стороны широких масс и что им так искусно мог воспользоваться Ленин, тоже не может быть сброшено со счетов при оценке народных настроений в России. Трудно забыть и то, что когда в конце 1916 года правительство официально объявило о признании союзниками права России на Константинополь и проливы, страна встретила это известие с полным равнодушием.

История показывает, что идея империализма, как и идея национализма, никогда не рождается в народной толще, а просачивается в нее сверху, от культурной элиты. При преобладающем анти-империализме русской дореволюционной интеллигенции, предполагать наличие империалистического духа в русских народных массах, которые вообще стояли очень далеко от вопросов внешней политики, значит предаваться фантазии. И можно думать, что это историческое наследие в значительной мере застраховало русский народ и от восприятия советского мессианизма и империализма, так настойчиво про-

* Книга последнего («Россия, как великая держава») привлекла к себе гораздо больше внимания в Германии, чем в России, где ее почти не заметили.

** Отмечу кстати, что в течение некоторого времени такой же была и программа Вильсона, который революционером, конечно, не был.

пагандируемого теперешними его властителями. О том, что думает и чувствует сейчас русский народ, во многих случаях мы можем только догадываться. Но нет решительно никаких оснований утверждать, что он горит желанием завоевать Европу или распространить коммунизм по всему свету. Гораздо больше оснований предполагать, что он стремится прежде всего к собственному своему освобождению, к созданию для себя нормальных условий человеческого существования и к обеспечению длительного мира. В недавно вышедшей книге вдумчивого американского наблюдателя, бывшего в России в военные годы, когда иностранцам еще можно было общаться с местным населением, есть такое глубоко интересное свидетельство:

«Я ни разу не встретил советского человека, который гордился бы советской политической или территориальной экспансией, успехами панславизма или распространением коммунистической власти»*.

Это показание подтверждается и тем, что приходится слышать от сравнительно недавно покинувших Россию новых эмигрантов. В свете исторического опыта, в таком умонастроении с гораздо бóльшим правом можно видеть подлинную русскую национальную традицию, чем в мифическом «врожденном русском империализме».

М. Карпович.

* Frederick C. Barghoorn, The Soviet Image of the United States, N. Y., 1950' стр. 250.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В РОССИИ

(Статья первая)

1. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПАРТИИ.

Основной идеей коммунистической партии является идея власти. Все прочие идеи имеют лишь подчиненное значение. Национальная идея, как проблема борьбы за равноправие и свободное развитие наций, для коммунистической партии не существует. Для нее существует не национальная проблема, а национальная политика, то есть чисто тактический вопрос о том, как лучше использовать национальные течения в борьбе за свою власть. И этот чисто тактический вопрос на разных этапах борьбы за власть решался по разному.

Перед первой мировой войной большевики выступали против национальных течений. Полагая, что не нация, а классы творят историю и что восходящим классом является пролетариат, большевики, в своей борьбе за власть в России, стремились опереться на весь российский пролетариат, как единый класс, независимо от национальной принадлежности составляющих его рабочих.

> «Первейшим вопросом для нас, писал Сталин, был вопрос о том — в чем сходятся между собой пролетарии национальностей России, что общего между ними, — чтобы на почве этих общих интересов построить одну централизованную партию рабочих всей России» [1]

Национальные тенденции в среде рабочих могли помешать построению централизованной партии рабочих всей России; эти тенденции могли привести к национальной фракционности внутри партии и к ослаблению ее централистских начал. И большевики были против них, они были против национальной замкнутости и национальных перегородок, как в пар-

---

[1] Сталин, Соч., т. I, стр. 38. «Как понимает С.-Д. национальный вопрос» (1 сент. 1904 г.).

тии[2] так и в государстве[3]. К борьбе с национальными тенденциями и сводилось тогда содержание их национальной политики.

> «Как разрушить национальные перегородки, воздвигнутые между нациями, как уничтожить национальную замкнутость, чтобы лучше сблизить друг с другом российских пролетариев, чтобы теснее сплотить их таково содержание национального вопроса...»[4].

И таково было понимание этого вопроса большевиками до первой мировой войны.

В процессе войны политическая обстановка в России резко изменилась. Резко изменилась и национальная политика большевиков. Связанные с войной социально-экономические потрясения активизировали политическую жизнь в стране и открыли реальные перспективы революции не только буржуазно-демократической, как полагалось по Марксу, но и «пролетарской». Централизованная большевистская партия к тому времени в основном уже сложилась; общественные настроения в России благоприятствовали революции; монархический строй начал терять свою устойчивость и в государстве обозначились элементы развала. Очередная задача партии в этих условиях сводилась к тому, чтобы усилить процесс развала и, таким образом, ослабить сопротивляемость государственного аппарата. Усилению развала способствовало бы поражение России в вой-

---

[2] На съезде 1903 года БУНД требовал, например, признать его в качестве единственного представителя еврейских рабочих внутри партии. Но, пишут историки коммунистической партии, «пойти на это требование Бунда означало разделить рабочих в партийных организациях по национальному признаку, отказаться от единых классовых территориальных организаций рабочего класса. Съезд отверг бундовский организационный национализм» («История ВКП(б). Краткий курс». Стр. 42).

[3] На том же съезде Бунд внес предложение о преобразовании будущей России в федеративную республику. Предложение встретило возражения. «В особенности резко выступали против всяческого национализма, сепаратизма и федерализма крайние сторонники централизма в партии и государстве, приверженцы Ленина, — будущие большевики-коммунисты», пишет Р. Абрамович, член ЦК Бунда и знаток истории РСДРП («Социалистический Вестник», 1948 г., стр. 133).

[4] Сталин, Соч., т. I, стр. 36-37. Статья «Как понимает С.-Д. национальный вопрос».

не и нарушение национального единства внутри государства. В отношении войны большевики заняли пораженческую, «изменническую» позицию, ибо как утверждал Ленин,

> «кто пишет против государственной измены, против распада России... тот стоит на буржуазной, а не на пролетарской точке зрения. Пролетарий не может ни нанести классового удара своему правительству, ни протянуть на деле руку своему брату пролетарию чужой воюющей с нами страны, не совершая государственной измены»[5].

В отношении национального единства большевики перешли на национально-сепаратистскую позицию, то есть на позицию диаметрально противоположную той, какую они занимали раньше. Сепаратизм разрушал сложившиеся связи в стране, разрушал ее национальное единство, ослабляя позиции государства и таким образом способствовал революции. Вместе с тем при наличии централизованной партии, состоящей из представителей всех основных национальностей России, сепаратизм был уже неопасным для большевиков. Большевики стали смотреть поэтому на сепаратистов, как на своих временных попутчиков, и выставили лозунг «самоопределения вплоть до отделения».

> «Мы требуем, писал Ленин, свободы самоопределения, т. е. независимости, т. е. свободы отделения угнетенных наций не потому, чтобы мы мечтали о хозяйственном раздроблении или об идеале мелких государств, а наоборот, потому, что мы хотим крупных государств и сближения, даже с л и я н и я наций, но на истинно демократической, истинно интернационалистической базе н е м ы с л и м о й без свободы отделения»[6].

Таким образом, большевики оставались верными идее крупного централизованного государства, как мощного плацдарма мировой революции, но они изменили тактику своей борьбы за власть. Новая их тактика сводилась к тому, чтобы итти к власти через расчленение России и последующее ее объединение на «истинно-демократических», то есть партийно-коммунистических основах. В соответствии с этим они подняли

---

[5] Ленин, Соч., т. XVII. Статья в газете «Социал-Демократ», 1915 г. № 43.

[6] Ленин, Соч., т. XVIII, стр. 328 (1915 г.).

на щит лозунг права нации на отделение[7] и в дальнейшем изменили соответствующий параграф своей программы, заменив расплывчатую формулу о праве нации на самоопределение новой «чеканной» формулой, устанавливающей

> «право на свободное отделение и на образование своего государства за всеми нациями, входящими в состав государства»[8].

Во время гражданской войны лозунг этот сослужил известную службу в борьбе коммунистической партии за власть над Россией и партия — не только, конечно, поэтому, но в какой-то мере и поэтому — смогла укрепить свою власть в стране.

Что последовало за тем — известно. Украина, попытавшаяся воспользоваться правом на образование своего государства была партией «добровольно соединена»[9] со всей страной, причем операция по воссоединению была проведена при активном участии украинцев-членов единой централизованной коммунистической партии. Грузия, уже образовавшая свое государство, тоже была в 1920 году воссоединена с Россией и тоже при участии своих собственных грузинских коммунистов.

Не воссоединенными остались только Финляндия и Прибалтика, но отнюдь не потому, что этого не хотели местные коммунисты, а исключительно потому, что этого не допустили бывшие союзники. Так или иначе Россия была в основном объединена и гражданская война была закончена.

С ее окончанием обстановка в России существенно изменилась, изменилась и национальная политика партии. Партия уже не стремится к расчленению России, наоборот, Россия для нее — плацдарм дальнейшей борьбы за власть над миром и партия стремится сплотить ее и укрепить, стремится построить новое советское государство, основанное на строгой, во все поры общественной жизни проникающей, централизации. Ло-

---

[7] См. Сталин, «Марксизм и национально-колониальный вопрос», 1938 г., стр. 203 — выступление на апрельской (1917) конференции.

[8] Ленин, Соч., т. XX, стр. 295.

[9] Ленин говорил, что «Социал-демократ маленькой нации должен центр тяжести своей агитации класть на втором слове нашей общей формулы: добровольное с о е д и н е н и е наций» (т. XIX, стр. 261-262). Согласно этому правилу, коммунист в Москве должен говорить «добровольно», а в Киеве — «соединяемся».

зунг партии о праве нации на отделение в этих новых условиях оказался не только бесполезным, но и вредным. Однако, отменить его по соображениям внешней политики и международной пропаганды было невозможно. Поэтому для внутренней политики партия дает этому лозунгу новое толкование.

«Вопрос о праве нации на свободное отделение, говорил Сталин, непозволительно смешивать с вопросом об обязательности отделения нации в тот или иной момент. Этот вопрос партия пролетариата должна решать в каждом отдельном случае совершенно самостоятельно, в зависимости от обстановки. Признавая за угнетенными народностями право на отделение, право решать свою политическую судьбу, мы не решаем тем самым вопроса о том, должны ли в данный момент отделиться такие-то нации от российского государства. Я могу признать за нацией право отделиться, но это еще не значит, что я ее обязал это сделать. Народ имеет право отделиться, но он, в зависимости от условий, может и не воспользоваться этим правом. С нашей стороны остается, таким образом, свобода агитации»[10].

Расчет на агитацию, конечно, безошибочен. Агитация партии всегда подкрепляется петлей для тех, кто в нее открыто не верит, и поэтому всегда является убедительной. Тем не менее самый факт идеологического обоснования агитации партии против своего же собственного лозунга показателен. Он говорит о том, что партия еще считала тогда нужным прибегать к восточной хитрости и как-то вуалировать изгибы своей генеральной линии. Но уже к 1923 году власть партии настолько укрепилась, что Сталин смог дать новое, более ясное и более «правильное», толкование «права» наций на самоопределение. На XII съезде партии он заявил:

«Следует помнить, что, кроме права народов на самоопределение, есть еще право рабочего класса (т. е. партии К.) на укрепление своей власти и этому последнему праву подчинено право на самоопределение. Бывают случаи, когда право на самоопределение вступает в противоречие с другим высшим правом — правом рабочего класса, пришедшего к власти. В таких случаях, — это нужно сказать прямо, — право на самоопределение не может и не должно служить пре-

[10] Сталин, «Марксизм и национально-колониальный вопрос», 1938, стр. 47-48.

градой делу осуществления права рабочего класса на свою диктатуру. Первое должно отступать перед вторым»[11].

Власть партии превыше всего. Перед этим «правом» отступают на десятый план все другие права.

Исходя из этой теории, партия приступила к реализации своей новой национальной политики. Смысл этой политики заключался в том, чтобы с одной стороны построить ф о р м а л ь н у ю федерацию, в какой-то мере удовлетворяющую своей обманчивой формой национальные стремления отдельных народов России и вводящую в заблуждение народы других стран, а с другой стороны, шаг за шагом, систематически и беспощадно истребить национальные течения в России, с л и т ь все нации в единую советскую нацию единого крупного государства. Таким образом, по завету Ленина

«пролетарская партия стремится к созданию возможно более крупного государства, ибо это выгодно для трудящихся, она стремится к сближению и дальнейшему слиянию наций»[12].

В соответствии с этим Россия преобразовывается в СССР и самое слово «Россия» отодвигается в глубокую тень. Национальные права всех российских народов сводятся к одному единственному праву, праву вести коммунистическую пропаганду в национальных формах. Под шум этой пропаганды, под национальные пляски, песни и стихи, систематически вылавливаются и физически истребляются так называемые великодержавные шовинисты и мелкодержавные сепаратисты. По одному лишь подозрению в национальных настроениях сотни тысяч людей в одиночку, группами и целыми национальными республиками высылаются в Сибирь и гибнут там как величайшие преступники. В то же время миллионы и десятки миллионов людей разных наций сознательно перемешиваются между собой и как человеческая пыль рассеиваются по лицу великой российской территории. Происходит грандиозный, сознательно организованный процесс «слияния наций», то есть процесс планомерной насильственной денационализации всех народов России, включая и русский.

---

[11] Сталин, «Марксизм и национально-колониальный вопрос», 1938, стр. 126-127. Заметим, кстати, что еще в 1914 г. Ленин писал: «Мы не можем ручаться за тот или иной путь национального развития, мы через все возможные пути идем к своей классовой цели». (Ленин, Соч., т. XIX, изд 1921, стр. 113).

[12] Ленин, Соч., т. XX, стр. 123.

Но вспыхнула вторая мировая война. Снова изменилась обстановка и снова изменилась национальная политика партии. Война убедительно показала, что российские народы не хотят воевать за интернациональные цели партии, и не хотят защищать террористическую власть коммунизма. Война показала вместе с тем, что в душе российского народа сильно еще национальное, патриотическое чувство и что только это чувство может воодушевить народ на борьбу с немцами. Партия делает, поэтому, крупный поворот в своей национальной политике. Лозунги международной классовой солидарности и мировой коммунистической революции предаются забвению. Партия призывает теперь защищать родину, отечество, Россию; она говорит о «великой русской нации» ,напоминает о великом прошлом российского народа, воскрешает старые традиции, старые символы. Гитлеровцы своим отношением к населению оккупированных областей помогают Сталину поднять народ на войну. Национализм оказался одним из факторов спасения коммунизма и... гибели гитлеризма. Война окончилась, и в 1947 году Молотов подвел следующий итог:

«Мы переживали трудное время в первый период войны, пока не перестроили всю работу в соответствии с новой обстановкой. Самоотверженность трудящихся в тылу и героизм нашей армии на фронте, каких еще не знала мировая история, были выражением высокого советского п а т р и о т и з м а, — и это обеспечило н а м победу над врагом»[13].

Итог правильный, если исключить из него одно только слово — «советского». После второй мировой войны национальная политика партии снова изменилась. Коммунистическая партия вступила в последний этап своей борьбы за власть над миром и начала энергичную подготовку к «последнему решительному бою». В этой подготовке национализм стал важным инструментом внешней и внутренней политики партии.

Во внешней политике партия придерживается своей особой стратегии.

«Цель такой стратегии — выиграть время, разложить противника и накопить силы для перехода потом в наступление»[14].

---

[13] В. Молотов. Доклад по случаю тридцатой годовщины октябрьской революции. См. «Правда», 7.11.1947. Разбивка наша.

[14] Сталин, Соч., том. VI, стр. 160.

Главными противниками, которых надо разложить, являются Англия и США. В экономике Англии огромное значение имеет Азия. Известное значение Азия начинает приобретать и в экономике США. Надо оторвать Азию от Англии и США и тем самым обречь их на экономическую, а, значит, и политическую катастрофу. Но оторвать Азию можно не столько при помощи пушек, сколько при помощи идей. Такими идеями являются идеи национально-освободительной борьбы. Коммунистическая партия подготовила в Москве огромное количество коммунистов из людей всех азиатских стран и дала Азии не только национальные идеи, но и организаторов борьбы за эти идеи, вождей, способных привести Азию в стан коммунизма. Китай уже в стане коммунизма — на очереди Индия.

Во внутренней политике партия встала на путь советского национализма, элементы которого она развивала и до войны. Но если до войны центр тяжести был в освобождении человека от старых духовных и бытовых традиций, то после войны он переносится уже на выращивание новой советской породы людей, а значит и новой советской нации. Смысл ждановской кампании на фронте литературы и искусства, никем не понятый смысл «дискуссии» по вопросам биологии и физиологии, смысл сталинского выступления в области языкознания, смысл ряда директив по вопросам семьи и школы, смысл всего этого заключается в одном и том же — в идее выращивания новой советской породы людей и создания новой советской нации.

До войны этот процесс только намечался, во время войны он был прерван и только после войны он впервые организуется на научных основах. Но и после войны он является пока процессом противоречивым. Партия стремится избежать ошибок второй мировой войны, когда она, расчитывая на новые интернациональные элементы общественной психологии, пренебрегла старыми национальными ее элементами и, понеся огромные поражения, принуждена была перестраиваться в самом ходе войны. Стремясь избежать этих ошибок и быть готовой к третьей мировой войне, которая может возникнуть раньше, чем сформируется новый человек, партия, судя по всему, организует работу в двух планах — в плане перспективном, расчитанном на большие исторические сроки и подчиненном идее выращивания человека новой советской породы, и плане оперативном, расчитанном на короткие исторические сроки и подчиненном идее подготовки с у щ е с т в у ю щ и х людей к третьей мировой войне. Этим и объясняется некоторая противоречи-

вость происходящих в СССР процессов идеологической подготовки к войне.

С одной стороны, в духе перспективных задач утверждается, что

> «партия большевиков решительным образом разоблачает и в корне пресекает любые проявления враждебной нам националистической идеологии, воспитывает все нации... в духе пролетарского интернационализма»[15].

С другой стороны, в духе оперативных задач утверждается, что русский народ

> «является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза», что у него «ясный ум, стойкий характер и терпение», что он «заслужил в этой войне общее признание как руководящая сила Советского Союза среди всех народов нашей страны»[16].

Как видим, между этими утверждениями есть серьезное противоречие. Но его легко понять, если иметь в виду общие перспективные задачи партии по «коренной перековке людей» и частные, оперативные задачи по подготовке к новой войне еще не перекованных и поэтому находящихся во власти национальных предрассудков, существующих людей.

Оперативные задачи имеют лишь временное, преходящее значение, но в данный период они являются исключительно важными, а, может быть, и решающими. Война — большое испытание для партии и ее власти. В будущей войне партия не может рассчитывать на поддержку народа. Поэтому она должна будет разделить народ (римское «разделяй и властвуй») и попытаться найти опору в какой-то его части. Разделить народ по классовому признаку партия не сможет, т. к. народ, будучи антагонистичным к власти, внутри себя уже не имеет антагонистических классов. И партия принуждена будет разделить его по национальному признаку, чтобы опереться на какую-то определенную нацию. Такой нацией должна быть русская

---

[15] «Правда», 11.6.1950, № 162.

[16] Сталин. Речь на приеме командующих войсками Красной Армии, 24.5.1945.

нация и в порядке предварительной оперативной подготовки к войне партия приступила к соответствующей пропаганде.

Конечно, пропаганда превосходства одной нации над всеми другими нациями по признаку, скажем, «ясного ума» (Сталин) или «белокурых волос» (Гитлер) в наше время не является случайной. Тем более не случайна продолжающаяся свыше пяти лет пропаганда превосходства русской нации над всеми нациями мира. Очевидно, пропаганда превосходства русской нации внутри СССР необходима в предвидении внутренних революционно-политических осложнений во время войны, а пропаганда превосходства русской нации над всеми нациями внешнего мира — в предвидении оккупации и порабощения новых стран и народов. Таким образом в идеологической подготовке народа к третьей мировой войне партия делает ставку на русский национализм. Но поскольку русский народ действительно имеет ясный ум можно надеяться, что ставка коммунизма будет бита.

Но, повторяем: русский национализм — не основная, а побочная линия национальной политики партии, обусловленная временными обстоятельствами. Основной линией этой политики и важнейшим процессом социальной жизни страны является процесс образования новой советской нации, процесс формирования личности человека в новом советском государстве. Именно этот процесс представляет наибольший интерес. Его можно разделить на два основных этапа: первый этап, охватывающий период с начала революции до второй мировой войны, носил, в основном, негативный характер — менялась внешняя общественная среда, в которой формируется личность человека, рушились постепенно старые представления и традиции и в связи с этим менялся человек. К моменту второй мировой войны он не был еще новым человеком, старые представления и традиции еще не были в нем уничтожены, но он не был и старым человеком, т. е. человеком старых понятий, старых традиций. Второй период начинается после второй мировой войны и с точки зрения национальной политики партии носит, в основном, позитивный характер. Внешняя среда продолжает меняться, но ее объективное воздействие дополняется субъективным, сознательно организованным воздействием на человека, с целью образовать его новый, желательный партии советский облик. Такое воздействие было и раньше, но теперь оно приобретает уже преобладающее значение.

В настоящей статье мы остановимся на первом этапе, то есть на изменении социальной среды в СССР.

2. НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ НАРОДА

Национальность — явление социальное; она складывается в процессе общественных связей и взаимодействий и она изменяется в процессе изменения общественной жизни. Общественная жизнь России за последние десятилетия резко изменилась, — изменилась, следовательно, и та среда, в обстановке которой формируется человек. Одним из наиболее существенных фактов в этом отношении является развитие национальной культуры и национального самосознания всех населяющих Россию национальностей.

В России насчитывается 194 национальности. По последней переписи населения СССР (1939 г.) оно распределяется по национальностям следующим образом[17]:

	Тысячи	%
Русские	99.019,9	58,41
Украинцы	28.070,4	16,56
Белоруссы	5.267,4	3,11
Грузины	2.248,6	1,33
Армяне	2.151,9	1,27
Азербайджанцы	2.274,8	1,34
Узбеки	4.844,0	2,86
Таджики	1.229,0	0,72
Туркмены	811,8	0,48
Казахи	3.098,8	1,83
Киргизы	884,3	0,52
Карелы и финны	395,7	0,23
Эстонцы	142,5	0,08
Латыши	126,9	0,07
Литовцы	32,3	0,02
Татары	4.300,3	2,54
Евреи	3.020,1	1,78
Немцы около	1.500,0	0,87[18]
Мордовцы	1.451,4	0,87

[17] «Страны мира», Статистический справочник, М. 1946, стр. 127-128.

[18] По переписи 1926 г., немцев было в СССР 1.238,5 тысяч. В справочнике «Страны мира» немцы, очевидно, «по политическим соображениям», особо не показаны, а включены в прочие нации. Мы выделили их из прочих наций в количестве 1.500 тыс., но это — приблизительное количество.

	Тысячи	%
Чуваши	1.367,9	0,81
Народы Дагестана	857,4	0,50
Поляки	626,9	0,37
Греки	285,9	0,17
Башкиры	842,9	0,50
Удмурдцы	605,7	0,36
Марийцы	481,3	0,28
Коми	408,7	0,24
Осетины	354,5	0,21
Молдаване	260,0	0,15
Каракалпаки	185,8	0,11
Корейцы	180,4	0,11
Кабардинцы	164,1	0,10
Прочие	2.975,5	1,21[18a]
СССР	170.467,2	100,00

Все эти национальности в свое время резко различались по степени культурного развития. Старая Россия в национальном отношении представляла собой чрезвычайно пеструю картину; это была страна, где жили и дикие, совершенно безграмотные народы и народы передовой культуры. Теперь положение изменилось. Все народы России и особенно те из них, которые в прошлом были отсталыми «инородцами», резко повысили свой культурный уровень и многие из них в корне изменили весь свой социальный облик. Совершился большой культурный рост народов России. Конечно, культурный рост основных народов происходил и раньше. Но масштабы и темпы этого роста после революции резко увеличились.

Партия в борьбе за распространение своей власти над миром нуждалась в большой армии, вооруженной по последнему слову современной техники. Чтобы вооружить армии, чтобы иметь возможность строить танки, пушки, грузовики, самолеты, броненосцы необходима была промышленность. Но совре-

[18a] В состав «прочих» входят: Адыгейцы, Абхазцы, Хакасы, Ойроты, Курды, Иранцы, Китайцы, Словаки, Арабы, Ассирийцы, Саами (Лопари), Хаиты (Остяки), Мансьи (Вогулы), Ненцы (Самоеды), Нганасы, Энцы, Селькупы, Эвенки (Тунгусы), Эвены (Ламуты), Соха, Элкембейс, Нанай, Нани, Удэ, Луораветланы (Чучки), Нымыланы (Коряки), Ительмены (Камчадалы), Одулы (Юкагиры), Этели, Айванат (Эскимосы), Унанганы (Алеуты), Нивхи (Гиляки), Кеты и т. д.

менная промышленность требует грамотных рабочих и квалифицированных мастеров. Требует их и механизированное сельское хозяйство и механизированный транспорт. Наконец, что особенно важно, требует грамотных людей и сама красная армия. И партия, не из любви к народу, а из любви к власти, обратила особое внимание на «подготовку кадров», т. е. на расширение и повышение грамотности населения, а значит и на повышение его культурного уровня. Повышение грамотности населения видно, напр., из следующих цифр, отражающих % грамотных в возрасте от 9 лет и старше[19].

(В дополнение к данным, приводимым автором статьи, укажем, что по исчислениям Н. С. Тимашева в 1914 г. грамотных в России было не меньше 43-44%. **Ред.**).

Дата переписи населения	*Муж.*	*Жен.*	*Общая грамотность*
9. 2.1897 г.	35,8	12,4	24,0
17.12.1926 г.	66,5	37,1	51,1
17. 1.1939 г.	90,8	72,6	81,2

Как видим, грамотность населения увеличилась с 1897 г. по 1939 г. в три с лишним раза, причем грамотность женщин увеличилась почти в шесть раз. Это очень существенный момент совершающегося в СССР культурного прогресса.

Культурный прогресс охватывает не только те народы, которые составляют национальное большинство, но и все народы национальных меньшинств. Это видно, например, из следующих цифр, отражающих процент грамотных в возрасте от 9 лет и старше по национальным республикам[20]:

	1926 г.	*1939 г.*
Р.С.Ф.С.Р.	55,0	81,9
Украина	57,5	85,3
Белоруссия	53,1	78,9
Азербайджан	25,2	73,3
Грузия	47,5	80,3
Армения	34,5	73,8
Туркменистан	12,5	67,2

[19] Проф. Боярский, «Демографическая статистика», М. 1947, стр. 27.

[20] «Страны мира», стр. 167.

	1926 г.	*1939 г.*
Узбекистан	10,6	67,8
Таджикистан	3,7	71,7
Казахстан	22,8	76,3
Киргизская ССР	15,1	70,0
В среднем по СССР	51,1	81,2

Таким образом на 17.1.1939 г. по СССР было грамотных уже 81,2%. После 1939 г. грамотность населения еще больше повысилась и, в силу закона о всеобщем обязательном обучении, еще больше выравнялась. Можно сказать, что все населяющие Россию народы имеют теперь одинаковую или почти одинаковую грамотность. Печатное слово на своем родном языке получают теперь все народы СССР, в том числе и те народы (более 40), которые до революции не имели своей письменности. Россия говорит и пишет теперь на 119 языках. Не следует думать, что повышение грамотности населения является заслугой советской власти. Советская власть о б ъ е к т и в н о п р и н у ж д е н а б ы л а к этому и тем не менее всеобщее обязательное обучение она осуществила с значительным запозданием. По закону, принятому еще III-й Гос. Думой, всеобщее обязательное обучение предполагалось осуществить к средине 20-х годов и к этому были все необходимые предпосылки; уже в 1914 году на каждую 1000 человек школьного возраста в европейской России обучалось в городах — 918, и в деревнях — 710 человек. Таким образом, школьная сеть была готова для всеобщего обязательного обучения еще в 1914 г.

Сейчас все народы СССР, в том числе и народы когда-то отсталые, стали почти поголовно грамотными. Однако, чтобы отсталые народы смогли стать нациями, т. е. народами, чувствующими себя членами своего социального коллектива и имеющими свое национальное самосознание, они должны были создать собственную национальную интеллигенцию. Именно интеллигенция является выразительницей души нации и хранительницей ее социальной памяти и именно она в современных условиях цементирует нацию. Без национальной интеллигенции нет нации. И в этом отношении в СССР произошли значительные перемены.

Промышленное строительство происходило не столько в старых промышленных районах — Урал, Донбас, Ленинград, Москва, Иванов, сколько в новых районах, в том числе и районах национальных республик. Мотивов для этого было много —

приближение промышленности к источникам сырья и к источникам энергии, сокращение товарных перевозок, рассредоточение промышленности и размещение ее в стратегически неуязвимых районах и т. д., но одним из основных мотивов для строительства промышленности в национальных республиках было стремление партии создать там класс промышленных рабочих, усилить внутри национальностей классовые противоречия и, таким образом, перебить национальный хребет народа классовым началом. Так или иначе в национальных районах была построена большая промышленность. В результате рост валовой продукции в 1940 г. по сравнению с 1913 годом выражается в следующих цифрах:

В среднем по СССР	увеличение в	10,9 раз[21]
по Украине	» в	11 раз
по Казахстану	» в	22,2 раза
по Армении	» в	22,3 раза
по Грузии	» в	26,4 раза
по Узбекистану	» в	28 раз
по Киргизии	» в	160 раз
по Таджикистану	» в	242 раза

Строящаяся в национальных республиках промышленность питается рабочими кадрами частью из населения центральных областей России, частью из населения местных национальностей. Наличие большого количества рабочих «националов» вызвало потребность в «националах» инженерах, техниках, учетчиках, плановиках и т. д., потребность в национальной интеллигенции. Эта потребность ощущалась не только в самой промышленности, но и во всех других отраслях народного хозяйства. Вместе с ростом промышленности росли, строились и расширялись города, росла городская торговля, развивался транспорт, строились школы, больницы, театры и прочие городские учреждения, а для них требовались педагоги, врачи, артисты, журналисты, пропагандисты, судьи и всевозможные чиновники. Часть

[21] Отметим, что цифра роста промышленности по СССР в 10,9 раз не всегда находит свое подтверждение. Так, напр., в газете «Коммунист» от 21.11.1910, № 274 упоминается 8,5, в газете «Правда Востока» от 26.11.50, № 277 упоминается 10,8, а в газете «Социалистическое земледелие» от 16.1.1951, № 21 упоминается 12. Однако, 10,9 упоминается в ряде источников и мы приводим эту цифру.

этой интеллигенции поставлялась и поставляется из центральных областей России, но часть, а теперь и значительная часть, готовится на месте, из местных национальностей. Для подготовки местной интеллигенции во всех национальных республиках развернута система высших учебных заведений, характеризующаяся, например, следующими цифрами[22]:

Республики	*Высших учебных заведений*			*Число студентов*	
	1914-15 г.	На 1.11.39	На 1.1.51.	1914-15	На 1.11.39
Р.С.Ф.С.Р.	71	470		85.000	399.986
Украинская ССР ...	19	148	158	26.700	126.654
Белорусская ССР ..		22	26		15.425
Азербайджанск. ССР		14	17		12.530
Грузинская ССР ...	1	21		300	22.731
Армянская ССР		9	14		7.426
Туркменская ССР ..		6	7		2.580
Узбекская ССР		29	34		19.946
Таджикская ССР ...		7	8		2.179
Казахская ССР		19	26		8.432
Киргизская ССР ...		5	7		2.008
	91	750		112.000	619.897

Кроме высших учебных заведений в национальных республиках созданы научно-исследовательские институты, а в десяти республиках и Академии Наук. Конечно, наличие средних и, особенно, высших учебных заведений в национальных республиках сыграло большую роль в образовании там своей собственной национальной интеллигенции. Теперь, скажем, киргиз, или узбек, или татарин, или башкир в качестве профессора, инженера, доктора, юриста и т. д. уже не представляет собою ничего необычного.

По переписи 1939 года национальные республики имели уже на каждые 1.000 человек населения следующее количество людей со средним и высшим образованием[23]:

---

[22] Цифры 1914-1915 уч. года — см. «Социалистическое строительство Союза ССР 1933-1938», М. 1939, стр. 152. Цифры на 1.11.39 — см. «Страны мира», стр. 173. Цифры на 1.1.51 — см. «Правда Украины» от 25.11.50 г. и «Правда Востока» от 25.11.1950 г.

[23] «Страны мира», стр. 174. Заметим, что в национальных республиках живет много пришлого населения, которое имеет пока более высокий процент лиц со средним и высшим образованием. Но это в

	Со средним образов.	*С высшим образов.*
РСФСР (русс. и проч. нации)	76,8	6,5
Белорусская ССР	78,0	7,2
Азербайджанская ССР	73,2	6,7
Армянская ССР	81,5	5,8
Украинская ССР	94,6	7,2
Грузинская ССР	113,4	11,2
Туркменская ССР	46,2	3,2
Узбекская ССР	38,6	3,1
Таджикская ССР	27,1	2,0
Казахская ССР	59,9	4,5
Киргизская ССР	32,5	2,2
СССР	77,7	6,4

Как видим, к началу 1939 года несколько отставали лишь средне-азиатские республики[24]. Но с 1939 года произошел дальнейший рост и дальнейшее выравнивание количества интеллигенции всех национальностей России.

Возникновение национальной интеллигенции является фактом огромной важности. Конечно, это особая к о м м у н и с т и ч е с к а я интеллигенция, интеллигенция, вся жизнь которой регулируется и контролируется партией, интеллигенция, которая насаждает культуру национальную лишь по форме и коммунистическую по содержанию, но всё же эта интеллигенция возникла и, раз возникнув, она неуклонно развивается. Она восстанавливает историю своего народа, она собирает и обобщает фольклор, она создает театр, музыку, архитектуру... она творит. Пусть исторические обобщения фальсифицируются, но тем не менее исторические факты восстанавливаются и начинают жить. Пусть театры славят партию и «отца народов» Сталина, но тем не менее они пытаются делать это в национальных формах и ищут эти формы. Пусть издательства печатают творения тысячи бездарных акынов и сказителей, но они печатают произведения и больших поэтов прошлого вроде Шота Руста-

какой-то мере компенсируется тем, что и в РСФСР живет много национальной интеллигенции из других республик.

[24] Но надо учесть, что до революции, скажем, в Узбекистане грамотным было только 1,6%, а с высшим образованием был, кажется, только один человек — сын переводчика самаркандского губернатора.

вели, Донелайтиса, Абал Кунбаева, Хачатура Абовяна и т. д. Пусть строительные организации громоздят бездарные дома национально-социалистического реализма, но тем не менее они строят и прекрасные сооружения вроде павильонов сельскохозяйственной выставки, архитектура которых в какой-то мере отражает национальный дух народа ... Наряду с национальной бутафорией интеллигенция вольно или невольно создает элементы и подлинной национальной культуры; она восстанавливает историческую память своего народа, шлифует его язык и пробуждает его национальное самосознание. Бутафория отживет, культура будет жить, она уже живет и это уже национальная культура ...

Но вместе с национальной культурой развивается и национальное самосознание народов. Можно утверждать, что почти все[25] многочисленые национальности России из национальностей «в себе» превратились в национальности «для себя», то есть из народностей превратились в нации с более или менее оформившимся национальным самосознанием. Россия ст ала многонациональным государством не только по бытию, но и по сознанию своих народов.

Конечно, национальное самосознание народов СССР имеет свои особенности. Если, например, национальное самосознание некоторых европейских народов складывалось в условиях неравенства, противопоставления и взаимной борьбы народов, борьбы, в которой каждый народ преследовал свои цели, то в СССР национальное самосознание народов складывается в условиях полного их равенства (все рабы и в рабстве равны) и подлинной их дружбы, такой же естественной и неизбежной, как дружба арестантов одной и той же тюремной камеры. Все нации в СССР совершенно одинаково бесправны; они ничего не имеют и им нечего делить, не о чем спорить, не за что между собой бороться. Их национальное самосознание носит, поэтому, не общественно-политический, а культурно-исторический характер.

Имеет свои особенности и положение национальной куль-туры — этой основы национального самосознания народов

[25] Некоторое исключение составляют народы крайнего севера. В словах: «почти все» имеются ввиду около ста национальностей, из которых свыше двадцати являются более крупными, чем эстонская нация. Но это значит, что национальная проблема в России отнюдь не сводится к украинскому, белорусскому, грузинскому и армян-скому вопросам.

СССР. Национальная культура каждого народа СССР «оформляется» сейчас под сильным и бдительным воздействием партии, она «осмысливается» по новому, из нее удаляется всё, что не отвечает современным воззрениям партии, и она приобретает постепенно национально-классовый, партийный характер, характер национальный по форме и коммунистический по содержанию. Национальные формы используются партией, как наиболее привычные для данного народа формы восприятия окружающего мира и как наиболее эффективные способы внедрения в сознание народа коммунистических идей.

Возникновение национальной интеллигенции и рост национальной культуры связаны с объективным ходом социально-экономической жизни страны и партия не могла этого предотвратить. Но партия могла всё это поставить на службу коммунизму и она это сделала. Национальная культура неуклонно порабощается коммунизмом и используется партией для воспитания нового человека, новой советской нации.

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА В СТРАНЕ

Вторым чрезвычайно существенным моментом в изменении той общественной среды, в которой формируется человек, является процесс постепенного, планомерного, в огромных масштабах совершающегося смешения или «слияния» наций, процесс грандиозного перемещения и перетасовки населения СССР.

Перемещение, миграция населения происходит и в других странах мира. Люди в поисках работы и лучших условий жизни непрерывно передвигаются из деревни в город, из района в район и из страны в страну[26], но то, что происходит в СССР — это во многих отношениях явление новое и специфическое.

Во-первых, перемещение людей в СССР происходит не только по экономическим, но и по политическим мотивам, причем перемещаются не только отдельные семьи и отдельные группы людей, но и большие социальные классы и целые республики.

[26] Вне СССР большую роль играет миграция населения из стран с низкими заработками в страны с высокими заработками. В прошлом и Россия была включена в этот процесс. Сейчас из СССР никто не выпускается, даже русские жены иностранцев. И говоря о переселении мы поэтому имеем здесь в виду переселение только внутри СССР.

Во-вторых, перемещение людей происходит не столько по инициативе самих переселенцев, сколько по инициативе власти, т. е. в обязательном, принудительном порядке.

В-третьих, перемещение людей происходит не самотеком, не от случая к случаю, не хаотично, а организованно, планомерно и — «научно» ... Каждый пятилетний план вносит в народное хозяйство элементы нового размещения производительных сил и содержит баланс нового перераспределения трудовых рессурсов страны. В соответствии с этим балансом даются опе-ративные директивы по перемещению народа, преследующие, как экономические так и социально-политические цели, в частности, цели максимальной перетасовки национальностей Рос-сии. В связи с этим меняется национальная ситуация в стране и весь национальный облик России.

В изменении национальной ситуации в стране существенную роль играет принудительное переселение народов по политическим мотивам. Это переселение началось в форме ссылки в отдаленные места России с первых же дней коммунистической власти. В двадцатых годах оно еще не носило массового характера и не преследовало целей сознательной перетасовки населения. Это была чистка страны от так называемых к л а с с о в ы х в р а г о в, преследовавшая непосредственные цели укрепления власти. Но уже тогда были развернуты концлагери, были найдены методы эффективной эксплоатации труда заключенных и было положено начало рабскому труду. В конце двадцатых и, особенно, в тридцатых годах сеть концлагерей в отда-ленных местах СССР была расширена и политические ссылки классовых врагов, а затем в р а г о в н а р о д а[27], необыкно-венно усилились. Красный террор охватил всю страну. Репрес-сировались (арест, расстрел, заключение в концлагерь) уже миллионы людей, причем родственники этих миллионов высы-лались в отдаленные районы страны. В сороковых годах поли-тическое переселение приобретает уже характер планомерной перетасовки населения. Сеть концентрационных лагерей рас-ползается уже по всей стране. Большое количество заводов переводится на рабочую силу только заключенных. Обнесенные колючей проволокой, заводы эти превращаются постепенно во внутритюремные мастерские. Контингентами для расширившихся концентрационных лагерей стали теперь люди, остававшиеся

[27] Термин «классовые враги» был заменен термином «враги народа» после того, как было объявлено, что классов в СССР уже не существует.

на территории, оккупированной немцами, затем вернувшиеся на родину военнопленные и ДП, а также оказавшиеся во время войны ненадежными национальности и, наконец, несозвучные эпохе подготовки к третьей мировой войне космополиты, уклонисты и т. п. Ликвидируются при этом целые республики, формально считавшиеся «равноправными» членами советской федерации — например, республика немцев Поволжья, крымских татар, калмыков, чеченцев и ингушей. Население этих республик подвергается поголовному переселению в другие отдаленные районы СССР. Вместе с тем происходят массовые высылки вглубь России коренного населения пограничных районов, а также вновь занятых районов — Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии, западной Белоруссии, западной Украины, Бессарабии и, частично, стран-сателлитов.

Навстречу этому потоку переселенцев «националов» идет поток русских переселенцев из центральных областей России в пограничные и вновь занятые районы. И уже мало остается прибалтийцев в Прибалтике, немцев в Восточной Пруссии, карелов на Карельском перешейке ... Но появилось много новых национальностей на севере России, в Сибири, в Туркестане, Казахстане и т. д.

Тридцать лет происходит такого рода переселение людей. Миллионы арестантов и административно высылаемых непрерывным потоком движутся с юга на север, с запада на восток, а теперь и с востока на запад. «Вольные» переселенцы и освобождаемые из концлагерей арестанты (выжившие свой срок заключения) оседают в новых для них районах и несомненно из-меняют национальный состав населения. Происходит непрерыв-ное смешение национальностей и изменение национальной ситуации в России.

Но политического переселения не следует преувеличивать. В общей перетасовке населения СССР переселение людей по политическим мотивам играет хотя и очень большую, но всё же не основную роль. Основную роль играет перестройка всей хозяйственной и политической системы государства, новая организация общества. В новой организации общества большое значение имеет перестройка социально-экономической системы, превращение России из аграрно-индустриальной страны в страну индустриально-аграрную. В связи с этим меняется соотношение городского и сельского населения в стране, меняется характер городов и меняется характер деревень.

По данным переписей населения, произведенных в 1926 и

1939 годах, соотношение сельского и городского населения в России изменилось следующим образом:

	Город		*Деревня*		*Всего*	
	Милл. ч.	%	*Милл. ч.*	%	*Милл. ч.*	%
По переписи 17.12.1926	26,3	17,9	120,7	82,1	147,0	100
По переписи 17. 1.1939	55,9	32,8	114,6	67,2	170,5	100

Таким образом, население городов увеличилось за 12 лет на 29.600.000 чел. Это увеличение произошло в результате:

Перемещения людей из деревни в город	18,5 милл.	62,5%
Преобразования сельских мест в города	5,8 »	19,6%
Естественного прироста городского населения	5,3 »	17,9%

Следовательно, за 12 лет из жителей деревни превратились в жителей города 24,3 милл. человек. Это значит, что происходило ежегодное превращение крестьян в рабочих и служащих в количестве 2 миллиона человек — население, превышающее всё население Эстонии.

Перемещение людей из деревни в город происходило и происходит в порядке т. н. организованного набора рабочей силы по договорам заводов с колхозами и в порядке создания «трудовых резервов», т. е. принудительной мобилизации детей и размещения их в промышленности. Как взрослые колхозники, отбираемые для города по договорам с колхозами, так и, особенно, дети, мобилизуемые в порядке трудовых резервов, направляются из деревни не только в города своей области и республики, но и в города других республик — скажем, из белорусских деревень в города Украины, из украинских деревень в города Сибири, из сибирских деревень в города Туркестана и т. д. Власть преследует при этом, кроме экономических, и политические цели — перетасовать население вообще и перемешать национальности в частности. Но и независимо от целей власти, переход из деревни в город 24,3 милл. человек уже сам по себе обозначает не только перелом во всем их быте, но и серьезные национальные сдвиги в стране. Из истории известно, что реальным носителем национальных особенностей народа и массовой базой всех национальных движений всегда было сельское население, не рабочие, а именно крестьяне. Киргиз, взятый из своих степей и поставленный к конвейеру московского шарикоподшипникового завода, уже перестает быть «полно-

ценным» киргизом — носителем национальных особенностей своего народа. На городском заводе и в городской квартире он подчиняется общему городскому режиму и как киргиз он обезличивается сначала внешне, а затем и внутренне. Теперь 24,3 милл. крестьян-киргизов, русских, узбеков, украинцев, и т. д. превратились в рабочих и служащих и уже третья часть населения СССР живет в городах. Соотношение городского и сельского населения изменилось, соответственно изменилось и национальное бытие народа.

Изменился в СССР и характер самих городов. Старые губернские и уездные города были административными и торговыми центрами страны, современные областные и районные города стали прежде всего промышленными и культурными центрами. Уже не чиновники и купцы, а рабочие и интеллигенты составляют ведущую часть современного городского населения. Героев Салтыкова-Щедрина, Островского, Чехова и даже Горького в СССР уже не существует. В СССР новые люди и новые города.

В старой России было 790 городов и 54 посада[28]; в СССР на 1.1.1947 г. стало 1.380 городов и 1.982 поселка городского типа[29].Таким образом, за последние 30 лет построено 608 новых городов, не считая новых поселков городского типа. Новые города построены, как правило, в слабо населенных, а во многих случаях и в пустынных районах, в районах туркестанских пустынь, сибирской тайги, северной тундры, казахских степей, па-мирских предгорий и т. п. Ясно, что население этих новых городов образовалось не из местных жителей, а из людей других районов, и ясно, что новые города являются, как правило, многонациональными. Но и старые н е б о л ь ш и е города, разросшиеся теперь в города с десятками и сотнями тысяч населения стали в сущности новыми и тоже многонациональными городами. Изменились и к р у п н ы е широко известные города старой России. Они обновили и резко увеличили свое население и в какой-то мере потеряли свою былую национальную монолитность. Следующие цифры показывают перемены в их населении[30]:

---

[28] «Статистический ежегодник» за 1914 год.

[29] По данным, приведенным в докладе Молотова от 6.11.1947. В последних материалах 1950 и 1951 г.г. приводятся уже более высокие цифры городов и поселков.

[30] «СССР в цифрах», М. 1934, стр. 93. В части 1917 г. — см. «Большая советская энциклопедия», т. 40, стр. 378.

	1917 год	*На 28.8.1920*	*На 1.1.1933*
Москва (в тысячах)	1.701,3	1.028,2	3.633,3
Ленинград	2.500,0	722,2	2.776,4
Свердловск (Екатеринбургъ) ..		90,0	462,6
Челябинск		57,5	214,0
Новосибирск (Новониколаевск)		68,0	287,0
Сталино (Юзовка)		38,0	273,9
Сталинград		90,4	404,0
Днепропетровск (Екатеринослав)		163,0	379,2
Харьков		230,4	654,3

Как видим, увеличение состава населения в 2-5 раз — обычное явление даже для крупных городов. Города не только увеличили свое население, но некоторые из них почти заново его обновили. Ленинград, например, обновил свое население два раза: первый раз во время революции и голода 1917-19 г.г., когда город опустел и на больших улицах (Кировская, Шпалерная) росла трава, и второй раз во время войны 1941-45 г.г., когда город снова опустел, т. к. часть его населения была эвакуирована вместе с заводами, часть была направлена на фронт, проходивший в районе «средней рогатки» (5-15 км.), и часть погибла от голода (около 1.200.000 человек). Теперь в горо-де — старые дома, но новые люди и, в какой-то мере, новые национальности.

Изменяется в СССР и деревня — эта кормилица народа и носительница его национальных традиций. Население деревни уменьшается. За 12 лет, прошедших между двумя переписями, ушло из деревни в город, как это было уже отмечено, 24,3 милл. человек. Естественный прирост сельского населения за это время был 18,5 милл. человек. Значит деревня отдала городу весь свой прирост и, кроме того, 6, 1 милл. человек из своего основного фонда. Но население деревни не только уменьшается, оно и видоизменяется. Процесс видоизменения деревни и, в частности, процесс изменения ее национального состава, ко-нечно, крайне медленный процесс, но он совершается и в по-следние годы усиливается. В деревню непрерывно перебрасы-ваются из города сотни тысяч новых работников — политиче-ских руководителей, трактористов, шоферов, комбайнеров, ме-хаников, агрономов, учителей, зоотехников, ветеринаров, вра-чей, чиновников и т. д., которые навсегда или на долгий срок оседают в деревне и изменяют состав ее населения. Когда-то

малограмотная деревня становится деревней не только сплош-ной грамотности, но и деревней, имеющей значительную про-слойку интеллигенции. Интеллигенция имеется теперь даже в самых глухих деревнях Пошехонья. Когда-то Салтыков-Щедрин писал в «Пошехонской старине» о своей родной деревне Спас-Угол: «Местность, в которой я родился и в которой протекало мое детство, даже в захолустной пошехонской стороне считалось захолустьем. Как будто она самой природой предназначена бы-ла для мистерий крепостного права. Совсем где-то в углу, среди болот и лесов, вследствие чего жители ее по простонародному назывались «заугольниками».

До революции в деревне Спас-Угол не было школы, а грамотных «заугольников» были единицы. Теперь это — деревня поголовной грамотности и некоторые из былых «заугольников» имеют уже высшее образование. Теперь в деревне имеется 10 учителей, 1 агроном, 1 медик, 1 библиотекарь, совпартчинов-ники, трактористы и т. д. И это отнюдь не исключение.

Деревня меняется ... Меняется, прежде всего, весь строй хозяйственной жизни деревни: иначе пашут, иначе сеют, иначе молотят, иначе ходят за скотом, словом, иначе работают и иначе живут, ибо в работе проходит почти вся жизнь человека. Дело не только в машинах, или в обобществлении земли, или в иной системе ее обработки. Дело прежде всего в иной организации труда, дело в переходе от индивидуально-семейного труда к труду общественному, к фабрично-заводскому. Уже не отец распоряжается работой, а председатель колхоза; уже не муж руководит в поле, а бригадир; уже не от зари до зари работают, а «по часам»; уже не мужчина «кормилец», а каждый сам себе кормилец; крестьянин — уже не универсальный работник, а спе-циалист, скажем, конюх, свинарь, доярка, тракторист, плотник, кладовщик, пастух, шорник, сторож и т. д. Всё это приближает сельско-хозяйственное производство к фабрично-заводскому и всё это снимает с производственного быта национальные нюан-сы. Тракторист в Армении мало чем отличается от тракториста в Белоруссии, а украинский колхоз мало чем отличается от рус-ского.

Но сближается не только производственный быт деревни. Всюду в деревне отживает старое — девушки давно уже не водят хороводов, не бросают в воду веночков, не ворожат в зимние вечера над зеркалом. Ребятишки не ходят по домам в Рождественскую ночь и не поют звонко-радостными голосами «Рождество Твое, Христе Боже наш». Старики уже не несут из церкви вербу и не украшают в Троицу дома березками, деревни

не «поднимают» икон летом и не служат над качающейся рожью полевых молебнов. Ничего этого нет, всё это почти забыто, всё это из жизни ушло в театры и музеи национальной культуры. Вместо этого появилась в деревне партячейка, комсомольская ячейка, клуб, кино, Загс, выходной день, агитатор, заседание, «знатная доярка», «передовой чабан» ... появилось нечто совсем новое, не всегда плохое, но казенное и всюду одинаковое; оно одинаково и на Украине и в Грузии, и в России и в Белоруссии, и в Туркестане и в Карелии ... И эта одинаковость обезличивает все деревни и сближает их между собой. Удмурдская деревня теперь так же похожа на башкирскую или на украинскую, как удмурдский Ижевск похож на башкирскую Уфу или украинскую Полтаву.

Сближение деревни с городом, а, значит, и сближение деревень всех национальностей между собою особенно усили-лось с 1950 года, когда под флагом укрупнения колхозов на-чался процесс полной ликвидации крестьянства, как класса[31] — процесс превращения крестьян-колхозников в сельско-хозяйственных рабочих и превращения деревень в укрупненные рабочие поселки или агрогорода. Процесс этот начался; он может приостанавливаться, видоизменяться, но п р и с у щ е с т в у ю щ е й в л а с т и он прекратиться не может. Старая деревня с ее в какой-то мере сохраняющимися еще национальными особенностями меняется, умирает ...

Меняются города, меняются деревни, меняется обстановка, в которой формируется человек, меняется человек. Это происходит всюду, но в СССР это происходит принудительно, происходит в особых формах, в особых темпах, в особом направлении и цель этого направления — новый советский человек, новая советская нация.

И. Курганов.

---

[31] См. чрезвычайно содержательную статью Б. И. Николаевского «Новый поход против деревни в СССР» («Новый Журнал», № 24).

БИБЛИОГРАФИЯ

GERARD WALTER. Lénine. Éd. R. Julliard, Paris, 542 pp.

Французский историк Ж. Вальтер, автор многочисленных работ по истории французской революции и коммунизма, монографий, посвященных Цезарю, Т. Мюнцеру, Марату, Робеспьеру, Бабефу, написавший в 1948 г. «Историю Французской коммунистической партии», только что выпустил в свет большую книгу о Ленине, снабженную очень богатой библиографией. По этому поводу пришлось слышать следующее восклицание: «Еще одна книга о Ленине! Но ведь о нем на всех языках мира уже написано множество книг. К тем, что по-явились — что может прибавить новое произведение? Хвалители Ле-нина, его хулители и так называемые объективные исследователи всё, что знали — уже сказали, вопрос о Ленине, как будто, исчер-пан». Восклицание наивное и в корне неверное.

Ленина, пишет Вальтер, нужно изучать, ибо «мы живем под Лениным». «Удобно ли это или нет — о том можно спорить без конца», но нельзя отрицать, что «его (Ленина) вездесущность сделалась не-умоли мой реальностью». «Этот человек из гроба продолжает дер-жать мир в мучительной неизвестности». Ради точности стоило бы заметить, что мир держат в неизвестности не столько идеи Ленина, сколько идеи его эпигонов. А между ними и Лениным было бы слепо не замечать различий. Одно неоспоримо: эпигонов не было бы, если бы на шестой части земной суши Ленин не заложил особого типа государство, внесшее полную пертурбацию в расположение миро-вых сил. И когда Вальтер стремится доказать, что появление этого государства дело главным образом и даже только Ленина — мы с ним согласны. Такое согласие есть вместе с тем признание огром-ной, экстраординарной роли, которую личность может играть в исто-рии. В этом отношении кажется ближе к истине стоит героическая концепция истории Карлейля, а не другие социологические доктри-ны, и, в их числе, марксизм. Но если это так, тогда естественно воз-никает глубоко интересный вопрос: кем же был Ленин, как чело-век, чтобы оказаться способным сыграть столь грандиозную истори-ческую роль? Что в идеях, в чувствах, в поведении этого человека

выделяло его из общих рядов? Соответствовала ли его психическая конструкция «нормальному» образцу или в ней были какие-то особенные черты и отклонения?

Несмотря на громадную литературу о Ленине, его жизнь, фи-гура, психика, многими, и даже важнейшими своими сторонами, всё еще продолжает оставаться неизвестной, нераскрытой, темной. Мы не можем ждать, что на загадку Ленина прольет новый, дополнительный свет советская литература. Подавляющее большинство тех, кто хорошо знал Ленина умерли естественной смертью или убиты Сталиным. В СССР из них осталась лишь крошечная группка и ничего нового о Ленине она не смеет сказать: всё, что о нем пишется, не должно выходить из рамок твердо установленных, в последние годы «сталинизированных», канонов. Книга Вальтера, которому и сан историка, близкого к коммунизму, и положение в На-циональной Библиотеке Парижа крайне облегчали доступ ко всей советской документации о Ленине, — не могла не привлечь нашего внимания. Мы за нее ухватились. Нас интересовал вопрос: не для иностранцев, а для нас — русских — что в ней есть нового? В какой степени она уг лубляет наше знание Ленина, наше представление о нем?

По выражению Б. Росселя, видевшего Ленина в 1920 г., он был «теорией, превращенной в человека». Действительно, с ранняго воз-раста он начинен идеями. И с этими идеями бросился в политическую жизнь. Вальтер очень детально описывает, к а к Ленин боролся за идеи, но их характер, содержане, особенности он оставляет без вся-кого рассмотрения. Он говорит: Ленин был марксист. Этого мало сказать. Уже первая юношеская работа Ленина «Что такое друзья народа», задуманная и набросанная летом 1893 г. в липовой беседке в Алакаевке Самарской губернии, показала, что его марксизм отли-чается от главенствующей формы русского марксизма. Особые, спе-цифические черты носят и другие его сочинения и, конечно, «Что де-лать» (1902 г.). Вальтер проходит мимо этого. На стр. 55-ой, пере-числяя четыре работы Ленина, он называет их «базой» его творче-ства и о сем на остальных 500 страницах своей книги больше не произносит ни слова. Он не считает нужным упомянуть о такой работе Ленина как «Две тактики социал-демократии в демократической революции» и не менее характерной «Шаг вперед — два шага назад». А между тем, если-бы Вальтер обратил внимание на эту книгу и на то, что с нею связано, он мог бы избегнуть одной крупнейшей ошибки. Так, он полагает, что «колыбелью» партии большевиков явилась конференция в Праге в 1912 г. и честь организации этой колыбели, якобы, выпадает на долю трех кавказцев — Орджоникидзе, Спандариана и Сталина. Это неверно. Фактически партия большевиков, организованно оформленная, со своим органом «Впе-

ред», со своим центральным комитетом, образовалась в конце 1904 г. под толчком идей, развитых Лениным в «Шаг вперед — два шага назад». Потом, на съездах в Стокгольме в 1906 г., Лондоне в 1907 г. — большевики, как будто, объединились с меньшевиками, но это объединение никогда не было действительным, искренним, прочным, всегда только внешним, формальным, ложным ...

Сосредоточивая свое внимание на Ленине-организаторе партии и вожде октябрьского переворота, совершенно не останавливаясь на нем как на теоретике, т. е. выбрасывая его идеологию, а без этого Ленин перестает быть Лениным, — Вальтер прошел и мимо истории духовной формации Ленина. Одна из глав его книги носит название: «Ульянов превращается в Ленина» и он думает, что уникальная фигура, именуемая Лениным, появилась на свет в 1902 г., когда под этим псевдонимом вышла его книга «Что делать». При лучшем знании Ленина можно установить, что Владимир Ульянов превращается в «Ленина» не в 1902 г., а много, много раньше, в возрасте 17-18 лет в Кокушкине, где его **«перепахал»** Чернышевский. Это его подлинные слова, сказанные нам в 1904 г. Под влиянием Чернышевского Ленин стал революционером еще до знакомства с идеями Маркса, Энгельса и Плеханова. Влияние Чернышевского на него было громадно. Оно положило отпечаток на всё его мировоззрение. Ленин величайшим образом чтил Чернышевского и с мыслями о нем не расставался до самой смерти. Из воспоминаний Крупской мы, например, знаем, что в Кремле в кабинете Ленина — «в числе тех ав-торов, которых он хотел иметь постоянно под руками, наряду с Марксом, Энгельсом и Плехановым, стояло и полное собрание сочинений Чернышевского, которое Владимир Ильич в свободные про-межутки времени **читал вновь и вновь».**

Нам в голову не приходит упрекать французского историка за незнание этого важного факта в истории политической и идеологической формации Ленина. Откуда ему это знать. Он пользуется советской литературой, а она этого не знает. Ведь влияние Чернышевского на Ленина в ней совершенно не выяснено. Даже самый вопрос о том не затронут, а углубиться в него было бы крайне интересно и крайне полезно. Это позволило бы иметь лучший ключ к пониманию того, что находилось в голове Ленина.

Книга Вальтера тщательно избегает малейших заимствований из всего, что имеет, прямо или косвенно, связь с эмигрантской литературой. Например, найдя в американской печати книгу Д. Н. Шуба (а это ценная работа) он отмечает: tendance menchevique, что означает как бы предупреждение — к сему источнику не приближайтесь. Сам Вальтер пользуется лишь советской литературой, при том, в той ее «тенденции», которая восторжествовала в партии после изъятия из обращения Троцкого, Каменева, Зиновьева, Рыкова

и др. Историку, пишет Вальтер, трудно писать «в коленопреклоненном положении». Думаем, ему трудно шевелиться и в узком корсе-те канонов. Поэтому, о Ленине-организаторе партии, вожде октября — он говорит лишь вещи известные, официально прокламированные. Но временами, освобождаясь от корсета, Вальтеру удается бросить несколько строк, очень важных для характеристики этой исторической личности. Так, на странице 256-ой своего труда он говорит о «кризисах депрессии», сопровождавших состояние «одержимости» ("espece d'obsession"), в котором Ленин постоянно находился. Вальтер, по всему видно, Ленина лично не знал, о том, что он отмечает, советская печать, конечно, не говорит, так что свой «психоанализ» он строит скорее всего на интуиции и посвящает ему всего-навсего семь строк. Но таких вещей мимоходом биограф Ленина касаться не должен. Это слишком важно. Ведь здесь речь идет об особенностях психической структуры Ленина. На этом нужно остановиться подробнее и выяснить вопрос пользуясь уже не догадкой, а более солидными данными. Вот что нужно знать.

Идеалом Ленина, что выяснилось при знакомстве с ним, была размеренная, упорядоченная, без всяких эксцессов, жизнь, с твердо распланированными, установленными часами сна, пищи, работы, чтения, отдыха, встреч, прогулок. Беспорядочная жизнь «халя-вых», как он выражался, российских интеллигентов, а тем более жизнь богемы, ему были противны. Он тяготел к уравновешенному, добронравному, экономному, нормальному бытию здорового petit bourgeois. Но это равновесие постоянно срывалось, отчасти страстными увлечениями (игра в шахматы, коньки, охота, горные про-гулки и т. д.), а более всего до ража накаленной политической и теоретической борьбой. Когда его осёдлывала какая-нибудь идея, он становился **одержимым.** Чтобы ее осуществить и привести других к безоговорочному ее признанию, Ленин начинал, как заведен-ный мотор, развивать бешенную энергию. Охватившая его в данный момент мысль занимала весь его мозг. Остальные секторы психической жизни, другие интересы и желания, как бы свертывались, исчезали. В такие минуты одержимости пред глазами Ленина только одна идея, только одна светящаяся точка, а перед нею одна запертая дверь и в нее он нещадно колотит, стремясь отворить или лучше сказать — сломать ее. В это время он особенно жгуче ненавидит всех, кто стоит поперек его дороги. Он хочет вести против них «истребительную борьбу», возбуждать против них в народной массе «ненависть, отвращение, презрение».

Грандиозные затраты энергии, требуемые каждой затеваемой Лениным кампанией, вызывая самопогоняние и беспощадное пого-няние других, его изнуряли. За известным пределом интенсивного,

исступленного напряжения его волевой мотор отказывался действовать. Топлива в организме для него уже не было. После взлета невероятного ража начиналось падение, наступала реакция, атония, упадок сил, сбивающая с ног усталость. Ленин переставал спать и есть. Мучали головные боли. Лицо его делалось буро-желтым, даже чернело. Маленькие, острые монгольские глаза потухали. Нам приш-лось видеть его в таком состоянии. Спасаясь от тяжкой депрессии, Ленин убегал отдыхать в какое-нибудь тихое место, восстанавливал там свои силы и вскоре после этого начинались приливы нового ража. При подобной психической структуре, думается, нет ничего удиви-ельного, что Ленин умер от кровоизлияния в мозг ...

Несмотря на его внешнюю монолитность, в Ленине были как бы две души. Одну душу наполняли хилиазм, иллюзионизм, сектантская изуверская нетерпимость, безграничная вера в себя, жестокость, отрицание каких-либо компромиссов, решимость, не останавливаясь, итти к поставленной цели. В другой душе, в глубине своей мечтавшей об «упорядоченной» жизни, сидели осторожность, хитрость, способная на самые удивительные трюки, очень большая рассчетливость, практический нюх, конформизм, гибкая приспособляемость к изменяющимся требованиям жизни. При всем этом — огромная воля, огромная работоспособность, отсутствие позы и личного тщеславия в духе Троцкого, ни тем более в стиле Сталина — «Отца Народов». Первая душа гнала к проповеди восстания в 1905-6 г.г., к видениям кровавой мировой коммунистической революции, сделала его вождем и победителем октябрьской революции. Вторая его душа продиктовала НЭП, поучительное и ценное социально-политическое начинание, которое нынешние властители СССР хотели бы клещами с кровью вырвать из мозга, из памяти населения. В их глазах это, конечно, контрреволюционное отступление, свидетельствующее о помутнении, ослаблении революционного разума Ленина. НЭП — не интересует Вальтера. Он посвящает ему десяток мало что говорящих стра-ничек, хотя говорит, что доклад Ленина на одиннадцатом съезде пар-тии, намечавший основы НЭПА, есть «**настоящее завещание** Ленина, составленное в эпоху, когда его ум еще хранил свою ясность и свой критический жар» (стр. 467). Чем объяснить невнимание Вальтера к НЭПУ и «завещанию»? Не тем ли, что на завещании печать «благоразумия», а оно «убивает революции»? Или может быть французский историк не хотел много говорить по поводу «завещания» потому, что оно находится в непереносимом противоречии с книгой «Государство и Революция», со взглядами Ленина в эпоху октябрьской революции, когда тот провозглашал: у нас не будет полиции и армии; у нас все должностные лица, сверху до низу, будут выбираться народом; у нас государственные функции и управление социали-

зированным хозяйством будет нести «поголовно» всё население; у нас никто не будет получать выше средней заработной платы? Что осталось от клятв революции, в которую так влюблен Вальтер?

На стр. 282 своего труда он пишет: с началом мировой войны, в августе 1914 г., Ленин «приобрел полное сознание выпавшей на его долю исторической миссии». Подобно другому психоанализу Вальтера и этот требует поправок и дополнений. Сознание предназначенности к свершению больших подвигов, к выполнению некоей исторической миссии, зародилось у Ленина не в 1914 г., а значительно раньше. Эта вера в свою призванность составляла, следует подчеркнуть, огромную силу Ленина. Она гипнотизировала его окружение, делала Ленина непохожим на других социал-демократов, объясняла раж, с которым он сражался за свои идеи. Откуда и как возник этот взгляд Ленина на самого себя, взгляд атеистический по внешней форме, религиозный по существу? Повидимому, огромную роль в этом сыграла своеобразная семейная обстановка, окружавшая Ле-нина. Даровитый, бурный мальчик был любимцем семьи. Он всегда был на авансцене и слышал слова восхищения по своему адресу. Нянька говорила о нем: «другие мальчики — золото, а мой Воло-динька лучше всех — он бриллиант». Володинька с ранних пор эту оценку крепко усвоил. В 1891 г. в Самаре ему 21 год. Кроме блестяще выдержанного выпускного экзамена на юридическом факуль-тете — других «подвигов» у него пока нет. Это не мешает его родным считать его «гением» и благоговейно прислушиваться ко всему, что он говорит. Семейный фимиам кружил ему голову. Само-уверенность росла. Он чувствовал себя обладателем полноты истины. Уже тогда не терпел возражений. Встречавшийся с ним в это время в Самаре В. В. Водовозов нам говорил в 1903 г. (в Киеве),

что никогда не видел столь «самоуверенного молодого человека». «Из каждого разговора или спора с ним вытекало, что все важные вопросы он знает и понимает лучше чем другие, поэтому он выше их и имеет какое-то право на командование». «Любопытно, — добавлял Водовозов, — что это право на командование гипнотизиро-вало даже тех, кто был против Ульянова». С годами, в эмиграции, идея призванности у Ленина еще больше укрепилась. Она жила в нем без всяких о сем размышлений, как нечто неоспоримое, простое, очевидное. Была такой же его принадлежностью как монгольские глаза. Он непреклонно верил, что право на «дирижерскую палочку» (его слова) в партии, в рабочем движении принадлежит лишь ему. Он писал: «дайте нам организацию и мы перевернем Россию». А это означало: дайте мне организацию и я переверну Россию. О руководстве мировым социалистическим движением он еще не помышлял. Предначертанную ему судьбу свершить большие подвиги

мыслил только в пределах России. Но когда разразилась война, развалился Социалистический Интернационал и все вожди социалистических партий — Гэд, Вандервельд, Каутский, В. Адлер, Плеханов и другие, по убеждению Ленина, оказались «социал-патриотами», «изменниками», «предателями социализма», Ленин стал себя считать единственным большим хранителем незапятнанной, чистой, старой со-циалистической веры и постановлений Базельского конгресса Интернационала. С этого времени у Ленина постепенно начинает расширяться перспектива его предназначенности и цель ее, выходя из пределов России, приобретает планетарный масштаб. Так создается мысль о Коминтерне в духе Ленина и ему подчиненном. Словом, всё обстоит более сложно, чем это думает Вальтер ...

Здесь нет места следовать за картинами, развертываемыми в его книге. Наиболее слабой вышла глава о конце Ленина, — тут всё скомкано и драма не чувствуется; наиболее интересными являются первые 60-70 страниц. Что же касается других частей, касающихся периода, начинающегося с 1901-1902 г.г., то, вероятно, французам и вообще иностранцам они покажутся яркими: А. Пьер в "Le Monde" называет повествование г. Вольтера "vivant et toujours passionant". Для многих же из нас, участников событий или их наблюдателей вблизи, оно лишь бледное, преломленное, неволнующее отражение минувшего. Читая Вальтера, я не мог как пушкинский Пимен сказать: «на старости я сызнова живу, минувшее проходит предо мною». Не останавливаясь на мелких ошибках в книге Валь-тера, а их преизрядное количество, обращу внимание только на од-ну, уже не мелкую и притом имеющую особый характер. Так же как Вальтер мы убеждены, что не будь бешеных нажимов Ленина, не стеснявшегося ругать членов ЦК трусами и идиотами, большевики не сделали бы октябрьской революции. Но это не находится в каком-либо противоречии с фактом, что в практической подготовке восстания роль Троцкого была огромной. Я не поклонник октябрь-ской революции, никогда не состоял в числе друзей Троцкого и мне в сущности безразлично, играл ли он или не играл роль в Октябре. Я констатирую лишь бесспорный факт, который до смерти Ленина никому в голову не приходило отрицать. Послушайте, что писал, например, Сталин 6 ноября 1918 г. в «Правде»: **«вся работа** по практической организации восстания проходила под непосредственным наблюдением т. Троцкого. Можно сказать, что умелой подготовкой работы Военно-Революционного Комитета партия обязана прежде всего, и главным образом, т. Троцкому». При всей уже тогда ненависти к блестящему Троцкому, перед которым он чувствовал себя маленьким, сереньким, малограмотным провинциалом, Сталин ничего другого написать не мог. Но в 1924 году Ленина уже не было. Ле-

гендотворчество началось. Началась создаваться «профессия» ложных свидетелей. Началась борьба с Троцким и Сталин заявил, что Троцкий в октябре «никакой особой роли не играл и играть не мог». Дальнейшее известно. Троцкий был вычеркнут из истории Октября, выброшен из СССР, объявлен vipère lubrique, агентом контрразведки всех стран, ныне входящих в ОН, совершенно изъят из советской истории, а потом с помощью топора изъят из жизни. Знает ли об этом Вальтер? Не может не знать. И тем не менее, посмотрите, что у него получается. Рисуя октябрьское восстание, он просто выбрасывает Троцкого и заменяет его Сталиным. Он идет по стопам ныне составляемой в Кремле истории, которая, начав с утверждения, что в октябре было два вождя Ленин и Сталин (нечто вроде «двуглавого орла»), непременно кончит доказательством, что настоящим вождем был один Сталин, а Ленин при нем в качестве подручного. В ночь с 24 на 25 октября, пишет Вальтер, Ленин пришел в Смольный. В нем, как известно, непрерывно заседал под руководство Троцкого Военно-революционный комитет. Но Ленин, однако, не пошел туда, чтобы из этого первоисточника узнать, как подготовляется и развертывается восстание, а остался в корридоре и приказал отыскать и привести к нему где-то болтавшегося Сталина. — «Сталин прибегает, увлекает Ленина в маленькую пустую комнату и дверь запирается за ними». «Это отсюда, — торжественно провозгла-шает Вальтер, — будут приведены в движение силы восстания, которыми Военно-революционный комитет, будучи готовым к действию, еще не осмеливается воспользоваться. Ленин начинает созывать представителей районов, заводов, полков. Сталин немедленно приспособляется к ситуации, делается секретным адьютантом, человеком связи Ленина и вызванные им (Сталиным) мотоциклисты садятся на свои машины и растекаются по столице, направляясь к пригородам».

В предисловии к своей книге Вальтер замечает, что у него была только одна забота: «слушать голос исторической правды». Охотно этому верим, но Кремль так глушил и глушит «голос исторической правды», что Вальтер, несмотря на все его добрые намерения, не всегда был в состоянии определить где правда, а где ложь ...

Н. Валентинов.

АЛЕКСАНДР ШИК. ДЕНИС ДАВЫДОВ. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВОЗРОЖДЕНИЕ». ПАРИЖ. 1951.

А. А. Шик, автор книг о Пушкине и Гоголе, в предисловии к своей книге о поэте-партизане, говорит: «В моей задаче — дать возможно живой облик Давыдова, поэта и «любовника брани» на общей фреске, политической и литературной, той богатой событиями и людьми эпохи, в которой Давыдову довелось жить, — воодушевляла меня любовь к России и, в более тесном смысле, к родной Москве, любовь, руководившая всю жизнь думами и делами Дениса Давыдова«. Это воодушевление сквозит на каждой странице книги и делает ее особенно живой и притягательной.

Давыдов прожил жизнь счастливую — несмотря на постоянные свои жалобы и оборванную военную карьеру. Он и после смерти своей имеет счастливую судьбу. Его биограф встретился с ним, полюбил его, узнал всё, что можно было узнать о нем, и вот перед нами — памятник, какого еще не дождались поэты более значитель-ные, памятник »в классическом роде« (как и подобает поэту Пуш- кинской поры), где жизненный путь героя, его творчество, его ха-рактер переплелись в стройном и логическом рассказе.

Характер Давыдова был горячий и смелый, творчество дало несколько вполне совершенных стихотворений и не мало превосходных, жизненный путь был пестрым, бурным, вокруг которого с самого на-чала создались легенды. Начало этого пути, конечно, стало и его кульминацией, — отчасти потому, что оно было столь блестящим в героической эпохе войны с Наполеоном, отчасти потому, что люди в те времена так рано старели и после сорока лет не то были старика-ми, не то таковыми себя чувствовали. И если, как Давыдову, суждено было им влюбляться «на старости лет», то и любовь эта воспринималась ими, как драма, как катастрофа, как некий удар судьбы, которого всегда надо бояться, а иногда и стыдиться.

Дружба в ту эпоху давалась людям не так, как сейчас — она не была даром, которого заслуживают избранные, она давалась, как воздух, как молодость, всем; люди жили в атмосфере дружбы, почти не чувствуя ее, как иногда не чувствуют здоровья. И Давыдов был одним из тех, кто был другом, — Пушкина, Жуковского, Вяземского, Ермолова ... Оттого он вдвойне дорог нам, или точнее — втройне: как поэт, как герой легенды, как близкий человек тех, кого мы уже любим.

Молодость его есть как бы антитеза молодости декабристов. Те не захотели больше жить так, как семья и общество хотели, чтобы они жили. Давыдов же любил тот мир, в котором был рожден, он не перечил судьбе, он шел ей навстречу. Искренний, непосредственный,

он был душой своего эскадрона уже в 1806 году, когда в его жизни было «больше дружбы, чем службы, больше рассказов, чем дела, более шампанского, чем печали». В 1807 году он плакал над гробом пленного француза, год назад спасшего его брата, а еще через год был уже в Москве, сотрудником «Вестника Европы».

После трудов и боев, он оказался в 1823 году уволенным в чистую отставку. С этого времени началось его томление по «настоящему делу»: «Неужели я не явлюсь еще в полях, войной гремящих, — писал он' — мне сороковой год, еще десять лет могу ждать, а в десять лет неужто ни с кем не поссоримся?» Для него слово война «имело звук магический», но, как он позже писал в своих стихах,

...полезли из щелей
Мошки да букашки, —

то есть подросло новое поколение, и Давыдову больше на полях брани делать было нечего. Его »Записки«, его стихи остались памятни-ком этого, уже вполне мирного, времени.

К книге приложены очень любопытные документы, которые А. А. Шик нашел в библиотеке города Эдинбурга, в архиве Вальтера Скотта. Это — четыре письма Дениса Давыдова к автору «Айвенго», ко- торый в старости заинтересовался русским партизанским движением 1812 года. В те времена, случай привел в дом Вальтера Скотта племянника Дениса, Владимира Давыдова, и через этого молодого чело-века (кстати сказать, весьма примечательного) русский поэт и английский романист узнали друг друга и обменялись письмами. Эти документы дополняют картину той эпохи, которая ожила для нас под пером А. А. Шика, как дополняют и незабвенный образ Давыдова приложенные к книге многочисленные его портреты.

Н. Б.

НОВЫЕ СБОРНИКИ СТИХОВ

Анатолий Штейгер. «Дважды два четыре». (1926-1936). Эта книга посмертная. Анатолий Сергеевич Штейгер умер 24-го октября 1944-го года, 37 лет, от туберкулеза.

Штейгер лучший поэт того эмигрантского поколения, для которого Россия — это только детство и отрочество. Многие лучшие мечты этого поколения были связаны с родиной. Эти мечты — всегда вынужденно-зыбкие, слишком беспочвенно-романтические — попытался выразить рано умерший Николай Гронский, даровитый ученик Цветаевой. Голос у него был сильный, чистый, но ему не хватало серьезности. Действительно серьезен только тот, кто отваживается жить настоящим, и вот Штейгер туманно-радужным образам прошлой и будущей России предпочел безотрадное эмигрантское настоя-

щее, в котором он себя чувствовал лишним, чужим, по-детски беспомощным, но всё-таки не отказывался от него. Вот что было содержанием и его жизни и его поэзии: болезнь, нужда, скитания, жалость к другим и к самому себе, обида и изредка — короткая радость дружбы, легкое восхищение или какой-то проблеск надежды.

Мучительно живя настоящим, он постоянно говорил миру: нет, не приемлю ничего или почти ничего! Но в стихах его слышится негромкое, почти беззвучное: да! К кому обращено это «да»: к Богу ли, к человеку? Ответить трудно. Но поэзия как бы она ни была горестна, безнадежна, — всегда целебна: самый факт ее существования есть благо.

Штейгер не умел жить и не хотел никакого умения жить, но доверялся «сумраку неизвестному» поэзии, которая никакого рая не обещает, но всё-таки именно о нем напоминает. Еще он доверялся любви. Жить он уставал, но никогда не уставал любить: не бесплотной ангельской любовью, а человеческой любовью, то темной, то светлой. Вот его завещание:

У нас не спросят: вы грешили?
Нас спросят лишь: любили-ль вы?
Не поднимая головы,
Мы скажем горько: — Да, увы,
Любили... Как еще любили!...

И в этом даре любви, а не только в чистоте тона — заключалось его «да».

Многие поэты его поколения были, может быть, богаче: Червинская — своими мыслями-настроениями, Поплавский сюрреалистической своей фантазией, Гронский — мечтой о родине (и можно было бы назвать еще нескольких других), но Штейгер всех их значительнее благородно-скромным и серьезным пониманием реальности, правдивостью, а также своим мастерством; и он, конечно, не только эмигрантский поэт: ведь очень обидеться на жизнь (и всё-таки любить наперекор этой обиде) можно также, живя на родине...

Знаменательно, что в стихах Штейгера нет отзвуков блоковской поэзии. Сладостное совершенство поэзии Осипа Мандельштама также не соблазняло его. Учитель Штейгера — Иннокентий Анненский («внушенный» ему Адамовичем). Это тоже не «певучий» поэт. Но его голос «нежный и зловещий» нередко подымался до судорожного крика, он не хотел так легко сдаться: он всегда погибал, но как-то еще безнадежно защищался. А Штейгер был отродясь беззащитен; с самого начала понимал, что криком ничему не поможешь. Также в противоположность Анненскому, в стихах которого есть сознательная незавершенность, Штейгер всегда говорил ровно столько, сколько хотел сказать. По-детски беспомощный и по-детски обиженный,

он каждое свое настроение передавал в законченной форме. Штейгер, заблудившийся ребенок, в творчестве своем неожиданно обнаружил также ту скромную сдержанность светского человека, который считает недостойным для себя высказывать чрезмерное волнение, стонать или говорить неясно. Поэтому его стихи, при всей их интимности, сдержанны и законченны. Черновиков он не печатал.

Натура Штейгера детская. Тема его тоже детская — это обида. Но стихи его взрослые, и не только по способу выражения (форме), а прежде всего потому, что он думал, любил и писал «беспощадно всё видя насквозь».

Игорь Чиннов. «Монолог». В свое время стихи его печатались в «Числах», но только за последние годы ему удалось отчетливо выразить свою тему. Прежде он старательно избегал предметности и пытался создать чистую поэзию — поэзию без реквизита... У него бывали удачи. Так, например, совершенно и, вместе с тем, трепетно живо стихотворение (на стр. 7-ой), в котором едва намечены предметы — снег, оснеженное небо, светленький дождик... Но теперь Чиннов проявил наблюдательность. Он больше не пренебрегает «пестротой» жизни. Во всё готов пристально вглядываться; и опыт повседневной жизни у него предшествует поэзии. Он научился видеть и понимать вещи, но главный смысл его лирики не в этом понимании действительности, а в жалости ко всему страдающему... Так, потрясающи его стихи о живой рыбе, поджариваемой на сковородке. Эта рыбья злая судьба — наша общая судьба: «немного жизни и немного смерти».

Ему удалось забыть о себе, что всегда очень трудно для поэта. Он не автобиографичен, как Штейгер, но остается поэтом. Не добиваясь поэтичности, он раскрывает поэзию — внутренно-чистую, но уже не чуждающуюся мира, жизни.

Веры в счастливый конец, в торжество правды у него нет, но в его печальных, иногда даже мрачных стихах, слышится братский ободряющий голос. Это ободрение всего явственнее в стихах о Пушкине:

Порой, читая вслух парижским крышам
Его стихи таинственно-простые,
В печали, ночью, в дождь — мы видим, слышим
(В деревне, ночью, осенью, в России):
Живой, знакомый нам, при свечке сальной
Свои стихи негромко он читает,
И каждый стих, веселый и печальный,
Нас так печалит, словно утешает...

Если Штейгер — полон недоумения, обиды и сострадания, то Чиннов не только сострадает, но еще хочет утешить, ободрить — тихой, чистой мелодией.

Мастерство его безупречно. Также как и Штейгер, он умеет ограничивать тему, сдерживать волнение. Он ничего не навязывает, а только очень осторожно, без романтического напора, внушает... Его литературную генеалогию проследить трудно. Очевидно, что он не боится реминисценций, так как у него есть своя тема и есть свой голос — тихий, почти шепчущий. Чужие мотивы, которыми он иногда пользуется, всегда приглушены, доведены до шопота. Лучшие же его стихи — вполне самостоятельны. Из поэтов »штейгеровского поколения, Чиннов выдвигается теперь на одно из первых мест.

Юрий Мандельштам. «Годы» (1937-1941). Он погиб в нацистском концентрационном лагере, вероятно в 1943 г. Ему было тогда 35 лет. Первый сборник его стихов вышел еще в 1930 г. Потом он постоянно печатался в «Современных Записках» и «Числах». Это умный, умелый поэт. Своей настоящей темы ему не удалось найти. Но некоторые его стихи останутся в русской поэзии, например, эти строки о Савойе:

Реет легкая птица,
Синий воздух тревожит.
Если что-то свершится,
Но свершиться не может,
Что же будем мириться
С тишиною и светом
Этой грусти бесцельной,
С этим летом и счастьем
Тишины беспредельной.

Но значительны не только отдельные удачи его, а также искания, усилия. Повидимому, он мечтал о каком-то «оправдании добра» в поэзии. Кроме настоящей культуры в нем было много чистоты, душевного здоровья и мужества. Его гибель — большая утрата.

Ант. Ладинский. «Роза и Чума«. В этом пятом сборнике стихов — Ладинский, вопреки своей натуре, пытается высказать «патриотизм по «социальному заказу». Ему явно изменяет вкус, когда по нелепой ассоциации звуков, он сопоставляет **Пушкина** и **пушки...** Т. е. хочет прославить русского поэта и «русскую войну». Также портят этот сборник стихотворения со строчками, разложенными на 2-3 абзаца (под Маяковского, которому Ладинский внутренно чужд). Но он остается настоящим поэтом-мастером, когда с «улыбкою латинской» смотрит на жизнь и создает «мир — как пенье, в котором кашля нет...» Но таких строк, напоминающих старого Ладинского, автора прекрасных «стихов о Европе», в его последней книге слишком мало. За последние годы он возненавидел Запад, но как поэт он

навсегда останется в памяти как русский рыцарь Европы. На родине ему ближе всего были образы Киевской Руси (царевна Анна, Ярославна) и Петербургской Империи... О Советской России он имеет самое смутное и превратное представление.

Вадим Андреев. «Второе дыхание» (1940 — 1950). У него намечена тема («второе дыхание» — в воображаемом мире), но всего существенней, что в его сборнике есть чистые и легкие строки. В свои стихи о России В. Андреев вложил много мечтательства, вдохновения, но в них нет искренности, серьезности его лирики. Настоящий сборник лучше всех его предыдущих книг.

Корвин-Пиотровский, Вл. «Воздушный змей». Это очень умелый, остро наблюдательный поэт, но в его упругих ямбах нет трепета поэзии. Его тонкие гравюры — «Карусель», «Чиновник на казенном стуле» — не трогают... Он умеет отлично показывать вещи, но у него нет дара создавать лирическую атмосферу — дара, который был у его учителя Ходасевича.

Ирина Яссен. «Лазурное Око«. Ее стихи одушевлены доверием к миру и чувством братства. В этой скромной книжке есть нравственная сила, есть »любовь и участье«. Все стихи музыкальны, но слова однообразно-поэтичны. По сравнению с первыми двумя сборниками— эта книга более значительна.

С. Маковский. «Круг и Тень». Имя С. К. Маковского обычно вызывает в памяти журнал «Апполон», который он редактировал (1909 — 1917 г.г.). Есть «печать» той эпохи на стихах его последнего сборника, а также на других двух его книгах, вышедших после войны: «Somnium breve» и «Год в Усадьбе». Последний сборник как-то связывается с поэтизацией дворянских гнезд в «Старых Годах»; и тогда уже чувствовалось, что это прощание с прошлым... Но стихи, включенные в «Круг и Тень» скорее вневременны. В них есть осенняя умудренность. Отношение к миру — «радостно-печально»...

У Маковского безупречный вкус и чувство меры. Из благородной скромности, он ничего в своих стихах не подчеркивает, не навязывает. Он также зорко-наблюдателен, хотя и скупится на детали, которые у него всегда прелестны, напр., «берег, позаросший елкой». Теперь так говорить больше не умеют...

Слова, которые Маковский так бережно расставляет в «лучшем порядке», имеют второй план, второе—музыкальное—значение. Он слышит, что «звучит не в слове, а за словом». Но эта музыка у Маковского не связана с романтическими мечтаниями. Для этого он слишком трезв (акмеистичен). Он принадлежит к поколению, которое отвергло Диониса и поклонялось Аполлону.

Ю. Иваск.

Гр. Альтшуллер, ЦАРЬ И ДОКТОР, Нью Иорк, Rausen Brothers, 1951.

В известном смысле исторический роман — один из самых трудных литературных жанров. Основная трудность для исторического романиста заключается в том, что он должен сделать прошлое живым для своего читателя, но так, чтобы при этом не переставала ощущаться «историческая дистанция». Прошлое одновременно должно стать близким и остаться далеким. Из парадоксальности этой задачи и вытекают постерегающие исторического романиста опасности, его писательские Сцилла и Харибда: превращение романа в своего рода «костюмированный бал», с одной стороны, — и отсутствие в нем «духа времени», с другой. Не знаю, считает ли Г. И. Альтшуллер свое произведение историческим романом или он задумал его как параллельную b i o g r a p h i e r o m a n c é e двух своих героев, но во всяком случае ему удалось избежать той и другой из указанных выше опасностей.

Книга его основана на тщательном и разностороннем изучении эпохи, и я не нашел в ней исторических неточностей. Часть использованного автором материала есть результат собственных его изысканий, и в истории «первого русского доктора медицины» читатель найдет много новых и очень интересных данных. Жизнь семьи Постниковых в Москве, детство и ранняя юность Петра Постникова, его студенческие годы в Италии и в Голландии, его поездки с дипломатическими поручениями на Карловацкий Конгресс и в Париж — все эти главы полны бытовых подробностей, которые автор сумел сделать живыми и убедитсльными, как сделал он живыми и убедительными и встречаемых Постниковым людей — русских и иностранцев.

Самой ответственной частью поставленной себе Г. И. Альтшуллером задачи было, конечно, изображение знаменитого тезки и ровесника его скромного доктора. Попытку дать образ Петра, после Мережковского и А. Н. Толстого (не говоря уже о Пушкине), можно, пожалуй, счесть за «дерзание», но и эту трудную и ответственную задачу автор разрешил с большим художественным тактом. Может быть всего живее вышел у него Петр там, где мы видим его глазами Постникова — в сцене первой встречи царя и доктора.

Добавлю, что книга написана отличным русским языком и что на протяжении почти четырехсот страниц внимание и интерес читателя не ослабевают. В общем следует признать, этот, если не ошибаюсь, первый беллетристический опыт автора — несомненной удачей.

Книга украшена очень приятной по стилю и мастерски сделанной обложкой работы М. В. Добужинского.

М. Карпович.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Периодическое литературно-политическое издание

●

Цена одной книги 2 доллара 75 центов.
Цена трех книг 6 долларов 50 центов.

●

Адрес редакции и конторы:
Mrs. M. E. ZETLIN, 112 West 72nd Street,
New York 23, N. Y.

Telephone: ENdicott 2-9893
ENdicott 2-4800

Там же принимается подписка